

Огни Кузбасса

№ 2 / 2025



80 лет Великой Победе!



Наталья Боброва. Бессмертный полк.
Диптих. Доска. Масло. Фото В. Втюрина.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Б. В. Бурмистров,

г. Кемерово, председатель
общественного совета

Н. Ф. Иванов,

ответственный секретарь
Правления Союза
писателей России

И. Ф. Федорова,

г. Кемерово, заместитель
председателя Совета по
вопросам попечительства
в социальной
сфере Кемеровской
области – Кузбасса

С. Ю. Куняев,

г. Москва, лауреат
Государственной премии
им. М. Горького, главный
редактор журнала
«Наш современник»

В. Н. Крупин,

г. Москва, первый лауреат
Патриаршей
литературной
премии

Г. Л. Немченко,

г. Москва, лауреат премии
«Прохоровское поле»

Д. Я. Голофаст,

директор по внешним
связям и имущественным
отношениям Кузбасского
филиала ООО «Сибирская
генерирующая компания»

ЖУРНАЛ
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

Огни Кузбасса

ИЗДАЕТСЯ С 1949 ГОДА

№ 2 / 2025

МАРТ – АПРЕЛЬ

Литературный журнал
выходит
при поддержке
Министерства культуры
и национальной политики
Кузбасса

Главный
редактор
Д. В. МУРЗИН

Редколлегия:

Сергей ДОНБАЙ
Надежда ДУБРОВСКАЯ
Татьяна ИЛЬДИМИРОВА
Александр КОМАНДИН
(ответственный секретарь)
Андрей КОРОЛЕВ
Наталья МУРЗИНА
Юлия СЫЧЕВА
Елена ТРУХАН
Дмитрий ФИЛИППЕНКО
Марина ЧЕРТОГОВА
Евгений ЧИРИКОВ
Григорий ШАЛАКИН

Адрес редакции: 650000,
Кемеровская область – Кузбасс,
г. Кемерово, пр. Советский, д. 40,
тел. 8 (3842) 36-85-14



16+

Содержание

БИБЛИОТЕЧЕСТВО

Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский..... 3

ПРОЗА

Александр Волошин. Нюра. Утро. Рассказы 5
Дмитрий Коржов. Мурманцы. Главы романа. Журнальный вариант 16
Дарья Верясова. Я не умру. Монопьееса 55
Евгений Чириков. Приказы не обсуждаются. Повесть 73
Вольдемар Горх. Письмоноска. Рассказ 102

ПОЭЗИЯ

Александр Кердан. Пулемёт и защитный псалом 10
Наталья Мурзина. Благодарное сердце 13
Елена Заславская. Смерти нет 51
Александр Раевский. Ватники и валенки 53
Роман Круглов. Останемся. Примем бой 69
Юрий Михайлов. Плещущим в храме маскировочные сети 71
Александр Савченко. В уставшем от войны лесу 100

ПРОРОК В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ

Стихи кузбассовцев-фронтовиков. **Евгений Буравлёв, Анатолий Козлов, Владимир Зулин, Владимир Измайлов, Владимир Мамаев, Владимир Чугунов, Георгий Доронин, Глеб Холоденин, Михаил Борисов, Михаил Небогатов, Ст. лейтенант Замалеев**. Подготовил **С. Донбай** 110

80 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Сергей Черемнов. И кузбасские журналисты приближали Победу 121
Павел Концевой. Из захолустья – в индустриальный центр 134
Александр Смышляев. Военный писатель Паустовский 139

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

Екатерина Полянская, священник Сергей Адодин, Нина Инякина, Андрей Степанов, Екатерина Краснова, Юлия Сычёва 141

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Письмо потомкам. История одной семьи. Подготовили **Ю. Модебадзе и Н. Мурзина** 144

И БОЛЬШИМ, И ДЕТЯМ

Дмитрий Артис. На войне случился мир. Стихи 146

ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ

О журнале «Отчий край». Журнал во время чумы 148
Юлия Артюхович (Верба). В Сталинграде, как прежде, сохранили цветы. Стихи 149
Александр Лепещенко. Единственный закон мужчины. Мечта молодого Бельского. Рассказы 151
Василий Струж. Про пасть. Стихи 158
Никита Самохин. Звёзды в луже. Стихи 160
Валерия Редкокашина. Сенсация. Рассказ 162

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Надежда Куракина. Хомяк Шрёдингера 167

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Литературная хроника. Подготовил **А. Командин** 169

Русскому писателю Михаилу Александровичу Шолохову – 120 лет



(1905 – 1984)

«Тяжело мне, браток, вспоминать, а ещё тяжелее рассказывать о том, что довелось пережить в плену. Как вспомнишь нелюдские муки, какие пришлось вынести там, в Германии, как вспомнишь всех друзей-товарищей, какие погибли, замученные там, в лагерях, – сердце уже не в груди, а в глотке бьётся, и трудно становится дышать...»

М. А. Шолохов

ПРИВЕТСТВИЕ

участникам мероприятия,
посвященного Кузбасской
литературной премии в честь
святителя Павла Тобольского
21.01.2025 г.



Уважаемые участники мероприятия, посвященного Кузбасской литературной премии в честь святителя Павла Тобольского!

Наступающий **2025 год в России объявлен Президентом РФ годом Защитника Отечества**. Это очень своевременно и необходимо. Размышляя о целях СВО, мы должны обратить свои мысли к воинам как к людям, которые находятся в условиях смертельной опасности и крайне трудного нравственного выбора.

Литературный процесс во все времена являлся отражением социальной и культурной жизни людей. Русская литература, по слову Николая Васильевича Гоголя, является «незримой ступенью» ко Христу. Она есть проповедь красоты правды Божией, воплощаемой в художественных образах. Сегодня время сплочения всех здоровых сил. Церковь, искусство, культура, наши писатели, ученые, все те, кто любит Родину, должны сегодня быть вместе, потому что мы входим в критический период развития человеческой цивилизации.

Настоящая литература без нравственного начала немыслима. Когда писатель пишет сценарий или работает над книгой, ему очень важно оставаться человеком – верить в Бога, быть мужественным, чтобы защищать образ Божий в человеке, человеческое достоинство и противостоять разложению общества. Подлинный писатель во все времена призван отстаивать принципы духовного устройства жизни. Образцом в этом смысле является Федор Михайлович Достоевский, который никогда не отступал от этих принципов.

Достоевский был глубоко православным человеком, это раскрывается через его творения. Поэтому вполне естественно, что его знаменитая цитата:

«Если мне кто-то скажет, что есть некая истина вне Христа, то я лучше останусь со Христом, чем с этой истиной», в каком-то смысле – лейтмотив всего творчества Достоевского.

Нам необходимы сегодня произведения, которые бы настолько же точно, как произведения Достоевского, высвечивали нравственные проблемы современности и помогали делать верный выбор, основанный на следовании евангельским заповедям.

От того, чем мы наполняем себя, свою душу и свое сердце, зависит и то, как мы проявляем себя в различных жизненных ситуациях – сможем ли мы отозваться на чужую боль или пройдем мимо, сможем ли утешить человека или отнесемся к нему с равнодушием, сможем ли донести до других и отстаивать свою личную позицию или будем постоянно зависимы от чужих мнений.

Задача литературы сегодня – убрать зазор между эпохами и убедительно показать, что христианская святость – это не что-то недоступное, не предания старины глубокой, как порою ошибочно думают некоторые люди и тем самым оправдывают свои немощи. Ведь у нас есть не только опыт древних подвижников благочестия, но и удивительные примеры новомучеников и исповедников XX века, о которых необходимо рассказывать современникам. Они близки к нам, это почти наши современники, и потому опыт их жизни, их религиозный опыт и, конечно, пережитые ими страдания и мученическая смерть не могут не вдохновлять нас, укрепляя нашу веру и нашу готовность следовать за Христом даже по самым трудным жизненным путям.

Литература имеет очень большое значение для духовной жизни человека. В бурном водовороте современности, который включает и литературный поток, мы часто не видим или, может быть, не

успеваем рассмотреть замечательные произведения. Для того чтобы человек сумел разглядеть эти вечные ценности, нужно, чтобы они были актуализированы посредством слова современного писателя.

Сила слова – это больше, чем сила денег или оружия. Всё, что происходило в истории, все самые большие перемены начинались со слова. Идея, мысль представлялась и передавалась другим, а затем, если она захватывала людей, то появлялись и деньги для ее реализации, а когда нужно – и военная сила. Слово несет в себе потенциал спасения и потенциал гибели, и минувший XX век силу слова поразительным образом иллюстрирует.

Значение и роль литературы в жизни народа были таковы, что, как отмечает академик Д.С. Лихачев, *«в пору упадка политического единства и военного ослабления литература заменила государство»*. Литература огромным куполом поднялась над Русью, став щитом ее единства, щитом нравственным. От этого происходит то чувство необычайной ответственности за судьбу Отечества, которое всегда было свойственно нашей словесности.

Именно в литературе русская культура нашла свое самое глубокое выражение: изучение классической словесности есть один из важнейших способов национального самопознания. Русская литера-

тура в своих лучших образцах неизменно говорила с читателями о вечном, призывала видеть в каждой личности человека как образ и подобие самого Творца и Бога. Настоящая книга без нравственного начала немыслима. Не будет преувеличением сказать, что будущее России напрямую связано с будущим ее литературы.

Сегодня, когда мы говорим о вкладе наших номинантов в культуру, речь идет именно о подлинной русской культуре, которая утверждается на ценностях Православия. И вклад соискателей премии должен соответствовать этой высокой планке. Отрадно, что такие авторы есть, что мы их видим сегодня здесь, что мы можем читать их книги.

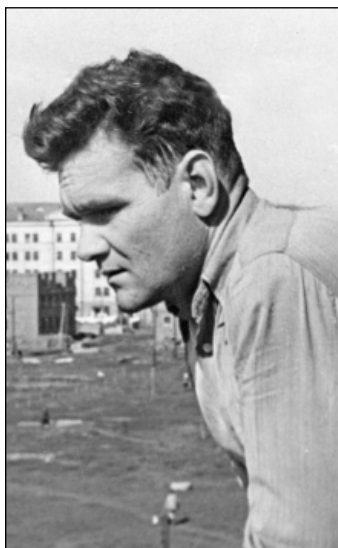
Нам необходимы сегодня произведения, которые бы высвечивали нравственные проблемы современности и помогали делать верный выбор, основанный на следовании евангельским заповедям. Очень надеюсь, что усилиями Церкви, писателей и всех неравнодушных к судьбам отечественной словесности людей в нашем обществе будет возрождаться роль литературы как важного пространства духовной жизни народа в шахтерском регионе.

АРИСТАРХ,
митрополит Кемеровский и Прокопьевский,
глава Кузбасской митрополии



Александр ВОЛОШИН

НЮРА*



Пополнение после Днестровской операции гвардейская дивизия получала в лесах под Ковалем.

Наша маршевая рота долго шагала по ночным просёлочным дорогам, и где-то в негустом смешанном лесочке уже под самое утро объявили долговременный привал, с неторопливым перекурком, основательным подрёмыванием и перематыванием надоедливых обмоток. Я пристроил пилотку на чей-то пыльный ботинок, а на пилотку запрокинулся отяжелевшим затылком. Попробовал присмотреться к бледноватым предрассветным звёздам, захотелось отыскать Большую Медведицу, Полярную звезду и определить своё местоположение на земном шаре, но явно не успел с этим и почти мгновенно заснул. Вернула уже в ясное тихое утро короткая привычная команда:

– Подъём! Ста-новись!

Со временем у солдата вырабатывается категорический рефлекс на все такие команды: дремлет ли он, обихаживает ли своё личное оружие или кашу со всем тщанием выскребает

* Публикуется по готовящейся к выходу книге автора «Солдатская память».

из котелка, а по команде «становись!» немедленно, с перевыполнением любых уставных нормативов, оказывается в строю точно на своём месте.

Окончательно развиднелось, и солдаты, мельком оглядевшись, стали узнавать друг друга: кто-то кивнул знакомому, кто-то подмигнул; может, кашу из одного котелка ели в эшелоне, махоркой ли поделились или домашние письма вслух почитали. Всё это само собой, но ведь всех сейчас до зуда под мышками интересовал один животрепещущий вопрос: куда тебя на этот раз кинет твоя солдатская судьба? Кто ты будешь с сегодняшнего дня – просто «активный штык» или «штык с каким-нибудь особым смыслом», – разведчик, допустим, или, не дай и не приведи господь, минёр!

Перед нашим разнокалиберным строем уже неторопливо идёт старший лейтенант – общевойсковой. Гвардейский значок над правым кармашком стираной аккуратненькой гимнастёрки, на левой стороне груди две серебряные медали, обе – «За отвагу». Молоденький, кажется, из самых что ни на есть молодых, а глазами быстрый, вострый, ростом средненький, лицо

ВОЛОШИН Александр Никитич (23 августа 1912 – 28 мая 1978) Прозаик, драматург. Фронтовик, прошёл всю Великую Отечественную войну, служил сапёром. Член Союза писателей СССР с 1950 года. Родился в г. Санкт-Петербурге. В 1931 году приехал на строительство Кузнецкого металлургического завода. С 1947 года жил в Кемерове, работал над романом «Земля Кузнецкая», который был издан в 1949 году и в 1950 году был удостоен Государственной (Сталинской) премии II степени. Один из основателей Кемеровской областной писательской организации. С 1959-го по 1961 год – главный редактор альманаха «Огни Кузбасса». Награждён орденом Отечественной войны II степени и медалями: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». В 1999 году учреждена областная литературная премия им. А. Н. Волошина.

обыкновенное, мальчишеское, без всякого начальственного значения.

Он медленно пошёл по фронту. Мне мимоходом кивнул: «Станьте, старшина, на правый фланг». Соседу моему так же точно кивнул: «Перейдите, старший сержант, на правый фланг...» Ещё трём-четырёх такими же словами скомандовал и опять ко мне: «Товарищ старшина, два шага вперёд... Кру-гом! Вольно. Приведите строй в порядок. Докладите».

По-уставному, но с отвычки, наверное, излишне зычно привожу строй в надлежащий вид, печатаю шаг, докладываю:

– Товарищ гвардии старший лейтенант, команда пятьдесят три по вашему приказанию построена. Докладывает...

Скомандовал он «вольно», но тут же оглянулся в сторону невысоких кустиков, кого-то там высмотрел и уже сам подал звонкую такую, почти песенную команду:

– Смир-рна!.. Равнение н-на... средину!

Тотчас из-за кустов, можно сказать, не вышел, а степенно так выдвинулся грузноватый, среднего роста майор, с вислым мужичьими плечами, крупными в кистях руками. Лицо широкое, открытое, светлое, нос вздёрнутый, конопатый. Чем угодно могу поручиться, что мужики с такими носами происходят если не с Енисея, не с Оби, то никак не западнее Кулунды.

Майор остановил доклад старшего лейтенанта, спросил:

– Люди проинструктированы?

– Никак нет! – вытянулся старший лейтенант.

– Накормлены?

– Никак нет, товарищ гвардии майор... Кухня задерживается. Ночью мостик через речку прямым попаданием...

– Ха-арошо начинаем воевать, ничего не скажешь. Да вы народ по всем статьям терпеливый, понимаете, что всё обтерпится и образуется. – Он кивнул в сторону офицера: – Гвардии старший лейтенант Завьялов – пээнша-один, иначе: начальник штаба отдельного сапёрного батальона. Гвардейского. Сталинградского. Я – командир вашего батальона, майор Романов Евгений Михайлович. Кое-кто из вас, может, и посетует на судьбу, определившую отныне воевать в сапёрах, в минёрах. (Тут я не сдержался, вздохнул: твоими бы устами да мед пить, товарищ гвардии майор!) Ничем другим порадовать не могу, только замечу: всему учиться придётся на ходу, а там всё образуется. Каждый солдат

в нынешней войне по необходимости становится и сапёром, и минёром. Такая война. А теперь... мне чутьё подсказывает, что где-то на подступах к нашему расположению движется батальонная кухня. Наш повар славится наваристыми борщами. Командуйте, товарищ старший лейтенант.

До конца войны, до Берлина провоевал я в рядах гвардейского сапёрного и, не утаю, ни разу не пожалел, что солдатская судьба именно так мною распорядилась. И командира батальона, потом подполковника Романова, изучил как будто в разных ситуациях досконально, но запомнил его вот таким, как при той первой встрече: и коротко категоричным, и между слов – добродушно-внимательным. Но и за этим ширококрылым добродушием всегда, как невидимая боевая пружина на взводе, крылось что-то необъяснимо волевое, отчего тебе в любой обстановке хотелось отчеканить: «Слушаюсь, товарищ гвардии подполковник. Сделаю!»

Помню, уже на Одерском плацдарме, весной 45-го, мне случилось сопровождать командира батальона с паромной переправы к передовому краю, за населённым пунктом Рейтвейн.

Вышли ранним слякотным утром. Передний край глухо молчал, будто сама война притомилась от многодневной мартовской мокропогодицы.

Третьей у нас спутницей оказалась как есть девчоночка-девчонка – тоненькая, малорослая, в коротеньком ватничке – санинструктор одного из артдивизионов. Это так она сама доложила подполковнику и попросила разрешения присоединиться к нам, когда мы уже карабкались с парома на прибрежную дамбу. Подполковник что-то разрешающе гугукнул.

– Втроём всё веселее, особо по такой плаксивой погодушке, – словоохотливо начала санинструктор уральской скороговорочкой.

А потом и понесла, и понесла, будто годами ни с кем не разговаривала. Вскорости нам стало известно, чем знаменит на всю Россию её родимый Невьянский завод, запомнилось, что девятилетку она закончила – ни два ни полтора, а курсы санинструкторов – одной из первых. Но войну она всё равно ненавидит. Только иногда и полегчает будто, если удастся быстренько, благополучно доставить раненого до санитарного района. Только тогда чуток и полегчает. А третья батарея их артдивизиона одна из лучших в соединении. Комбат Коля, из архангельских, совсем молоденький, но это опять же с какой

точки на кого посмотреть. Если уж третья батарея заговорила по целям, фрицы враз забывают и про свой очередной эрзац-кофий, да и про весь фатерлянд.

– И вообще, – она усмешливо двинула плечиком. – Он только очень стеснительный, комбат Коля, особо когда осматриваешь его по «форме двадцать»*. Даже ругается. А вообще народ на батарее по-русски чистый, опрятный, ни животами не болеют, ни простуда их не касается.

А сегодня она в кои-то веки заночевала у девчат в санбате. Это же, чесслово, пионерский лагерь, да и только – тишина и благоухание, – восемь километров от передовой. Постелька на соломенном матрасе, прохладные простыни. Настоящий чай из самовара и к нему две карамельки «раковая шейка». Истинная фантазия! А посередине ночи переполох: какой-то заблудившийся дальноточный как ахнет метрах в ста от палатки. Началось такое – хоть кино снимай! Кто-то скомандовал: «По щелям!» Ещё одна потребовала: «Дневальный, прекрати безобразия, мне же в четыре на дежурство!»

– Вощё, товарищ подполковник, тылы!

Я так и не понял, слушал ли командир всю эту девчужкину информацию. Может, и слушал вполуха, а сам, видно, думал о делах на переднем крае. Как раз этой ночью во время минирования погибли три наших сапёра.

Мы уже больше половины дороги одолели, и до Рейтвейна было рукой подать. И вдруг вокруг нас что-то как будто изменилось. Подполковник остановился, мы – рядышком. Слуха коснулся низкий подмывающий гуд с хмурого неба. Музыка знакомая – многомоторные «хейнкели». Какая ещё нелёгкая их несёт в такую противоположанную погоду? К тому же на плацдарме к концу марта почти каждый куст, каждая ложбинка были до предела начинены зенитным огнём.

Потому-то, кажется, даже сам сырой тоскливый воздух мгновенно загустел от взрывающегося шипящего металла, от перекрёстных светящихся трасс. А «хейнкели», как замороженные, хоть бы немного строй нарушили. Секунда, другая, зенитный огонь всё стервенел... Вдруг из-под всех трёх бомбардировщиков рванулось хвостатое оранжевое пламя.

– Ур-ра-а! Капут всем! – восторженно закричала девочка-санинструктор и вздела ручонки над головой.

Но подполковник только суховаато мельком глянул на неё.

Из-под «хейнкелей», с пылающими хвостами, вынырнули три крылатые тёмные машинки и на крутых виражах, видимо, управляемые по радио, с очень резким снижением пошли на наши армейские переправы.

Самолёты-снаряды! Вон чем вздумал удивить нас Гитлер у самого порога своего логова. В ту минуту я и думать позабыл о лавине зенитных осколков, которые всё яростнее низвергались с мокрого неба. У центральной переправы рвануло. Один раз. Мы напряжённо прислушались. Нет, всего один разок рвануло, а нырнули к реке три самолёта-снаряда. Не иначе подвела немец своя чудо-техника. О «хейнкелях» же больше не думалось, то была уже забота зенитчиков.

– Старшина. Старшина!..

Гляжу, а командир мой как-то неловко, боком, опускается прямо на сырую тропинку. Скулы серые, а в глубоких строгих глазах истинно мальчишеское удивление. Санинструктор первая, потом я – к нему. Но он уже почувствовался, отмахнулся:

– Пустое, солдаты... Своим осколочком, видно, задело... Они же на излёте.

Но санинструктор решительно опустила на колени и попыталась положить командира на спину.

– Разрешите, товарищ подполковник...

– Чего разрешите? – приподнялся тот. – Я же сказал: железка на излёте.

– Разрешите осмотреть.

Подполковник насупился:

– Русский язык понимаете?

Санинструктор тряхнула русой чёлочкой:

– Русским языком и говорю: лежите!

Нет, это был не командирский окрик, а просто что-то по-женски властное и в то же время дочернее, от чего ни душой, ни глазами никуда не денешься.

Мгновенно блеснули ножницы – и ватник, гимнастёрка, рубашка под ними распались, обнажив грудь повыше правого подреберья. Тре-суче распечатались два индивидуальных пакета. Маленькие, обветренные, но чистые руки сноровисто делали своё неотложное дело, личико девушки было непроницаемо замкнутым, сухие губы сжаты почти в неприметную полоску.

На меня она только раз равнодушно зыркнула:

– Что столбом стал? Положи командиру сумку под голову.

* Осмотр личного состава подразделения на вшивость.

Через самое малое время грудь командира туго перепоясали бинты. Санинструктор приподнялась, пощупала разрезы на одежде и сожалеюще причмокнула:

– Чинить придётся, товарищ подполковник. Не обессудьте, испугалась я... Ранение касательное. В санбате всё сделают за одну минуту. Извините, товарищ подполковник, старшина вам поможет, а мне разрешите следовать в своё подразделение?

Командир был уже на ногах и с любопытством рассматривал те же разрезы на своём обмундировании. Рассеянно кивнул:

– Идите.

– Счастливо, товарищ подполковник.

И санинструктор пошла лёгкой скользящей походочкой по извилистой тропке – меж фугасных воронок, через весенние мочажинки. Только тогда я снова глянул на своего командира. А он смотрел на далёкие Зееловские высоты, на хмурое небо над нами, глаза его были неподвижны, как на моментальной фотографии, и почти белые от ненависти. Слов у него, видно, никаких не было. Они, слова, должны были, не родившись, сгореть в этой яростной вспышке ненависти к войне, к смерти. Не против своей личной смерти. Могла ведь умереть посреди этой чужой земли и махонькая девчушка, уходившая сейчас от нас.

Командир переступил, кашлянул, глаза его ожили, и он окликнул санинструктора. Та мгновенно обернулась и молча, бегом, перепрыгивая мочажинки, приблизилась. Скоренько, коротко выдохнула:

– Вам плохо, товарищ подполковник?

Он глядел, глядел на неё, потом виновато спросил:

– Уважь, доченька, скажи, как зовут-величают?

Она не удивилась вопросу, только на секунду прижала кругленький подбородок к своему плечу, искоса глянула на командира из-под тонких бровок и почти шёпотом сообщила:

– Мамаля Нюсей кличет... Тятя, когда живой был, ещё до Сталинграда, Нюрой меня в письмах называл...

– Нюра...– Подполковник осторожно притянул её к себе за плечи. – Нюра, я, видно, ровесник твоего бати... Я поцелую тебя, Нюра...

И она стремительно подняла к нему навстречу свое лицо – такое чистое, звонкое.

А потом снова пошла по весенней военной тропке. Оглянулась раз, другой – и пошла быст-

рее, быстрее. Её ждала знаменитая третья батарея, которой командовал стеснительный молодой парень из Архангельска.

1970 г.

УТРО

Разведчик Матвеев был светловолосым русским парнем, с широкими жестами, которыми любил подчёркивать короткую и решительную речь. Голову носил высоко. Если стоял, то крепко стоял, обе ноги упирая в землю и как будто утверждая своё извечное право на неё. Коренастый, он был удивительно лёгок в походке и, как таёжный зверь, стремителен на удар.

Матвеев не говорил «я», он говорил: «мы только что из разведки» или «мы ночью давали трём гитлеряков». И даже соблюдая строго форму служебного рапорта о выполнении дела, порученного лично ему, он всегда умудрялся так построить доклад, что на первый план выдвигались его боевые помощники.

Отправляясь с вечера в расположение немцев, он обыкновенно говорил мимоходом другу-пулемётчику:

– Ну, Коля, мы пошли. Всего!

И уходил, как в цех или на пашню. Но разведчики знали, чего стоила ему эта простота. Прощупывался каждый шов, каждый рубец на одежде, проверялось десятки раз оружие.

– Чего это ты на пятку ступаешь так? – спросит Матвеев разведчика. Посмотрит и скажет укоризненно:

– Э-э, милый, чего же ты портянки не постирал?

– Так ведь время...– замнётся виновный.

– Скажи на милость, время! – усмеётся Матвеев. – Время... Знаешь пословицу: «Умирать, и то день терять»? А тут разговор о жизни. Понимаешь?..

– А понять-то этого человек до сих пор не желал, – рассказывает потом Матвеев пулемётчику Николаю Мартынову. – Не понимал, главное, того, что идёт в пекло, что его, можно сказать, весь народ на это дело посылает. Я, примерно, когда иду к гитлерякам, так не только карманы да портянки осматриваю, а в мыслях своих покопаюсь, чтоб не унести чего лишнего...

И вот с Матвеевым стряслась беда. Его принесли под утро. Положили в землянке на чистую простыню. Он молчал, плотно закрыв глаза, сжав губы, напрягаясь в борьбе с раздражающей болью. Три раны в грудь опрокинули парня.

Николай Мартынов держал горячую руку друга и боялся двинуться. Когда боль делалась совсем непереносимой, Матвеев сильно сжимал пальцы Мартынова и, открывая глаза, говорил шёпотом:

– Вот чёрт... катавасия.

А глаза у него были в это время удивительной глубины, в них билась и не находила исхода какая-то горячая, беспокойная мысль.

Ослабев, он потянул к себе Мартынова.

– Коля... – он трудно и быстро передохнул. – Коля, гитлеряки скоро в атаку двинут... передай...

Мартынов прижался к его щеке сухими губами и вышел. Увидел землю, какой она бывает ранним утром. Зачем же человек ясной и прямой жизни уходил из этого утра?

На восток без конца и края простиралась необъятная тёплая земля, и, откуда-то взявшись, может, родившись в сердце, над землёй и нежно-зелёным лесом медленно взмывал протяжный и торжественный звук. Словно пел кто-то и звал: «скорее, ско-рее!»

Но... в лесу удар. Столб земли в жёлтых острых полосах. Падают корневища. Шмелиный высвист над головой. Ещё удар, ещё два, и всё смешалось. С необычной поспешностью били десятки немецких орудий. Дыбилась под ударами и выворачивала парное чёрное нутро земля. От огня и железа желтели и никли травы.

Батальон молчал. Ещё какое-то короткое мгновение раздирает утро грохот, и стало тихо. Но от тишины этой сотни людей подались вперёд, сжали согретое в руках оружие.

Трескотня автоматов из лесочка. На поляну ошалело выскочили несколько сот солдат. Их встретили густым прицельным огнем. Немцы падали, на место их появлялись всё новые и новые. Вдруг замолчали пулемёты на левом фланге батальона. Это услышали и свои, и враги, не смотря на непрерывное полосканье залпов. Мартынов выдвинулся на бугорок и ударил во

фланг автоматчикам сразу двумя лентами. Но автоматчики уже успели накопиться в лощинке между первой и второй ротами. Оттуда раздался их торжествующий рёв.

– Ах так, ах так! – Мартынов жал на гашетку пулемёта и почти не слышал собственных выстрелов. Кто подавал ленту в приёмник, – он тоже не видел. Горело сердце от желания, чтоб та, тихая ещё час назад лощинка, где орут сейчас немцы, вздыбилась бы костями врагов.

– Ах, так... – он приподнялся и отпустил рукоятки затыльника.

Что это? Видят ли это глаза или...

И не один Мартынов смотрел в ту же сторону – жарким огнём вспыхнули сотни глаз. Минуту, две не было выстрелов со стороны батальона.

А он стоял на маленькой горке впереди окопов, опираясь рукой о молодую берёзу. Его как будто приподнимало солнечное утреннее тепло, и свет трепетал над ним синим, розовым, белым. Это продолжалось не минуту, прошло не короткое мгновение, а целая вечность, и, казалось, человеческие сердца не выдержат, а вспыхнут ярко и сгорят.

Матвеев выпрямился, поднял непокрытую голову. Стало ещё тише. И тогда в окопах услышали ясный голос:

– Ребятки, родные! – звал Матвеев. – Двиньте вы их по зубам...

Шагнув, и, видимо, десятки смертей вошли в его тело. Он упал в двух шагах от берёзки, лицом к солнцу.

Тогда батальон поднялся. Встали роты, колыхнув молчаливыми жалами штыков. От шага надсадно ухнуло в округе. Вот уже недвижимое тело Матвеева осталось позади, смяли немцев во фланге и будто не заметили. Роты рванулись на первую, а потом на вторую вражескую линию. И не было ни одного возгласа, ни одного выстрела. Убивали и умирали молча.

1942 г.



**Александр
КЕРДАН**

ПУЛЕМЁТ И ЗАЩИТНЫЙ ПСАЛОМ



Опять пылает Курская дуга
Под залпами старинного врага...
И нет тут оговорки никакой –
Фашизм и в вышиванке, он – такой,
Каким уже показывался здесь:
Всё те же и воинственность, и спесь.
И что бы ни втолковывали мне,
Кресты всё те же на его броне.
Гутарит на десятке языков,
Стреляет и в детей, и в стариков,
Забыв уже преподанный урок
И то, как еле ноги уволок...
Ведь как бы ни сгибали нас в дугу,
Мы не уступим злобному врагу,
И вспять его погоним в свой черёд,
А кто не сдастся, также здесь умрёт
И станет перегноем для полей
Непобедимой Родины моей.

УЗЕЛОК ДЛЯ ТЁТИ РИММЫ

Тётя землицы мне взять наказала,
Горсточку милой уватской земли –
В Малом Нарысе, на родине малой,
Где её детские годы прошли.

Ссылка – для взрослых – и спецпоселенье,
А для ребёнка – везде как в раю...
– Мне бы припасть к той земле
на мгновенье,
К сердцу прижать ридну неньку мою...

Просьбу я выполнил: вот – узелочек
С бурой, прогорклой сибирской землёй...
Только одна недолга: и захочешь –
Не передашь его тётке родной.

В Киеве тётя свой век доживает,
И между нами – война и беда.
Землю в платочке храню и не знаю:
Этот подарок вручу я когда...

Дал бы Господь одолеть супостата,
К тётке приехать, отдать узелок,
Крепко обняться, как было когда-то,
Чтобы никто разлучить нас не смог!

Льётся Божий свет в окно,
И заря – полоской.
Двор наш выбелен давно
Снегом, как извёсткой.

КЕРДАН Александр Борисович родился в 1957 году в городе Коркино Челябинской области. Окончил высшее военно-политическое авиационное училище, военную академию и адъюнктуру Военного университета. 27 лет прослужил в Вооружённых силах. Полковник в отставке. Кандидат философских наук. Доктор культурологии. Автор 84 книг стихов и прозы, вышедших в России, США и Азербайджане. Лауреат Большой литературной премии России, всероссийских и международных литературных премий. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала, руководитель регионального штаба ООД «Культурный фронт России». Живёт в Екатеринбурге.

А заря горит, горит,
Тихо догорая,
Так, как будто говорит:
«Наша хата с края».

Там, на этом на краю,
Раздаются взрывы:
Кто – в аду, а кто – в раю.
Остальные – живы.

Им, живущим, недосуг
В боевой работе
Слушать сердца каждый звук,
Как при арналёте.

Любоваться белизной
И полоской алой...
Свистнет пуля над тобой,
Значит, не достала!

А меня достало, вот...
Это точно знаю:
Там воюет мой народ,
Льётся кровь родная,

Оставляя алый след
На извёстке белой.
И такого края нет,
Где бы ни болело.

И не спрятаться в тиши
От войны, от рока...
Края нету у души,
Если верит в Бога.

НА КАЗАНСКОМ ВОКЗАЛЕ

Сердце у меня не из железа –
Начинает биться невпопад:
Так и тычутся в глаза протезы
У ребят и даже у девчат...

Лица перекашивают шрамы,
А во взорах злая глубина...
Видно, что для них совсем не мама
Эта бесконечная война.

...Адовы круги, огонь смертельный
И друзья, лежащие в пыли...
Из госпиталей тропой метельной
Вышли, опершись на костыли.

Сможет ли когда-то позабыться,
Как, круша обугленную твердь,
Дроны – Апокалипсиса птицы –
Сеяли страдания и смерть?

Стынет кровь, и думы стынут тоже:
Здесь, в Москве, иная жизнь царит...
Хоть бомонд, кривясь холёной рожей
О патриотизме говорит.

У него-то всё всегда прекрасно,
Он, бомонд, на выдумки горазд:
Ластится к народу, если страшно,
А потом безжалостно предаст.

...За деревьями не видно леса,
И всё жёстче схватка: кто – кого...
Костыли стучат, скрипят протезы –
Свой рассказ ведут про СВО.

ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ ВЫШНЯГО...

Монолог пулемётчика

– Да, бывает порой трудноато –
И нацисты идут напролом...
Чтоб осилить исчадия ада,
Девяностый читаю Псалом.

А прочту, и небесные хляби
Мне дружиной на помощь идут.
И тотчас Пересвет и Ослябя
Занимают соседний редут.

Хлещут ливни свинцовые косо,
Смерть гуляет в посадке лесной...
Но стоят Александр Матросов
И Олег Кошевой за спиной.

Враг ярится и лезет из кожи,
Он найдёт здесь печальный конец...
Мне в бою Моторола поможет
И погибший в Афгане отец...

Отступить не имею я права,
Ведь за мною – родительский дом!
Мне порукой – Отечества слава,
Пулемёт и защитный Псалом.

ПОКРОВ

Молодая женщина из Подмосковья, узнав, что не хватает зимних маскировочных сетей, сплела для мужа, воюющего на Донбассе, такую сеть, разрезав на полосы своё белое свадебное платье...

Новость из Интернета

*Белое платье разрезав на полосы,
Стала плести она сеть...
Белая степь, побелевшие волосы –
Кружит над суженым Смерть.*

*Целит в него – прямо в сердце горячее
Хладный наводит прицел...
Надобно сделать ту ведьму незрячею,
Чтобы остался он цел.*

*Платье, в котором венчались вчера ещё,
Станет защитой ему,
Чтобы любимый прошёл сквозь пожарища,
Чтобы осилил он тьму.*

*В стылом окопе, как в Божьей обители,
Силой любовной храним,
Чтобы он выстоял, стал победителем,
Чтобы вернулся живым.*

МАМИНО ОКНО

*Мне вся планета по размеру,
Но понял для себя давно,
Что неразменны честь и вера,
Любовь и мамино окно,*

*Откуда – мал ещё росточком –
Я вглядывался в синь небес
Сквозь алые цветы в горшочках –
Мой райский сад, мой сад чудес...*

*Откуда – ведь такое было,
Когда из дома уходил,
Вдогонку мать меня крестила,
Молилась, чтоб счастливым был.*

*И потому я – не бездомный
Какой-нибудь космополит,
Что надо мною – свод бездонный,
Откуда матушка глядит.*



**Наталья
МУРЗИНА**

БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ



КОЛОКОЛ

С седых времён, будь праздник или смута
В разноголосом скопище людском,
Он к каждому, кто не оглох покуда,
Взывает неподкупным языком.

И в час, когда небратья на пороге,
Скорей беги на звонницу, звонарь,
Успей, звонарь, до вражьей перемоги,
В огромный вещий колокол ударь!

Звони над каждым домом разорённым,
Над каждой могилой заводи,
Прожи сердца набатом раскалённым –
Беспечную Россию разбуди!

БЕЛЫЕ СЕТИ

Снегу-то выпало сколько в твой
ослепительный день!
Из белоснежного шёлка платье, невеста,
надень!
Радости полная чаша, нежно лучится
душа.
Милая горлица наша, как ты сейчас
хороша!

13

Памятная картинка: пара стоит на свету,
А кружевные снежинки мягко летят на
фату.

Но не до свадебных шуток, сердце забота
берёт,

Что через несколько суток муж уезжает
на фронт.

Скоро заплачешь, читая весточку с той
стороны:

«Для маскировки, родная, белые сети
нужны!»

Белые... Мчишь по соседям. Пишешь
по всем адресам:

«Женщины! Белые сети сделаем нашим
бойцам!»

Срочное дело! Но где же ткани достать
на ходу?

Завтра ты первой изрежешь платье
своё и фату...

Бусинки и серебринки видит на сетке
солдат.

И кружевные снежинки на маскировку
летят...

МУРЗИНА Наталья Петровна родилась 14 февраля 1971 года в посёлке Тисуль Кемеровской области. Окончила Кемеровский государственный университет. Работала в журнале «После 12», Доме литераторов Кузбасса, редактором в издательстве «Кузбасс». Публиковалась в журналах и альманахах: «Москва», «Наш современник», «Огни Кузбасса», «День и ночь», «Введенская сторона», «Чаша круговая», «Поэты университета», «Собор стихов», антологиях военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..», «Здесь начинается Родина», «За ленточкой», «Русский мир, как космос, навсегда...», «Нашим!..», «Оберег», «За други своя». Автор книги стихов «Вторжение весны». Лауреат журнала «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России. Живёт в Кемерове.

Запомни этот день. Как чист и влажен
воздух,
И рощица берёз прозрачна и свежа –
Ей скоро принимать грачей в лохматых
гнездах.
Тебя целует март, беспечная душа!
Запомни этот день, он вновь не
повторится.
На всём печать весны! И птичья перезвень,
Врываясь в шум машин, преображает
лица.
Смотри во все глаза, запомни этот день!
Кто нынче в мир придёт, кто – канет
без возврата.
И эту череду никак не отменить...
Когда и этот день, как снег, сойдёт
куда-то –
Благослови, что был, за радость просто
жить!

**Человек с благодарным сердцем
никогда ни в чём не нуждается.
Отец Николай Гурьянов**

Среди нас, в самой гуще людской, в мире
оном,
Где мечты – сладкий дым, а лукавые
дни – коротки,
Благодарное сердце живёт по небесным
законам,
Принимая краяху и посох из Божьей руки.
На неясные знаки беды откликаюсь
в мновенье, –
Неспокойно, щемит и стремится кого-то
жалеть.
И хулу, и паденье способно принять
без смятенья,
И в лицо одиночеству без содроганья
смотреть.
Хочет помнить не горечь обиды,
но благодеенье,
И блаженно носить отпечаток святой
простоты.
В общем, жить и любить.
Любоваться цветком мироздания.
Благодарное сердце ни в чём не имеет
нужды...

Дни несутся, друг друга тесня,
Но пронзит иногда холодочек:
Что останется после меня?
Только горстка мерцающих строчек...

Что, распахнутая на ветру,
В них сказать я когда-то хотела
И о чём, горячась, на миру
Вам рыдала, смеялась и пела?

Жизнь – вскипающая река,
И – увы – оступиться несложно.
Но незримая чья-то рука
Поднимает меня осторожно.

И однажды, свершив дальний путь,
Перед Отчим порогом
Мне останется только вздохнуть:
«Слава Богу!»

Мирозданье искрило от красок и от
голосов –
Всемогущий лепил из весёлой податливой
глины!
И, настроив сверхчуткие чаши небесных
весов,
Он задумал Свой главный шедевр –
человека. Мужчину.
И бездушная персть мановенье Творца
поняла,
И содеялось диво из праха – Адамово тело.
Вот с гончарного круга и нежная Ева
сошла,
Неиспорченный солнечный мир оглядев
оробело.
И вдохнул в них Отец трепет жизни
и жажду любви.
Дал свободную волю – бесценное право
навек.
Непослушные дети не внемлют! Зови –
не зови!
Что же вам не жилось во блаженном раю,
человеки...
Вас, несчастных, за дерзость исторгнул
Отческий кров,
И всему человечьему роду аукнулось ваше
затмение.
Содрогнулась природа: на чашу небесных
весов,

**Дмитрий
КОРЖОВ**

МУРМАНЦЫ



1942*

ГЛАВА 1
НЕ ГОРЕЛО ТОЛЬКО МОРЕ

«Синева» возвращалась к месту промысла. Хорошо шла, ходко. Да и погода радовала: тепло, ни ветерка, почти полный штиль. И – солнце, огромное, как казалось капитану траулера Марии Филатовой, едва ли не во все небо. Яркое, незакатное.

Рейс выдался удачный. Шутка ли, за десять суток они взяли больше ста тонн рыбы, и трюмы были почти полны. Оставалось добрать немного, самую малость, и – домой, в Мурманск. Для этого и искала сейчас «Синева» косяк, что после вчерашнего шторма чуть сместился, ушел куда-то в сторону.

Немецкого разведчика – «раму» – рыбаки заметили лишь когда он, медленно снижаясь, с выключенным мотором вальяжно планируя над морем, уже заходил на траулер. Подкрался незаметно, неслышно, к тому же – со стороны солнца. Черной гиблой тенью завис над кораблем и – хлестанул свинцовым пулеметным дождем по

* Продолжение. Начало в «Огнях Кузбасса» № 1 за 2025 г. Журнальный вариант второй части романа-трилогии «Мурманцы». Печатается по изданию 2022 года Издательского дома «Дроздов-на-Мурмане».

КОРЖОВ Дмитрий Валерьевич (1971–2023). Окончил истфак Мурманского государственного педагогического института и Литературный институт имени А. М. Горького. Автор 14 книг поэзии и прозы, в том числе романа-трилогии «Мурманцы» (2008–2015). Работал редактором еженедельного номера областной газеты «Мурманский вестник». Жил в Мурманске.

рубке и машинному отделению. Спаренный станковый пулемет на корме траулера заработал с опозданием: враг прошел над ними, включил движки – и пулям его было уже не догнать.

– Проспали, чтоб вас! – ругнулся в сторону корабельного ПВО цыганистый, черноволосый человек лет сорока – старпом «Синевы» Дмитрий Горовой.

16
Большой, богатырски могучий кочегар ошарашенно рассматривал свою изуродованную пулями правую руку – огромную, почерневшую от угольной пыли. Делал он это молча, отстраненно, не чувствуя еще боли. Лишь когда к нему подскочил шкерильщик, по совместительству исполнявший на судне еще и обязанности фельдшера, и неосторожно схватил того за раздробленные пальцы, кочегар тихо застонал.

– Не бойсь, братишка, всё сделаем в лучшем виде, – заверил пациента совместитель и решительно плеснул на рану спиртом из армейской фляжки, отчего кочегар завопил длинно и жалостно и схватился второй рукой за перила трапа, рядом с которым все и происходило.

– Тише ты, шкерильщик! – цыкнул он на врачавателя сквозь зубы, когда боль чуть отпустила. – Я ж тебе не рыба.

– Это уж точно, – согласился тот, укутывая иссеченную пулями руку кочегара в плотный се-

рый кокон из лежалых бинтов. – Рыба-то, как ее ни пластай, всё молчит, голубушка.

Помимо богатырской десницы кочегара «Синевы» пули повредили и паровую магистраль корабля.

– Если не залатаем, придется домой возвращаться, – с досадой промолвила Филатова, когда ей доложили о повреждениях. – Мы уже теряем время. Уйдет косяк – ищи-свищи его потом.

– Не волнуйся, Марья Степанна, – заверил ее старый одноглазый боцман Сергеев, – всё сделаем вмиг! Оглянуться не успеешь.

Филатова с недоверием поморщилась, хоть и знала, что одноглазый Сима, как звала боцмана команда «Синевы», зря болтать не будет: старых правил человек, цену своему слову знает. И все же боялась капитан, что «вмиг» совладать с последствиями визита «рамы» не получится. Однако боцман, взяв в подручные старшего механика, «подлечил» магистраль действительно быстро – часа за полтора.

– Молодец, Серафим Петрович! Не подвел, – похвалила Филатова боцмана, когда тот явился доложить о сделанной работе. – И ведь как вовремя. Сам понимаешь, в косяк войдем – не до того будет.

– Долго ли умеючи-то, Марья Степанна, – счастливо моргнув единственным глазом, улыбнулся Сергеев. – А насчет косяка ты, знамо дело, права. Рыба, она того... ждать не будет.

Филатова обычно вскрывала несколько рыббин из первого подъема. Надо было определить, подвижный косяк или спокойный. Сытый, статичный. Или – по морю рыщет-свищет, ищет себе пропитанье. Вот как раз на такой они и попали. Ох, богатый косяк! Несколько забросов сетей в разных направлениях, и траулер, узрев очертания косяка, как волк, учуявший добычу, радостно юркнул в центр этого рыбного стада.

И пошла работа... Раз за разом всплывал сетяной мешок. Прямо перед глазами капитана делажные стропы подхватывали сеть и поднимали кишашую рыбой многокилограммовую авоську на уровень мостика. Стоило дернуть за один из стропов – мешок открывался с ходу, залпом, и серебряный мощный поток (окунь, треска, пикша!) лился на палубу неостановимо и празднично.

– Хорошо идем, Марья Степановна! – азартно оглянулся на нее, обжег цыганскими глазами Горевой.

Капитан Филатова нахмурилась, без злобы, как о чем-то и так понятном, подумала про себя:

«Что ж он суется? Под руку. Да и вообще. Как пацан, прям... Цыган!» Но говорить ничего не стала.

– Не каркай, зараза! – будто за капитана одернул старпома одноглазый боцман.

Но рыбалка и впрямь на этот раз – что уж скромничать! – им удавалась. Сеть приносила на борт по две-две с половиной, а то и по три тонны рыбы. Щедрый выдался косяк, почти бездонный.

– Вот так, по-стахановски! – приветствовал новый рыбный залп старикан боцман. Горделиво оглядывая палубу, устланную живым, изменчивым серебром, заметил: – Сколько ж ее! В трюмы ведь не помещается.

Маше вспомнился совсем недавний разговор с капитаном знаменитой «Двины» Егоровым. Этот суровый человек экипаж своего траулера держал в черном теле: уж очень был требователен. На судне его боялись. Но и любили. Маша Филатова когда-то, после Ленинградского института инженеров водного транспорта, ходила у него на «Двине» третьим помощником. И, как и все, души в капитане не чаяла... Егоров же относился к Филатовой с неожиданной для него нежностью.

– Да как ты его находишь, Машенька? – своим низким, чуть хрипловатым голосом говорил Егоров, размышляя о ее редкостном чутье на рыбу, на хороший косяк. Смеялся: – Оглянуться не успеешь, ать – и она уже в косяке. До меня только РДО доходят: «Взяли столько-то, взяли столько-то...» А у меня рыбки – кот наплакал. Сижу и локти кусаю.

– Да уж, вы кусаете, как же... – смущенно улыбалась Филатова. – Не скромничайте, знаем мы вас. Поди, получше меня знаете, как косяк засечь.

– Да знаю, знаю, – соглашался Егоров. – Но ты всё одно, пожалуй, лучше моего в этом разумеешь. У, поморская кровь!

– Ну, мне за орденосцем не угнаться! – смеясь, парировала Маша. – Тут и поморская кровь не поможет. В промысловой разведке вам равных нет!

– Орденосец, говоришь... – Егоров пожал плечами, будто впервые узнал о собственных наградах. А потом заметил с хитрой усмешкой: – Ну, Машенька, это ж дело наживное. Если так же будешь ловить, никуда не уйдут от тебя твои награды. Звезды твои. Большие. Почетные.

С Егоровым они столкнулись в управе тралфлота, у огромного плаката, на котором солдат в каске и шинели обращался к людям во флотских тужурках: «Товарищи рыбаки! Давайте больше рыбы для фронта и тыла!»

Она ничего тогда не ответила. Потупилась по-детски, смутилась. Укорила себя: «Давно ведь не девочка уже, сорок лет как-никак, а всё как маленькая, тушуешься, краснеешь. Давно ведь не в батюшкином доме. Не в Печенге...»

Не один Егоров, многие мурманские капитаны-промысловики считали ее удачницей. Да и происхождение, это правда, было за нее. Отец ее, Степан Филатов, знаменитым лодчманом был на Беломорье, а потом и на Мурмане. Смотритель маяков в Печенге.

В Мурманск она приехала в двадцать первом. Случилось так, что взвился над родным селом синий флаг со львом, и будто Печенги – той самой, любимой, родной – не стало, появилось какое-то совсем чужое Петсамо. А жителям объявили, что живут они отныне не в Советской России, а в Финляндии. Отец стерпеть такого не мог, буркнул в сердцах: «Ишо недотепы-чухонцы нам учнут справу чинить», собрал скорехонько дочек – Машу и младшую ее сестру Еликониду, Елочку – и ушел в Мурманск.

Маша впервые оказалась в городе, и всё здесь было ей интересно, хоть и был этот город в ту пору больше похож на поселок, невелик, грязен.

Но – море... Черное, мятежное – почти всегда, даже когда и ветра-то нет над ним, звучало мощью и простором.

Но – сопки... Из них – крутобоких, холодных – сложен мурманский берег. Берег! Не просто земля.

Но – корабли... Как привет из далеких стран, из иных миров. Большие и маленькие. Сделанные из легкого дерева и из звонкого железа. С трубами и с парусами, с сетями и с пушками. И все – здесь, в мурманском широкоплечем порту, что, разделенный причалами, тянется долгим упругим канатом вдоль всего Мурманска.

И еще одна вещь делала этот город близким ей, почти родным. Один человек, которого Маша Филатова знала всего три дня и всё никак не могла забыть... «Новожил в погонах», как назвал его Евлампий, нелепый ухажер ее тогдашний, видеть которого после отъезда того самого новжила стало ей совсем невмочь. Отец, видя такое дело, живо Евлампия от дома отвадил.

А человек тот в погонах, с внимательными, добрыми глазами, никак не уходил из памяти, будто все время рядом стоял. Маша часто возвращалась мыслями в те дни, когда судьба и неведомая ей «служебная необходимость» привели в их дом этого гостя. Алексей... Или – Алеша, как смешно называл офицера привезший его из Мурманска лопарь Артемий. Его негромкий, но уверенный голос, его такая непохожая на их, поморскую, речь, его нежное, осторожное внимание к ней, еще совсем юной тогда, семнадцатилетней. Всё это жило в ней, не уходило. И то, как лечила она его поврежденную где-то у отцовского маяка, «по служебной надобности», ногу. И как не хотела, чтобы он уезжал. И весь его последний день в Печенге, в их доме...

Как он тогда, глядя ей в глаза, пропел-проговорил своим спокойным голосом: «Ваши пальцы пахнут ладаном, А в ресницах спит печаль...» А она почти испугалась, не понимая, о чем он, спрашивать начала: «Какой ладан? Почему печаль?» А он усмехнулся и сказал: «Да не обращайтесь внимания, Мария Степановна. Просто песня такая есть».

Как уже у порога, прощаясь, протянула она Алексею руку, а он... Сделал то, чего никак она не ожидала: бережно поднес протянутую руку к губам, поцеловал.

Как не отрываясь смотрела она за волокущей Артемия, что увозил его (в Мурманск увозил!), смотрела, пока лопарская оленья упряжка совсем не скрылась из вида, не ушла за поворот.

И когда отец сказал, что они навсегда уезжают в Мурманск, она почти поверила в то, что встреча с таким далеким и одновременно таким близким ей человеком возможна. Что это не сон, а судьба.

Но в Мурманске она Алексея не нашла. В городе уже больше года жила новая власть – с красными флагами и без людей в погонах. А тутещеотец, отприроды очень здоровый и сильный человек, спустя год их мурманской жизни умер нежданно-негаданно, без видимых причин, внешне будто бы и без болезни.

Что она делала после его смерти – с двенадцатилетней сестрой на руках? Растила Елочку, работала и училась. Ходила матросом в только еще зарождающемся тралфлоте. На время рейсов Еликониду отдавала в семью давнего, с лодчманских времен, товарища отца, он в Коле жил. Может, поэтому та так быстро повзрослела, выучилась, сейчас вон в Мурманске других учит,

учительствует. «Смышленная Елочка», как называла Маша младшую сестру.

Филатова и сама в те годы училась. Много и жадно. Окончила архангельскую мореходку, штурманила. К Егорову, на «Двину», попала в середине тридцатых, уже после флотского института.

Разве не удача? Конечно, удача.

Вот и на сей раз все вроде бы шло хорошо, удачно.

Очередная полная рыбой сеть раскрылась над палубой. Очередной, привычный глазу залп из трески, пикши и окуня. В этом походе – последний.

«Ну что, теперь – домой!» – подумала Филатова. И тут среди шума, среди десятков звуков, на которые так щедр промысел, она расслышала один чужой, из другого мира. Тяжелый звук, который она за год войны уже научилась распознавать. Нудное далекое жужжание.

Еще до того, как черная птица вывернулась из облаков, отчетливо проявилась на пасмурно-серой бумаге неба, на борту «Синевы» зазвучали короткие и упругие слова команд:

– Слева по борту – самолет противника! Право на борт!

Поворот! И основная часть сброшенных бомб легла чуть в стороне – разорвала катящуюся на борт волну, на краткий срок вздыбила море вокруг корабля. Но поворот их не спас: в корме что-то треснуло, повалил густой, едкий дым.

Самолет, отбомбившись, прошел над ними так близко, что были видны кресты на железных крыльях. Удовлетворенный атакой, возвращаться и добивать поврежденный траулер он не стал, ушел обратно в облака.

– Как шваркнет, етить твою налево! – испуганно выругался маленький очкастый судовой электрик Оладьев. Потом вздохнул облегченно: – Но вроде пронесло. Мимо!

– Как же, держи карман шире, «мимо». Дыма не видишь, не чуешь? – оборвал его боцман, жестко взял за плечи и развернул против хода корабля. – Вон, сунь морду! Видишь, какая дура в корме торчит?

Бомба вошла в самый зад корабля. Увесистое, похожее на внушительных размеров свиное тело с размаху втемяшилось в корму – раскроило-разлохматило доски палубы, плотно увязло в корпусе «Синевы».

Оладьев долго смотрел на врезавшийся в судно новый груз. Смотрел суетливо, беспокой-

но. Оладьева в экипаже «Синевы» прозвали «фертом» за привычку ставить руки в боки, но больше – за беспрестанное брюзжание и гугнивый скулеж по поводу и без. Вот и сейчас Ферт, похоже, был готов запустить знакомую пластинку.

– Да что ж это, браточки?! – запричитал он своим заунывным, с гнусавинкой голосочком. – Ведь щас жажнет. И помрем все, как пить дать...

Это был не первый рейс Ферта под бомбами. И боялся он всегда. Но сейчас страх совсем уж взял его за шиворот и крутил-вертел очкастым электриком как пожелает.

– Точно рванет! – смятенно заключил Ферт. Будто в беспамятстве обернулся он к товарищам, дико улыбнулся. И, перемахнув через перила, шагнул за борт с истошным, рвущимся на ветру криком: – А-а-а-а...

– Стоп, машина! Человек за бортом!

Ферту выбросили спасательный крюк, скрепленный с палубой длинным веревочным концом, притянули к борту. А потом, понося на чем свет стоит и фашиста, что не промахнулся, и бомбу, что могла бы и мимо упасть, и таких вот пугливых горе-электриков, Оладьева вытащили на палубу. Живо стянули с него мокрые брюки и робу, упаковали в одеяло.

– В каюту, пусть сохнет, – брезгливо усмехнувшись, сказал боцман фельдшеру. – И спиртом его протри. А то, гляди, захворает, совсем нам житья не будет от его нытья. Вот ить, будто другого дела у меня сегодня нет, как с утопленниками возиться.

По тому, как вел себя траулер, да и по дыму, что черными клубами вился ввысь от кормы, Маша поняла: визит непрошеного гостя не прошел для «Синевы» бесследно. На мостик уже спешил, неумолчно ворча и ругаясь, одноглазый боцман. Только рядом с капитаном умерил он и брань, и прыть.

– Мария Степановна, попал в нас-таки супостат, – навытяжку, как восклицательный знак, застыл перед Филатовой, отчеканил боцман. – Но, бог миловал, не взорвалась бомба.

– Старшего механика ко мне, живо! – с ходу отозвалась капитан.

– Я здесь, Марья Степанна, – прозвучало с трапа, ведущего в рубку.

Капитан даже не стала ждать, когда «дед» проникнет на мостик, командовала – не глядя, на голос:

– Нужно обследовать корму. Посмотри, где пластырь подвести, если все-таки эта штука за-

балует. И – радио на берег: «Подверглись воздушному нападению. Промысел закончен. Следующий порт».

– Хорошо, капитан, – весело заверил старший механик и обратно – разбираться с очевидными и вычислять возможные повреждения судна.

– Идем домой. Но к причалу не пойдем, – сразу определила задачу старпому Филатова. – Встанем на рейде.

– Угу, – с пониманием кивнул Горевой.

«Не могу швартоваться!» – такое радио ушло с борта «Синева» в порт уже в Кольском заливе, на подходе к Мурманску.

Как только он показался, обозначился вдаль, у всех, кто смотрел в сторону города, возникло странное чувство – словно пространство, что видели они с моря не раз, изменилось, стало чужим. И чем ближе «Синева» подходила к Мурманску, тем чувство это становилось острее и резче.

– Что там такое? – хрипло и зло пробормотал старший помощник. Потом обернулся к капитану – так, словно та могла чем-то помочь, хотя бы объяснить, что стряслось с родным берегом и городом: – Посмотри, капитан... Я порта не вижу!

А порта и не было. Огненно-черная, тлеющая полоса вдоль берега – то, что совсем недавно было мурманским портом, – издалека была похожа на горло топки, уже угасающей, но еще жаркой, такой, что рукой не тронь...

Мария Филатова стояла на мостике, с тревогой всматривалась в город. Огонь отсюда, с рейда, был почти не виден – лишь серо-черные клубы дыма, будто огромные грязные змеи ползли от порта вверх, все выше и выше. Через стекла восьмикратного «цейса» можно было разглядеть то, что осталось от порта: черные щербатые печные трубы, черная дымящаяся, перемешанная с золой и пеплом земля, черные обугленные валуны прибрежной полосы. Филатова перевела бинокль вглубь, в город.

– Что там? – не выдержал ее долгого молчания Горевой.

Мария ответила не сразу:

– Кажется, дом мой горит, Митя...

– Где?

– На Профсоюзов.

– Дайте! – попросил бинокль Митька. Тут же навел «цейс» на центр, взволнованно выдохнул: – Да там, кажется, все горит. А у меня я вообще ничего не вижу.

– А ты где живешь?

– На Жилстрое, – как о чем-то обыденном, о чем не надо спрашивать, все так же хрипло ответил Горевой. И уточнил: – Но там не видно ничего. Огонь один. И дым...

Был обычный летний день. Восемнадцатое июня сорок второго года.

...А диспетчеры рыбного порта все никак не могли взять в толк, что происходит с траулером «Синева», который был уже виден с берега.

– Они там все пьяные, что ли, на мостике? – негодовал один из диспетчеров. – Я радировал: «Швартуйтесь к первому причалу...» Отвечает: «Не могу». Вот ведь жисть: весь день бомбят, а тут еще – вот такое.

Его сменщик, не такой уставший, спокойный, уверенный, садясь к рации, хмыкнул удивленно:

– Да это ж Филатова. Какие пьяные? Машу, что ли, не знаешь?

– И что там с ней?

– Похоже, «Синева» на рейде оседает – якорь отдала. Шлюпку просит. Несколько шлюпок... Пишет: «Швартоваться не могу. У меня бомба в корме». Вот так. А ты – «пьяные». Филатова!

Когда боцман собрал команду, капитан «Синева» объяснила товарищам то, что никак не могли понять диспетчеры порта.

– Мы не можем рисковать причалом. Их и так уже в порту осталось меньше, чем пальцев на руке, – в привычной для себя манере тихо, но твердо произнесла Филатова. Она, как всегда, начала с главного, с самой сути, какой бы сложной и страшной ни была эта суть. Только потом, после секундной паузы, заговорила о том, чего она хочет от экипажа, от тех людей, которые внимательно и чутко слушали ее сейчас: – Мы не можем подвергать опасности и соседние суда. Обезвреживать и вынимать бомбу будут здесь – на борту. Все, кто хочет, могут уйти на берег. Шлюпки сейчас придут.

– Значит так, братцы... – медленно заговорил Сергеев. И, как регулировщик на улице, только вместо полосатого жезла используя старорезимную боцманскую дудку, указал направление движения: – Те, кто остается, – направо, к капитану; те, кто на шлюпки, – налево...

Так он сказал и первым – уверенно, без раздумий – шагнул направо. Вслед за ним в круг тех, кто остается на судне, один за другим шагнул весь экипаж «Синева». Даже очкастый электрик, пусть и чуть замешкался, прогнусавил что-то себе под нос, но уходить на берег не захотел.

А какой был день, какой день! Небо – чистое и светлое, ни облачка. Яростно-белое, незакатное солнце светило почти по-южному – не пряча, беспечально и щедро. И еще ветер – не по-мурмански ласковый, тихий-тихий, будто и нет его совсем. Если бы не война...

Сначала в городе услышали звук: на одной ноте, металлический, нудный рев авиамоторов. Самолетов еще не было видно, а звук уже жил, всюду плыл над Мурманском тяжелым, барабанным окриком. Они шли на город от Абрам-мыса: в синем безоблачном небе – черная туча бронированных птиц, которые с земли казались крестами.

В порту надсадно и горько заныли сирены. В который уже раз за год войны нескончаемым рефреном зазвучал на улицах и в домах голос диктора: «Граждане, воздушная тревога! Граждане, воздушная тревога!» Глухо, с натугой, сначала будто с неохотой, потом все чаще и громче заговорили-заухали зенитки. «Яшки-молотобойцы», как называли горожане зенитчиков, исправно делали свое дело. Непрерывный, заполошный огонь зениток то и дело вырывал из черной стаи, закрывшей от мурманчан небо, свою добычу, но врага, кажется, от этого не становилось меньше. Черные кресты уже пикировали на город – деревянный, беззащитный перед летящей с небес смертью.

Когда бомбы начали падать иссиня-черными гроздьями, Елка Филатова спешила в дружину. Быстро-быстро спустилась к улице Софьи Перовской, дальше – мимо ДК, через скверик, мимо памятника Кирову, на Сталина. Не дошла совсем чуть-чуть: первая бомба разорвалась во дворе гастронома. Следующая, похожая на большую черную грушу, попала в сам четырехэтажный дом, в котором магазин находился.

– Ложись, дура! – шедший мимо краснофлотец схватил ее за руку, грубо свалил на землю, прямо в уличную пыль. Навалился сверху – наглухо, прочно закрыл от света, от осколков и пуль – так, словно тяжелую дверцу в погреб с маху захлопнул.

– Вы что?! – возмущенно, не понимая, что происходит, пыталась она сопротивляться.

Ее крик заглушили новые взрывы. Потом – еще взрыв, еще. Еще! Что происходило там, над ними – над ней и совершенно незнакомым человеком, с которым так вот неожиданно сблизилась их война, – Елка не видела. Только черное, колю-

щее, неестественно твердое сукно бушлата, больше – ничего.

После очередного взрыва она почувствовала, как что-то ударило в человека, который закрыл ее собой – тело обмякло, стало совсем тяжелым. Было трудно дышать. Когда разрывы стихли, Елка попыталась выбраться из «погребка». Она ожидала, что тот человек наверху встанет. Но он не вставал.

– Послушайте! – она хотела крикнуть, но получилось шепот – почти неслышный даже для нее самой: – Послушайте...

– Товарищ краснофлотец, – снова позвала она, но человек наверху не отвечал.

Собрав все невеликие свои силы, она попыталась добраться к свету – почти получилось. Елка чуть приподнялась, уперлась руками в землю. А потом вдруг стало легче. Кто-то неведомый и сильный откинул тело в матросском бушлате, вытащил ее на свет. Усатый дядька с багром в руке и в дворницком фартуке поверх старенького, прожженного в нескольких местах ватника смотрел прямо и сердито, как на лишнюю обузу. Строго спросил:

– Живая?

Она кивнула:

– Да.

Спасший ее краснофлотец – огромный, двухметровый детина – лежал недвижимо. Большая лохматая голова изрезана осколками. Глаза, страшно спокойные – в небо, а от бледных губ к земле – красная нить крови. Рядом в пыли – сорванная с головы взрывом бескозырка с надписью «Гремящий».

Елка села на землю, заплакала как-то беззвучно, тихо – слезы потекли сами собой.

– Что плачешь? Жених, что ли?

Филатова резко завертела головой: «Нет-нет!»

– Так что ж тогда ревешь?! Заняться больше нечем? – беззлобно, но еще более строго, чем прежде, спросил Елку дядька. Взял ее за плечо и резко вздернул вверх. – Нечего сопли жевать. Живо в убежище!

– Под гастрономом не ходи, там вход завален, – задержал он ее за руку, показал во двор: – Вон щель – гляди. Туда давай!

– Да я ж дружинница, – попробовала она объяснить, – мне на сборный пункт надо...

Но дядька уже не слушал.

Санитарная дружина в Мурманске собралась в начале сорок второго, помог Кировский

райком партии. Елка пришла туда чуть позже – получив очередной отказ на просьбу об отправке на фронт. «Для нас сегодня вот это – фронт! – грозно отмахнулся начальник военного отдела райкома, показав за окно. – Весь Мурманск – фронт!» Потом заметил уже мягче: «Вы же учительница, Еликонида Степановна, правда?» «Да», – кивнула Елка. И тут начвоенотдела заговорил о том, о чем она и не думала, боялась загадывать наперед: «Не сегодня-завтра отбросим мы немца от города, школы откроем. Кто тогда детишкам нашим о Толстом и Пушкине рассказывать будет? А потом, вы же, я знаю, курсы медсестер окончили? – спросил он неожиданно. И закончил с ободряющей улыбкой: – Вот и работайте. По специальности!»

Щель – вырытое в земле, оббитое внутри досками небольшое укрытие, на которое указывал строгий дядька, – в середине дня уже была разбита, разворочена взрывом. Бомба упала не подалеку, обрушилась земляная насыпь, защищавшая тех, кто внутри, от осколков. Оттуда, из-под земли, несколько человек пытались сейчас вытащить женщину, зажатую между деревянных стоек щели. Стойки вывернуло взрывом, и убежище превратилось в ловушку. Вытащить пленницу никак не получалось. Женщина – молодая милovidная блондинка с комьями земли в коротко подстриженных крашенных волосах – тихонько стонала.

– Вот ведь как застряла-то голубушка... – произнес сочувственно пожилой рыбак в резиновых высоких сапогах, потертой черной кожаной куртке и фуражке с «крабом», когда очередная попытка извлечь горемычную из завала окончилась ничем.

– Че ты хочешь? – хмыкнул его товарищ, цыганистый, черноволосый моряк лет сорока в таких же высоких бахилах и совсем недавно светлом, праздничном, а теперь посеревшем от золы и огня свитере. – Щель – она и есть щель. Застрянешь – хрен пролезешь. Это, надо думать, каждая мыша знает. Сурьезно!

– Ну, мы-то, Митя, не мыши, – кивнул ему пожилой: – Взялись!

– Да что ж такое-то, одноглазый! Только вроде от бомбы избавились. А тут и дома покоя нет. В родном городе...

– С бомбой, старпом, мы еще хорошо отделались.

«Как же, сам Салтыков приехал! – подумал Митя. – Дядя Вася свое дело знает...»

Бомбу из «Синева» извлекли пиротехники аварийной команды – быстро, умело, спокойно. Сделал это Василий Салтыков – главный мурманский взрывник.

Старпом и боцман снова вернулись к прерванной работе. Зажатая в щели – лицо словно мел, ни кровиночки – уже не пыталась им помочь. Только стонала.

Включились в дело и проходившие мимо моряки с какого-то иностранного парохода, судя по всему, англичане: все в нашивках, значочках, на головах – странные, похожие на тарелки, каски. Один – большой и толстый, второй – совсем кроха, голова больше брюха, но – резкий и быстрый.

– О, вот это дело, фрэнды! – обрадованно приветствовал союзников человек, которого старший товарищ назвал Митей.

И все равно щель не хотела отпускать добычу, не желала ослаблять свою смертельную хватку. Лишь когда откуда-то со стороны деревянных домов, из дыма и огня, вынырнул здешний дворник с увесистым ломом, удалось раздвинуть стойки, ослабить зажим. Женщину, наконец, достали и уложили на носилки. Та была без сознания. Девчонка-дружинница в синем комбинезоне и таком же берете, с санитарной сумкой через плечо, заметно волнуясь, вытащила из сумки флакон, поднесла пострадавшей к носу. Сильный запах нашатыря заставил женщину очнуться. Голова резко, словно испуганно, дернулась в сторону. Страдалица открыла глаза, оглядела склонившихся к ней людей – тупо, без мысли, не понимая, что происходит вокруг.

Один из британцев, тот, что поменьше, достал из кармана узенькую металлическую фляжку, отвернул манерную, с якорем, пробку, поднес к губам женщины:

– Дринк, плиз...

Та сделала глоток и закашлялась, замахала руками почти возмущенно:

– Что это? Что за гадость?

– Ну, кажись, живая! – усмехнулся старик с «крабом» на фуражке. – Отутовела...

Англичанин удовлетворенно кивнул и протянул фляжку ему тоже:

– Плиз, комрад...

Тот, не раздумывая, приложился к горлышку.

– Хэх! – довольно крякнул, затем дал отхлебнуть товарищу. И тогда уже вернул фляжку англичанину:

22

– Спасибочки, милай. Гуд!

При этом еще залюбовался на фляжечку, сказал почти с ребячьей радостью:

– Блестит! Прямо как фонарик еликстрический.

Отполированное узкое тело фляжки действительно звонко блестело на солнце, будто притягивая его лучи. Какой же ясный и жаркий был день!

– А где моя сумочка? У меня же сумочка была... – окончательно очнулась вызволенная из щели гражданка. – Там помада, документы, деньги...

– Не суетитесь, дамочка, все найдется! – с этими словами дружинницы перегрузили носилки с пострадавшей на подоспевшую машину скорой помощи.

А на город уже шла очередная волна черных крестов. И снова посыпались бомбы – странные, каких еще не было.

– Что это? – глядя в небо, удивленно произнесла одна из дружинниц. – Чемоданы какие-то...

– Ложись! Чтоб тебя... – закричал и упал рядом, увлекая девушку за собой, Митька.

«Чемоданы» неслышно разламывались над землей, разбрасывая над городом горсти зажигалок – небольшие, почти изящные с виду бомбы, похожие на серебристых рыбок с короткими ребристыми хвостиками.

Но зажигалки на этот раз были без осколочных и фугасных. Девушка, мигом сообразив, что к чему, вскочила, бросила Митьке недовольно и строго: «Вставай, командир!» – и побежала наверх, на семиэтажный дом, в крышу которого уже впились несколько «рыбок с хвостиками». Минуту спустя оттуда послышался ее звонкий, певучий голосочек:

– Мешки с песком, быстро!

Тут же по быстро созданной цепочке наверх ушли мешки с песком – безотказным, испытанным в борьбе с шипящими на чердаке и крыше зажигалками средством, не позволяющим им разгореться.

Земля в Мурманске в эти несколько часов словно бы стала солнцем – пылающим, беспощадным к людям. Пламя было повсюду, металось в ярости от дома к дому, будто большой человек с огненными руками в пьяном кутеже мечется по городу, обнимая здание за зданием, редкие деревья, людей...

Гастроном – задымленный, полуразрушенный – тоже горел. Как и несколько деревянных

домов в глубине квартала. Горели госбанк и милиция, сараи, телефонные столбы и провода, газетные киоски, заборы. Щит для объявлений неподалеку от недостроенного кинотеатра «Родина» – тот уже догорал, нещадное пламя оставило от него лишь узкий металлический каркас. Несколько бомб повредили одну из самых приметных мишеней – Дом междурейсового отдыха моряков.

Горел и Дворец культуры имени Кирова. Здание прошло фугасной бомбой насквозь – как раз там, где сцена. Была... Пожар возник не сразу – словно таился, набирался сил, а потом резко поднял голову, вспыхнул в правом крыле. Сначала – наверху, в парткабинете горкома. Потом дошел и до первого этажа. Там-то было чем поживиться огненному бесу. В этом месте в ДК находилась библиотека.

Десятки людей вытаскивали наружу мебель, театральные декорации, картины и, конечно, книги. Хромой старик-сторож, босиком, в обгоревших рубашке и штанах, в саже и пыли, сбросил на землю (дальше, дальше от огня!) новую стопку книг, оглядел все пространство, заваленное спасенными изданиями, выдохнул сокрушенно и горько:

– Ах, чтоб вас!.. У себя книги посжигали, теперь вот за наши принялись! – И погрозил в небо кулаком: – У, вражины!

Пламя могло перекинуться и на соседнее здание Дома Советов. Несколько обкомовцев – как пришли на рабочее место в пиджачках, белых рубашках с галстучками – всюду пластались там с огнем, пытались не дать ему дышать в сторону главного правительственного здания города.

Пожарный с почерневшим лицом, вращая сумасшедшими глазами, орал во всю свою огромную, редкозубую, перекошенную пасть:

– Вода где?

Воды в ближайшей от ДК колонке не было: очередной фугас перебил водопровод.

– Воду давай! – зло гаркнул огнеборец спешившему к нему еще одному человеку в пиджаке и галстучке и показал обсохшее дуло безжизненно сжавшегося без воды пожарного шланга.

– Откуда ж я тебе ее возьму? – развел руками тот.

– Не ссы, щас в бочках доставим! – попытался успокоить человека со шлангом другой «пиджачник» в кепке и с портфелем под мышкой. – Я уже позвонил куда надо...

Пожарный громко выругался, бросил шланг и ринулся внутрь ДК, как казалось, в самую гущу пожара, в самое его огнедышащее нутро.

С немим, тяжелым укором смотрели на происходящее вокруг две статуи у входа во дворец. Их правильные, когда-то почти идеальные, а теперь иссеченные осколками тела почернели от сажи и дыма. У первого – с мячом в поднятых руках – раны были лишь мелкие. А вот у того, что справа, качалась на арматуре, словно у живого на сухожилии, сломанная рука. Казалось, и они тоже участвуют в битве за родной город. Как и все мурманчане...

А какой был день, какой день!..

К полудню ветер усилился. И это было страшно. Он легко переносил неровные комья огня от дома к дому, и совсем скоро деревянные улицы центра запылали, как большие костры, рвущиеся на ветру.

Но главный пожар бушевал в порту. Там едва ли не все постройки были из бревен и фанеры. Да и бомбили в первую очередь порт: корабли и причалы, готовящиеся к выгрузке и уже выгруженные на берег продовольствие и боеприпасы, самолеты и танки, станки и автомашины – то, что так нужно было сейчас фронту, всей стране, уже целый год воюющей против беспощадного, уверенного в собственной силе врага.

В порту горело все. Не горело, наверное, только море.

...До начала бомбежки Пашка Городошников завтракал после ночной смены в портовской столовой. Гречневая каша, основательный ломоть черного хлеба с маслом и доппаек – за перевыполнение плана. А на сладкое – сто грамм водки. О чем еще мечтать? «Был день осенний, и листья молча опадали...» – мурлыкал себе под нос Пашка, с усердием уплетая гречку. Мурлыкал и думал о том, что жизнь все-таки хороша. Даже несмотря на войну и на то, что они сегодня перебросали с бригадиром Семеном Афанасьичем и ребятами несколько тонн мешков с мукой и еще какой-то крупой из-за моря, с синими буквами на серой плотной мешковине «Made in USA». Он думал о жене, которую из-за беспрестанных авралов в порту не видел уже несколько дней, о том, как сейчас придет домой. А вечером вернется из депо Соня... И будет им обоим радость.

И тут в порту завывали сирены, а через несколько минут послышались взрывы: бомбы рвались где-то рядом, совсем близко.

– Пашка! – вставая, позвал его бригадир Афанасьич, сидевший через стол и со своей порцией каши уже расправившийся. – Живо дожевай! Глянем, что там.

– Куда торопиться-то? Разве в бомбоубежище. Так все равно ж не пойдём.

– Не знаю куда, – сердито отозвался бригадир. – Там будет видно.

Хоть и не хотелось Пашке никуда торопиться, хоть и думал он сейчас только о Соне и предстоящей встрече с ней, но Афанасьичу Городошников привык верить – жизнь научила.

Они вышли из столовой вместе. Мимо них, мимо огромного кумача, на котором желтыми аршинными буквами было выведено: «Мурманские портовики! Повседневно боритесь за четкую организацию труда, изыскивайте новые методы стахановской работы. Добивайтесь досрочной обработки судов и вагонов», в панике спешили к бомбоубежищу, что располагалось аккуратно под кумачом, матросы с иноземного парохода.

Глядя на заморскую братву, Афанасьич сгреб в костистый кулак жидкую, как иногда дразнил его Пашка, «в три волоска», бороденку и недовольно хмыкнул:

– Что-то шибко борзо шлепают. Не случилось ли чего...

Они пошли быстрее и уже почти у самого причала наткнулись на Савву Гандикапа – старика-механика одного из рыбных траулеров.

– Афанасьич, Пашка, англичанин у стенки стоит, говорят, с взрывчаткой, – объяснил им причину резвого бегства союзников Гандикап. – А команда, видали, удрала!

– Там пожар уже, – не останавливаясь, Афанасьич указал на британский пароход, на пламя, вспыхнувшее над рубкой, и побежал еще быстрее, хотя ему, большому, грузному, это было нелегко. – Ходу, Паша!

За ними, прихрамывая, устремился и Гандикап, хотя Пашка и махал на него руками:

– Ты-то куда, дед?! Твои корабли еще в семнадцатом сгорели!

На это старый механик только недовольно повел головой в сторону, словно муху надоедливую сбрасывал, и продолжал уперто брести к причалу.

Когда Пашка и Афанасьич соскочили с причального трапа на борт горящего корабля, на палубе и в рубке огня уже не было – с ним пожарные справились. Но главная беда таилась не снаружи, а внутри судна: одна из зажигалок угодила

в открытый, готовый к разгрузке трюм, и пламя уже хозяйничало там всюду. И потушить этот растущий, набирающий силу цветок огня, готовый распуститься страшными, вьющимися и вверх, и в стороны лепестками, никак не удавалось.

Бомбежка продолжалась, очередное звено черных птиц с крестами на фюзеляжах и крыльях снижалось со стороны солнца к порту. Недрепящее светило мешало их видеть, слепило глаза, но в этот момент с кормы судна прерывисто и деловито затарахтел «эрликон».

– Однако не все утекли союзники, – с уважением к стрелявшему по самолетам англичанину отметил Афанасьич. После чего спросил у одного из пожарных: – А взрывчатка где?

– В соседнем трюме, за перегородкой, – ответил тот, не переставая лить из шланга воду в трюм.

– Как пройти туда?

Тот пожал плечами, указал на англичанина у зенитки:

– У него спроси, он, поди-ко, знает...

– Как я у него спрошу? Он, чай, не Маша с Профсоюзов, хрен ему объяснишь, чего хочешь, – с кислой усмешкой откликнулся Афанасьич. Но делать было нечего, пошел к пушке. Пашка – за ним.

А огнеборец, видя, что пламя в трюме не стихает, подал знак своим: мол, табань. И опустил шланг:

– Нет, так ниче не выйдет! Вниз пойду.

– Куда, Ван Ваньч?! – ошарашенно спросил у него напарник, круглощекий такой, с узкими глазками. И, видя, что слова его не достигают цели, повторил: – Ван Ваньч! Гришин! Какой, к чертям собачьим, низ – сгоришь!

– Делать нечего. Иначе не сладим мы с ним. Спустишь – так, поди-тко, сподручней буде, – убежденно пробурчал Иван Иванович. А затем приказал своим: – Лейте на меня воду, робяты! Шибко лейте!

Тут-то как раз добрался до палубы пароходика Гандикап и тотчас сказал свое веское слово: легонько оттеснил кого-то плечом, протырился к пожарным, которые торопливо, но без суеты снаряжали товарища в опасную экспедицию. Сдержанно пробасил одному из них прямо в ухо – так, что того передернуло от неожиданности:

– А ну – дай! – с этими словами он перехватил веревку, которой пожарные обматывали Гришина, и четко, умело перевязал трос каким-то

причудливым узлом. Пояснил при этом угрюмо: – Особый узелок. Никто не развяжет...

Пожарный попробовал узел на прочность, удовлетворенно кивнул и повторил уже сказанное:

– Лейте воду на меня, байстрюки! Шибче! Чтoб каждая вша умылась!

Его с ног до головы окатили забортной водой – противной на вкус и, как показалось Ивану Ивановичу, слишком теплой.

– Ну, не поминайте, что ли, лихом, братва! – оглянувшись он на остальных, скомандовал: – Держите крепче! – и, широко перекрестясь, стал медленно, держа в руках пожарный ствол, опуститься в раскаленное чрево корабля.

Британец у зенитки, без шлема, русоволосый, средних лет человек, уже не стрелял – мудрил что-то над своим смолкшим «эрликоном». Он хмуро оглядел пришедших, ничего не сказал.

– Что, френд, хреново? – вспоминая хотя бы какие-то иностранные слова, хотя бы немецкие, те, что проходили в школе, спросил Пашка.

Англичанин оставил возню с «эрликоном», легко выпрямился и неожиданно обратился к Городошникову по-русски:

– Что вы хотели?

У Пашки аж челюсть отвисла – так было странно слышать родную речь на чужом корабле от человека, одетого в форму английского моряка. Но больше всего Городошникова удивило даже не это, а то, что к нему обратились на «вы». Такого с грузчиком, сыном дворника с Петроградской стороны, за все тридцать лет его жизни не бывало.

– О, так ты по-нашему можешь? – удивленно спросил он.

Британец кивнул, а потом заметил с горькой усмешкой:

– Когда-то мог...

Честно признаться, Пашка британца не понял, хоть и говорил тот на чистом русском языке. Но задумываться, что к чему и что за субчик этот странный англичанин, грузчику было некогда.

– Где взрывчатка? Показать сможешь? – спросил он.

По узким лесенкам и переходам под палубой британец провел их к той части трюма, где была взрывчатка, – сотни длинных, плоских ящиков.

– Да-а-а... – присвистнул Городошников. – Рванет – мало не будет.

– Хватит галдеть, – скомандовал Афанасьич. – Возьми – понесли!

И они понесли...

– Тащи его, виш, дергает! – с этими словами толстощекий пожарный впрягся в трос, потащил на себя. С палубы казалось, что огня в трюме уже нет, зато дым валит – будь здоров, таким столбом, непроглядным, клубящимся, жутким.

Из этого-то столба и выплыл на свет Иван Иваныч – точнее, они, команда пожарная, его подняли, с трудом вытащили из чрева корабельного. Тот был весь прокопчен, словно только что из печки. Лицо – в саже, брови и ресницы повыгорели, будто стер кто-то их огненной кистью.

Его снова окатили водой из-за борта, и на этот раз он почувствовал, как она холодна. А вот говорить сначала не мог – только кашлял. Прокашлялся, сочно выплюнул за борт черно-серую взвесь, глубоко вздохнул и взмолился, уставившись на товарищей осовелыми, безумными глазами:

– Пить...

И только когда толстощекий добыл ему из-за пазухи своей защитной робы флягу с водичей, только утолив жажду, он, наконец, пришел в чувство, заговорил глухим, будто надсаженным голосом:

– Уф, братцы, не поверите – будтоть в узилище дьявольском побывал, в котле адовом. Едва не задохся там, спасибо, подняли в срок...

Сделав свое дело на корабле, пожарные спустились на берег. А у грузчиков их работа только еще начиналась. Пашка и Семен Афанасьич постепенно освобождали нутро парохода от смертоносного груза. Посильно участвовал в деле и Гандикап, и, как ни удивительно это было для Городошникова, странный англичанин.

Стройный, ясноглазый наблюдатель в форме НКВД, что вился, как голубой дым, туда-сюда у причала, указал им, куда таскать ящики: укрытие находилось неподалеку. Но этим уже занимались подоспевшие на подмогу. Портовики свое дело знали.

Но и не без потерь...

У Пашки – рожа в саже, руки в ожогах. В горячке, когда заскочили они с Афанасьичем в трюм со взрывчаткой, он боли не чувствовал, не замечал, что иные поручни и переборки порядком раскалены.

Зацепило и странного британца – чиркнуло осколком по плечу.

Бригадир, когда ящики со взрывчаткой наконец были упокоены в надежном месте, оглядел их мрачно, сказал:

– Давайте, орлы, в санчасть двигайте...

От причала к санчасти они шли вместе. Англичанин – или кто он там? – устало и сосредоточенно. Пашка – радостно, с прискоком, веселясь чему-то ведомому только ему одному. О чем говорить с заморским гостем, Городошников не знал, но один вопрос его беспрестанно тревожил. И Пашка не утерпел – спросил:

– Френд, а ты откуда русский-то знаешь?

Тот ответил не сразу. Будто для того, чтобы ответить на пустяшный, в общем, вопросец, требовалось ему вернуть из прошлого что-то очень важное.

– Я – русский офицер, – наконец произнес он сухо, спокойно. Лишь по тому, как «англичанин» внутренне собрался – так, что даже линии лица стали четче и острее, было заметно, сколь значимо для него то, о чем он сейчас говорит: – Эмигрант. Покинул Россию в двадцатом году. Кстати, за границу ушел отсюда, из Мурманска.

– О как! – изумился Пашка. И ненароком вспомнилось ему, как только что, когда шли они от причала, следил за ними ясноглазый энкавэдэшник – внимательно так, со тщанием изрядным.

– Белый, что ли? – уточнил он у нежданного помощника в разгрузке и товарища по несчастью.

– Русский... – негромко, спокойно повторил бывший соотечественник.

– Так-так, – понимающе кивнул Городошников. – Ясно-понятно. А звать как?

– Алексей...

ГЛАВА 2 МИРОНЫЧ

– Мироныч, ну ты как тут? Живой – нет?

Так сказал Пашка Городошников, присел на ступеньки лесенки-дорожки к постаменту, на котором стоял бронзовый Киров – почти такой, каким запомнился и в жизни: молодой, веселый, с приветственно поднятой правой рукой. Занятно, но Пашка помнил Кирова в жизни – выступающим именно на этом месте, когда вождь гостил в Мурманске. Городошников тогда пацаненком был, а запомнил. Кстати, тот и одет был так же, как бронзовый, – в полувоенном френче, знакомом по портретам и фотоснимкам в газетах.

Киров молчал. Причем, как показалось Пашке, как-то недовольно, даже обиженно. «Может, оттого, что не приходил долго? – подумал Горо-

дошников. – Так работы ж – головы не поднять. Союзники вот. Зачастили». Но объяснять причину долгого отсутствия он не стал. Зато сразу поведал о своей беде.

– Что? – переспросил Пашка, будто не слышал повисший в воздухе вопрос Мироныча. – Да вот, как видишь, опять. Она. Она, Сонька. Что ты тут поделаешь, никак ей нейдет. Такая вот баба мне досталась, Мироныч. Нет сней сладу, никак нет. Помирил бы хоть ты нас, а? Молчишь?

Киров не откликнулся, хотя, кажется, Пашка был ему симпатичен. Во всяком случае, у самого Городошникова имелась в том твердая, непонятно на чем основанная уверенность. Пашка тупо, будто впервые их видел, уставился на свои руки – короткие, но с широкими, хваткими ладонями, которыми он сегодня ох как много ящиков перетаскал. Ящики были с тушенкой, американской, чужой. Городошников подумал о том, что не худо бы и попробовать, что это за тушенка такая.

А потом был английский пароход. Тот самый, со взрывчаткой. Под падающими бомбами. Брошенный собственной командой. И то сказать, этих парней можно понять: неохота умирать-то. Но ни Пашке, ни Афанасьичу, ни Савве Гандикапу умирать тоже не хотелось. Правда, они об этом и не думали. Просто пошли. На счастье, подвернулся еще этот странный англичанин, который показал где и что, в трюмы провел, где динамит заморский хранился.

«Да, англичанин... – задумался Пашка. – Уж на первый взгляд чучелом чучело: в коже, в пенсне, в сапожках гладких. А, говорит, русский. И по-русски шпарит, может, лучше меня – заслушаешься».

И кораблик тот они таки разгрузили. Ну как тут было не треснуть стопку-другую? Если бы не война, он после такого напился бы вдрызг. Если бы не война...

– Молчи-и-ишь, – продолжал Пашка тревожить павшего от вражьей пули любимца партии и советского народа. Поднялся на ступеньку выше, чтоб быть к Миронычу ближе, и с некоторым осуждением констатировал: – Даже не дышишь.

И по какой-то странной логике принялся перед Миронычем оправдываться, изливать душу:

– Да нет, ты не думай, я ведь и не пил почти. Так, с ребятами – перехватили после смены чуток. Так то ж законные, наркомовские, из папанинского фонда!

Так сказал Пашка и снова перешел на жену:

– А она всё: «Пашенька, милый, сколько можно! Тебя дочки трезвым не видели». Вот ведь змея! Врет же всё. «Не видели». Видели! Врет!

Дочек у Пашки Городошникова имелось три: Валя, Оля и Таня. Старшей было пять, младшей – год. Но они уже полгода как жили у деда и бабки – в Архангельской области, неподалеку от Каргополя.

А любовь их с Соней и первая дочка, вспомнил Павел, почти отсюда, с этого сквера, начинались. Как же целовались они – тут же, спрятавшись за колоннами балюстрады, за портретами Ворошилова и Сталина, под красными флажками! Ох, поди, радовались за них Климент Ефремыч с Иосифом Виссарионычем. И губы, кажется, до сих пор болят.

В этот поздний, по-полярному светлый летний час сквер был непривычно пустой, совсем не похожий на себя прежнего, довоенного.

От нескольких скамеек, что до войны по вечерам служили местом встреч для влюбленных, ничего не осталось. Кроме бетонных тумб, твердого остова. А еще до войны на неровных секторах газонов, как ей и положено, всю зеленела травка. Пашка вспомнил, как пацанами гуляли они по этой траве – той, что теперь здесь не было (все сжег супостат!), только гарь одна да зола. Так вот, гуляли. Босиком. Как хорошо было сбросить тапки-сандайки и уйти с песчаных дорожек сквера в эту траву, мальчишески коротко подстриженную, колюче обжигающую голые ребячьи пятки.

Пашка обреченно посмотрел на свои башмаки – пыльные, тяжелые, с аккуратными железными набойками на носках. «Да, такие не сбросишь...» – он потянулся устало, улыбнулся какой-то тайной, едва уловимой своей мысли, а потом не только подумал, а даже сказал вслух:

– Зато драться в таких хорошо. Правда, Мироныч? Против твоих железяк оне, конечно, хлипковаты, но если взять в целом, в общемурманском, понимаешь, масштабе, если взять ханыг наших доморощенных, шпань всякую неученую, то очень даже ничего. Веришь? – поднял Городошников глаза на вождя, попытался удостовериться в том, что Киров – с ним, с Пашкой, и солидарен, и вообще...

Киров молчал, никак не выражая своего отношения к прошлым и грядущим тяжбам Пашки с окрестной шпаной. Даже поднятая вверх рука выглядела вялой, бессильной.

– Я вот ей даже стихи не могу почитать, – вернулся Пашка к главной теме их с Миронычем задушевной беседы. – Да-а-а... Можешь представить такое? Вот тебе – могу. Ей – нет.

Первое стихотворение Городошников написал пять лет назад – про Сталина и про Вальку, та как раз родилась. Как-то случайно вышло: шел по Мурманску из роддома домой – радостный, веселый, воробьев считал, а оно – раз! – и случилось, будто из клюва воробьиного выпало и ему, Пашке, в руку легло. Потом были еще стихи. Писать их он не старался – само собой выходило, не специально. Он их и не записывал даже. И никому не читал – почему-то стыдно было. Только вот Миронычу, да и то, кажется, всего однажды, когда тоска сердце так сжала, что хоть вой.

– Помнишь, читал тебе? Ну, те, что в портовской газете потом тиснули? Да читал, читал. А вот злюке этой – нет.

В газету Пашкины стихи угодили так же случайно, как и писались. В вечерней школе, куда Городошкина, как он ни отбояривался, снарядила жена, задали наизусть Лермонтова. А Пашка, вконец измотанный тяжелой ночной сменой, в учебник даже и не заглянул. Вызвали его к доске, а он – ни тпру ни ну! Молодая учительша – красивая такая – смотрит внимательно, ждет, а он – молчит. Молчал-молчал, видит – отступать некуда, а фасон держать надо, вот и решился: «А можно я свое прочту?» Учительша плечами пожала удивленно, усмехнулась:

– А вы стихи пишете? Интересно как...

Но прочесть позволила. И он начал читать – то, про Сталина, еще – про аврал в порту, когда «все корабли в клубок свились, и от усердия лебедки лопались»*. И еще одно, которое Пашка написал, когда они с Соней впервые разругались, и он от нее впервые к Миронычу ушел.

Учительша выслушала, сказала: «Да вы поэт, Павел». Почти смущенно сказала, словно устыдясь того, что в него, Пашку Городошникова, не верила. Двойку за Лермонтова ставить не стала, но попросила записать всё им прочитанное и ей показать. Она-то, Еликонида Степановна, и отнесла его стихи в многотиражку.

«Та-та-та-та-тарам-пампарум, та-та-ра-рарарурам...» – попробовал Городошников восстановить в памяти те несколько строчек, что с радостью напечатала родная многотиражка. Все

не вспомнил – только последние, о том, что «весна на свете – неизбежность, так же, как любовь для человека»**. Хорошие были строчки, светлые, как раз накануне войны написал.

– А она ведь обиделась, – грустно, как будто впервые в полной мере осознав печаль, доставленную родному человеку, пробормотал Пашка. – Подружки прибежали: стихи показывают, галдят что-то по-своему. А я опять виноват. Говорит, почему, дескать, от чужих людей узнаю. В общем, куда ни кинь – всюду клин.

И опять Пашка Городошников виноват.

– А я просто тревожить ее не хотел, – попытался он объяснить Миронычу, почему всё так вышло. – Опять же и подружки слетятся-скажут: да какой, к едрене фене, Городошников поэт? С его неоконченными семью классами? Этот грузчик портовской короткорукий – поэт? Вот и не показал.

Пашка еще посидел молча, а потом закончил долгий свой монолог как-то неожиданно обреченно, измученно:

– Зря, наверное.

Городошников опять вспомнил, как целовались они с Соней за колоннами. А потом пошли к ней в общежитие, в ее комнату с шестью соседками. Спали ли они, когда Пашка залез в их девичье царство через открытое Соней окно? Этого пройдоха грузчик не знал, но постель Сонина скрипела нещадно. А через девять месяцев появилась Валюшка – ясное, рыжее солнышко, без которой сейчас, как и без Оли с Таней, в доме словно все омертвело, стало пусто и тихо.

Пашка оглянулся на Кирова. Тот по-прежнему молчал, но, как показалось грузчику, в уголках губ зрела ободряющая полуулыбка: мол, не журись, хлопче, переживем. Но Городошников понял вождя по-своему.

– Да, Мироныч, да, – согласно закивал Пашка. – Зря! Она же хорошая. И слов много правильных знает. Это я – плохой. Пью вот. Гуляю.

Собственные слова, казалось, совсем расстроили Городошникова. Он горестно покачал головой:

– Вот все вроде нехорошо. Все не слава богу. А вот... – Городошников перестал хмуриться, просветлел.

– А вот... – Пашка немного помолчал, с казным вниманием тщательно разглядывая

* Стихи Александра Подстаницкого.

** Стихи Николая Кольчева.

пыльные свои ботинки. Помолчал, а потом добавил совсем тихо и серьезно: – А вот люблю я ее.

Далекie огни на мурманском берегу – редкие, приглушенно-желтые, словно уличный фонарь отражается в луже, и кажется, что свет идет из-под воды. Эти редкие огни не показывали, а лишь обозначали Мурманск – пристань, силуэты кораблей у причала, казенные дома Базы, стальную нить «мурманки» и дом, где в этот вечер ждали Алексея Кольцова. В серых сумерках, сквозь туман, мокрым облаком нависший над заливом, город был почти не виден.

Алексей оглянулся на этот берег из воды – студеной, февральской, смертной.

Так было в день его прощания с Мурманском и Россией – двадцать первого февраля двадцатого года, в Масленицу. Та Масленица случилась такой скорбно раздольной и широкой. Будто большая волна, вскипела она в городе ненавистью и пулями, прошла его от края и до края, оставив на снегу лишь кровь и трупы. И – смыла Кольцова за борт русского корабля, туда, в черную глубину Кольского залива, где таились холод и смерть. Уйдя на глубину от летящих следом пуль, он поплыл к другому берегу, на котором ждали его только камни и снег, и который все никак не хотел становиться ближе. Медленно и неотвратимо уходила из Алексея жизнь.

Его спас тогда Кронциркуль.

Он уже стал «сбоить», как говорили в пору его кадетской юности, еще в корпусе, в тот момент любых физических упражнений, когда движения от усталости становились неловкими, корявыми, как первые шаги новорожденного. Хоть он и продолжал упрямо грести к маячившей вдали западной кромке залива, но руки, будто чужие, слушались его уже с трудом. Твердивший «Живый в помощи» – без конца, раз за разом, он уже и молиться перестал, уже, по сути, не плыл, а лишь поддерживал себя на плаву... А потом кто-то крепко схватил его за шиворот рубашки и резким рывком выдернул из воды, а следующим движением перевалил холодное, скользкое тело Алексея через борт небольшого баркаса. Кольцов лежал на лавке в корме, лицом в дно. Прокашлявшись, трудно и жадно задышал сырым, пахнущим йодом воздухом.

Воздухом белого света, который и не чаял уже увидеть.

Всё те же руки, что вытащили Алексея из воды, грубо, по-хозяйски перевернули его лицом к этому свету. Он увидел маленького человека, с головы до ног укрытого в плотный, непромокаемый плащ. Усадив спасенного, он вернулся к веслам. Недобро глядя на нежданного гостя, спросил:

– Ты откуда взялся-то, гребец?

К сказанному он прибавил несколько слов, которые в этот час были настолько уместны, что не показались Кольцову обидными.

– Из Мурманска, – просипел Алексей. Горло, словно сдавленное холодной удавкой, отпускало слова на волю с неохотой.

– Ага! Мурманец! – хохотнув, хозяин баркаса опять вспомнил несколько известных русских слов. Потом, не уставая работать веслами, с едкой усмешкой бросил: – А я вот рыбешку промышлял. А тут ты подвернулся.

Кольцов благодарно кивнул. Пересиливая собственную немощь, спросил:

– Стрельбу слышал?

– Как не слышать, – хитро усмехнулся хозяин баркаса. – Уже домой собрался – от греха. А тут – ты.

Лодка вскоре ткнулась широким носом в каменистый берег. Баркасник выпростался на камни, пристроил свое суденышко к небольшому причальцу, а потом помог выбраться на берег Кольцову. Тот, выстуженный заливом, в мокрых рубашке и брюках, нещадно мерз. – А теперь – бегом! – сказал ему хозяин баркаса, указывая на домишко на склоне сопки: – Вон моя хибара. Скачи давай, быстро.

Он на секунду задумался, потом набрел на мысль, показавшуюся ему смешной:

– Простудишься – помрешь, – сказал он и засмеялся в голос так, как могут смеяться только очень счастливые люди.

Кольцов шутки не понял и ускорил шаг.

В сторожке, где умещались лишь койка, стол да печка, хозяин бросил Алексею сухое тряпье и живо развел огонь. Низенький, невзрачный, но плотный, крепко сбитый, он был похож на этакую ходячую тумбочку, открытые дверцы которой заменяли намокшие, тяжелые полы расстегнутого плаща. Ножки – коротенькие, да еще и изогнутые причудливо.

– Что глядишь? – перехватил хозяин кольцовский взгляд. – Шибко кривые? Ну и хорошо... Меня за них братва с «Чесмы» Кронциркулем прозвала. С тех пор так и кличут. Не обижаюсь. Хорошее слово. Умное.

Кронциркуль был машинистом здешней водокачки. Корабли – гости Кольского залива – приходили сюда брать пресную воду из Варяжского ручья. Алексей вспомнил, что кто-то из мурманцев даже рассказывал ему про этого необычного человека, бывшего моряка-черноморца, которого очень устраивало его уединенное, отдельное от города и людей житье.

Рассказ Кольцова о происходящем в Мурманске не удивил и не расстроил хозяина.

– Ничего не знаю. Ни к чему мне эта арифметика! – резко бросил он Алексею и указал в окно – на сопку, на которой стоял дом, на водокачку, что серела неподалеку. – Я тут один, и начальников-кричалников надо мной здесь нету. Вода – она ведь... вода.

Всем нужна – и красным, и белым.

Он недолго помолчал, а потом продолжил:

– Вот и твои. В пять, говоришь, уходят? Так за водой-то зайдут, как ни то? Не тужи, никуда не денутся. Мимо нас, мимо Кронциркуля, не пройдут. Без воды – никуда.

Кронциркуль снова смолк, задумался, затем, нахмурившись и недужно качая большой лохматой головой, произнес:

– Зря я тебя вытащил. Неправильно сделал. Пожалел дураля.

Он смотрел на Алексея с грустной улыбкой и думал о чем-то своем, необъяснимом и далеком. Этот взгляд Кольцов потом вспоминал не раз – и в Варде, куда ушел он на буксире «Строитель», в срок пришедшем к водокачке, как и говорил Кронциркуль, за пресной водой, и позже, в эмиграции.

Нет, не только камни и снег были в ту пору на противостоящем Мурманску берегу, не только.

– Послушайте, вы что? Вы в своем уме? Осознаете, что делаете?

Такой вопрос – учительским, назидательным тоном – задала ему мисс Гринуэй, когда он пришел увольняться.

– Да, – холодно ответил Кольцов.

Но старую гримзу его спокойствие и холодность только раззадорили, ее, видно, бесило собственное непонимание. Она никак не могла найти внятное объяснение тому, что сравнительно молодой, обеспеченный, вполне благополучный человек легко отказывается от этой жизни. И – ради чего? Ради чего?

Мисс Гринуэй на секунду смягчилась, ей показалось, что она может его переубедить.

– Вы же обычный конторский служащий, – попробовала она озвучить логическое опровержение тому, что хотел сделать этот странный, непонятный ей человек. – А там – русская зима, холод, грязь и тьма. Там – смерть.

«Там – моя родина», – подумал Кольцов, но произносить это вслух не стал, промолчал.

Она оглядела его с головы до ног – удивительно, но в этом взгляде читалось и презрение, и в то же время едва уловимое сочувствие, даже жалость. Алексей молчал, ждал.

Убедившись, что продолжать разговор он не намерен и его решение об увольнении окончательное, она, наконец, сказала – опять же, не без сожаления:

– Впрочем, как знаете. Это – ваша жизнь. Но учтите: если все же останетесь живы, в чем у меня есть большие сомнения, обратно я вас не приму. Даже в память о вашей матушке.

Алексей молча кивнул.

В лондонском Сити, в небольшой банковской конторке Гринуэй он работал шесть последних лет. Она была подругой тетки Кольцова и хорошей знакомой его матери.

И тетки, и мамы уже не было на этом свете, а вот старая дева мисс Гринуэй все жила, все считала монеты и банкноты. Как порой казалось Алексею, она и саму жизнь меряла ими, ничем иным.

Вернуться в Мурманск он хотел еще в самом начале двадцатых, с одной-единственной целью – забрать Дашу. Тогда это было возможно, он выяснял специально. Граница, в финской ее части, не отличалась такой уж непроницаемостью: если нанять проводника, можно было просочиться. Но для этого, он понимал, нужны деньги, и немалые. А у него, в то время – лондонского таксиста, едва сводившего концы с концами, деньги имелись лишь на стол да ночлег в компании с клопами в третьеразрядном эмигрантском пансионе. Потом деньги появились, но к тому времени в СССР путь ему был уже заказан: и границы преобразились, захлопнулись, да и режим советский вовсе стал полицейским, с тюрьмами и плетками.

– Тамошние власти, Алексей Николаевич, хлебом не корми – дай за шпионами поохотиться, – так доходчиво объяснил ему тогдашнюю ситуацию в России один из знакомых эмигрантов.

За границей родных у Алексея не осталось. Только сестра, но та жила далекой от него

жизнью. Не географически – внутренне далекой. Как же, богема...

После смерти матери Оля уехала в Париж, работала в эмигрантских «Современных записках», что-то писала, в тридцать втором даже выпустила книжку стихов. Сборник получился тоненький, карманный, отпечатан был на плохонькой, дешевой бумаге.

Олины стихи Алексею не нравились, а вот ее друзьям – напротив. Он был во Франции по делам, заехал на пару дней к сестре. И тут то ли поэтический концерт, то ли попойка – у них не разберешь – в одном из парижских кафе. Стихи – по кругу, шампанское – по кругу, из общей чаши. Олина подружка – Галя, Галина Кузнецова. Большие умные глаза, чуть припухлые губы, очень красивая, хоть нос, может быть, чуть крупноват. Но смотрела – дерзко, отчаянно даже – глаза в глаза. Темно-синее легкое платье, подол – чуть выше колена. Когда садилась напротив, всегда одергивала подол, но колени все равно были видны – правильные, округлые. Красива все-таки была необыкновенно. Легкая, дерзкая, с этой особенной малороссийской мягкостью и теплотой в голосе и вообще во всем, что делала – выросла-то, как оказалось, в Киеве. Он почти влюбился тогда. Да и стихи ее Алексею в итоге все-таки понравились, даже остались что-то в памяти, отдельные строчки:

*А я любила свет, великолепный снег,
Над аметистом моря гаснущее солнце
И капюшоны сосен величавых,
И кисти красные рябин,
И купола, плывущие в лазури...*

Но он уехал в Лондон, а Галина, как ему позже писала сестра, – к Бунину в Грасс.

Они шли, словно сквозь грязно-молочное облако. Такой был туман – густой, темный, порой с неясными проблесками где-то впереди, но чаще – черный, непроглядный. Дождь, мокрым холодным покрывалом повисший над водой, и – большая, крутолобая волна, с размаху бьющая в борт судна. Таким остался в памяти первый его караван.

Корабль сопровождения – бывший рыболовный траулер, кое-как перелицованный в военный. Его перекрасили из черно-коричневого в бело-синий, вооружили – с бору по сосенке:

102-миллиметровое орудие и «эрликон» позади мостика, два «гочкиса» на его крыльях. В придачу к тому старенький, дышащий на ладан спаренный «браунинг».

Вооружение каравана вообще больше смешило, чем радовало. Один из военных корабликов конвоя даже имел свой самолет – на один вылет. «Харрикейн» был заряжен в катапульту. С помощью этой самой катапульты взлететь-то он мог, а вот сесть – увы... Так что летчику, когда мотор обсохнет, оставалось уповать лишь на удачу да на Господа и либо садиться на воду рядом с кораблями каравана, либо прыгать с парашютом – всё туда же, в студеную тьму полярного моря.

– А там уж успеют выловить – твое счастье, – говорил ему, рассказывая про одноразовый «харрикейн», наводчик Сид Стоппард, для которого это был уже второй караван в Россию. Сид – в плотно прилегающей к его лысой голове шапочке, в свитере с воротником под самый подбородок, казался юнцам, которые, замерев, слушали его на палубе бывшего траулера, настоящим морским волком.

Заметив, что Кольцов чуть усмехнулся при его последних словах, Сид взял русского за лацкан и сказал:

– Приятель, болтаться в ледяной воде – штука не из приятных, поверь. Там счет идет на минуты.

Алексей убрал руку наводчика и сказал очень спокойно, без вызова:

– Я знаю.

Кольцов не хотел обидеть говорившего. Но, когда тот сказал про счастье быть вовремя выловленным из ледяной воды, разом вспомнил свое счастье двадцатилетней давности и усмехнулся невольно.

Стоппард хоть и был вспыльчив и скор на кулак, к тому же не слишком любил русских, но после кольцовского «я знаю» обострять отношения не стал, будто что-то понял о нем. Дружески хлопал Алексея по плечу и продолжил беседу с молодежью.

На траулере ему было где отвести душу, было, кого поучить уму-разуму. Команда – по большей части или вовсе не ведавшие моря юнцы, или молодые моряки, весь флотский опыт которых сводился к походам из Лондона в Глазго и обратно. Что такое северное море, они не знали вовсе. Ветераны вроде Стоппарда, конечно, имелись, как без них, но – горсть, не больше.

Бой, смерть, забортная вода были от матросов и офицеров траулера еще очень далеко. В худший исход никто из них верить не хотел. Их пока больше донимал туман, мокрой колючей стеной закрывший от каравана небо, спрятавший от моряков солнце.

Впередсмотрящий Стивен, краснолицый от ветра и рома, беспрестанно ворчал:

– Чертов туман! Когда ж он кончится?!

– Лучше туман, чем их самолеты, – заметил Кольцов.

– Пожалуй, – сплюнув, кивнул наблюдатель.

То, что туман лучше, чем немецкие торпедоносцы, они поняли совсем скоро. Как только немного развиднелось, тучи чуть разошлись, и в это невеликое расшторенное небесное окошко осторожно выглянуло солнце, группа «хейнкелей» – Алексей не успел рассмотреть, сколько их было точно, пять или шесть, – вынырнула из облаков и, резко спикировав, пошла в атаку. Торпеды немцы сбросили еще до того, как заработали зенитки кораблей. Шесть гудков корабельной сирены, чтобы предупредить «торгашей», и – лево на борт. Одна из торпед прошла в нескольких ярдах от их носа. Вторая, справа по борту, шла прямо в центр судна. Салаги-матросы в панике бросились к шлюпкам левого борта. У спаренного «браунинга» остались лишь Кольцов и наводчик – все тот же Стоппард. Алексей менял у него обоймы. Сид стрелял хорошо, расчетливо, чуть впереди смертоносного снаряда, и взорвал-таки проклятую.

– Bravo, Алекс! – похвалил Кольцова наводчик, когда опасность миновала, а чужие самолеты снова ушли в туман.

– Bravo, Сид! – уточнил Алексей. – Отличная работа.

Тот лишь довольно ухмыльнулся в ответ. С тех пор они не то чтобы подружились, но – приятельствовали, причем с удовольствием, с радостью, и это как-то не вязалось с нелестными высказываниями Стоппарда в адрес России и русских.

– Послушай, Алекс, а что это – Мурманск? – спросил его в самом начале похода Крис Уайтхед – один из тех юнцов, что пошел в конвои из ребячьего желанья испытать себя, с надеждой отвезти пороху, но без ущерба для собственной шкуры. С наивной верой в то, что вернется, обязательно – живым и невредимым, и будет потом козырять перед соседскими девчонками: вот, мол, я какой!

– Камни и скалы. Деревянные дома и бараки, – ответил Алексей. Но оговорился: – Впрочем, не могу сказать, какой он сейчас. Сколько лет прошло.

– Да ничего не изменилось, русский! – включился в разговор Стоппард. – Те же грязь и бескормица. Ни кабака нормального, ни выпивки, ни баб! Одна радость – клуб. Да и там скука одна: танцы да большевистские фильмы.

– Не знаю, – отрезал Кольцов. – Я был там очень давно – в другой жизни.

– Как это? – не понял его Крис.

Алексей не ответил тогда. Как объяснишь то, что стало с твоей родиной, с тем, что было близко и светло и что отняли, как ножом отрезали, кроваво и зло. И, казалось, навсегда... Как объяснишь, что он – потомственный дворянин, русский офицер – вынужден фрахтоваться на английский корабль, чтобы иметь возможность помочь своему Отечеству в трудный час? Как?

Да, за границу он ушел из другой жизни. И – из другого Мурманска.

Он еще подумал тогда, что город, конечно, не только камни и казенные дома. Город – это люди. Это – Даша, о которой он помнил все долгие годы жизни за границей. А здесь, в конвое, она и вовсе не оставляла его ни на миг. Ее руки, еще совсем юное, такое родное ее лицо, ее одновременно робкое и решительное «да» – тогда, в церкви, на их венчании. Это ведь тоже был его Мурманск. Его! Только его. Ничей иной.

В Мурманск они пришли 30 мая сорок второго года. На входе в Кольский залив их пытались взять в клещи четверка «юнкеров», но фрицы остались с носом: зенитчиков конвоя поддержали три русских эсминца. Измотанный долгой и многотрудной дорогой, караван все же прошел это место без потерь, а два атаковавших их немецких аэроплана были сбиты, канули в черную бездонную тьму.

Деревянные тротуары и пыль. Кусок асфальта на улице в самом центре, где стоит четырехэтажная «Арктика» – как говорили ему знакомые офицеры, весьма приличная гостиница с люксовыми номерами, телефоном, ванной.

Он медленно брел по улочке, что шла через место, которое мурманцы называли когда-то База. «Шмидта...» – прочитал он на указателе. «Это что же, того самого, что поднял в девятьсот пятом мятеж на Черном море? – удивился Коль-

цов. – Пьяница, прожигатель жизни, сын адмирала, женившийся на портовой проститутке. Чудны дела Твои, Господи!»

Ему вспомнился эпизод, случившийся на Новый, 1919 год, в самом начале его мурманской жизни. К одному из старших офицеров флотилии Северного Ледовитого океана как раз приехала молодая жена, и тот собрал коллег отметить семейное торжество – новоселье. Квартиру в бревенчатом доме им выделили по мурманским меркам той смутной поры вполне пристойную – две комнаты с большой передней и выходным тамбуром.

Хозяин, капитан первого ранга, бывалый моряк-дальневосточник, тогда сам обратил их внимание на то, что занавески на окнах выполнены из сигнальных флагов. И повешены они были так, что получалось слово – из тех, что употреблять при дамах не принято...

Хозяин квартиры отнесся к пусть хамской, но остроумной выходке матроса, готовившего дом к новоселью, спокойно, лишь посетовал:

– Вот ведь стервец, сигнальщик! И ведь не выщешь с него никак. Скажет, мол, случайно, ваше благородие, обознался. А попробуешь наказать, так пожалуется в комитет какой-нибудь или, еще того лучше, в совет чьих-то там депутатов.

Кольцова тогда, как, наверное, и всех остальных участников застолья, флажки эти на окнах покорибили. Хоть и сделано было без злобы, из детского баловства, но осознанно – с твердым чувством собственной безнаказанности, с уверенностью искренней: «Нам теперь все позволено, утретесь». Флот, любой флот – русский ли, красный, советский – фамильярности во взаимоотношениях подчиненного и командира не терпит. Это Алексей знал прекрасно, это жило где-то внутри, досталось от отца, от предков-моряков, которые еще при Екатерине служили России. И хорошо служили, дворянство-то отцовское – выслуженное, не за знатность. За службу!

«Но тогда, в конце 18-го, это уже был не флот. Не флот... – подумал он с горечью. – Когда вестовые перестают уважать своих командиров, какой уж тут флот».

А вечер был замечательный, и хозяйка очень мила. Угощала их вареньем, рассказывала про Дальний Восток. Он запомнил еще электрическую лампу под бумажным абажуром. Она (видно, оттого, что крохотная здешняя электростан-

ция, приютившаяся у оврага, работала как бог на душу положит), как и вся тогдашняя мурманская жизнь, то краснела, то белела, пока вовсе не погасла...

Советской горки Кольцов не нашел. Зато чуть дальше, где была когда-то рощица, в которой в 18-м похоронили Главного начальника Мурманского края, гланамура адмирала Кетлинского, стояло огромное здание – красивое, многоэтажное. Алексею говорили, как оно называется, как-то очень длинно, по-советски, он не запомнил. Перед зданием – до оврага, уходящего к железнодорожной насыпи, – сквер, или, как называли его местные, Комсомольский садик. Хороший садик, очень весенний: здешние березы – низкорослые, кривые, трава – и нынешняя, свежая и гибкая, и прошлогодняя, желтая, стариковски сгорбленная, высохшая, лишь недавно вернувшаяся в город из-под снега.

А горки не стало. Именно на ней – центре и главном ориентире того, начального Мурманска – находились сгоревший потом первый в городе Совет депутатов, штаб начальника Мурманского края, типография и больница. Именно рядом с Советской, или, как ее еще называли мурманцы, Красной горкой, жили когда-то родные для Кольцова люди – Даша Сазонова и ее тетя Нина Ивановна. Где-то в двух шагах отсюда он дрался с Уорнером. И тут же, если пройти за многоэтажный дом, в маленькой здешней церковке Николая Чудотворца венчал их с Дашей отец Николай, большеголовый и неторопливый священник. Алексей вспомнил, как радостно совершал великое таинство батюшка, как светился от счастья. Чужого счастья, которое было в ту пору вещь редкой, почти небывалой. И – краткой. Словно облачко легкое: миг один – и нет его уже, ветром унесло, а то и вовсе развеяло по белу свету, ищи-свищи за три моря! Как и случилось с его и Дашиным счастьем.

Горки не было, но была баня. «Баня №1» – значилось на вывеске.

– Извините, здесь когда-то была горка, на ней дома стояли? – спросил он прохожую – суровую тетку, несмотря на теплый летний день, в осеннем пальто и тяжелых кирзовых сапогах. Та отшатнулась от Кольцова почти испуганно – так же, как совсем недавно русский грузчик, когда Алексей заговорил с ним по-русски.

– Горка? Какая горка? – попыталась она сообразить, о чем речь. Наконец, поняла, просветлев, ответила нараспев, чуть растягивая сло-

ва: – А-а-а... Г-о-о-рка! Была-была тут горка, – тетка хотела сказать что-то еще, но не стала, с подозрением оглядела Алексея, спросила неодобрительно: – А вы, собственно, кто? Для чего интересуетесь?

– Я здесь жил когда-то, не был очень давно. Двадцать лет, даже больше.

– Куда уж больше! – буркнула тетка и поспешила пройти мимо – дальше, к вокзалу. А до Алексея донеслось то, что она говорила уже и не ему, а, скорее, себе самой: – Двадцать лет, даже больше... Вот ить завернул! Тогда и Советской власти-то тут не было. Да и вообще, было ли что?

«Было! Было!» – хотел крикнуть ей вслед Алексей, но тетка ушагала уже далеко – шлепала по улице своими кирзачами и все о чем-то рассуждала сама с собой, жестикулировала даже.

Он медленно пошел через Комсомольский садик, мимо бомбоубежища, устроенного на склоне примыкавшего к саду оврага. Вышел к причудливому, похожему на корабль зданию. У «корабля», если смотреть издали, имелся и «форштевень», и «корма», и даже «ходовая рубка». «Корабль» – в камне, в движении – стремительно, неудержимо уходил куда-то на север, к горлу Кольского залива. Алексей знал, что там до войны находилась, как говорили местные, «мореходка» – что-то вроде морского корпуса, но не для военных, а для рыбаков.

Дальше начинался подъем, довольно крутой и длинный, но улицы там еще не было, только камни да крохотные зеленые островки лета – трава, все-таки сумевшая выбраться на свет из вечной мерзлоты.

Направо, ближе к порту, за плотным рядом дощатых заборов виднелись крыши барачков, какие-то склады, одно- и двухэтажные невзрачные постройки. Видна была отсюда и крыша единственного в округе каменного дома, памятного Алексею еще по прежней мурманской жизни.

«А тюрьма-то моя, похоже, живехонька, – не без некоторого удовлетворения подумал Кольцов про место, куда доставил его в марте 19-го английский патруль после схватки в доме Каретникова. – Стоит!»

Из британского узилища, помещавшегося в подвале будто спаянного из кирпичей и камней двухэтажного каменного здания, его тогда вытащил Мессер – по сути, спас. Бывший командир

Кольцова – командир «Волка», самой знаменитой русской подводной лодки Первой мировой, жил теперь далеко от здешних мест, в Соединенных Штатах, в заокеанском Кливленде.

Алексей шел и думал про Мурманск, про то, что тот не слишком-то и вырос за те годы, что он, Кольцов, его не видел: «Ненамного больше, чем в 20-м. Правда, потихоньку поднимается, взбирается в сопки».

Да, по самой протяженности он остался почти таким же, каким запомнил его Алексей тогда. Однако в Гражданскую город был еще совсем не определен, черты его – дома и улицы – только-только начинали проявляться, расти из темноты полярной ночи.

Нынешний Мурманск был определеннее, шире и светлее. Он, как показалось Кольцову, один сплошной, непрекращающийся день. Несуетный, порой дождливый. Но – день! Ему показалось даже, что он слышит мелодию города: будто темнокожая девушка в вечернем прокуренном кафе под аккордеон, скрипку и контрабас поет что-то мягким, чистым голосом, и все смолкают вокруг, все слушают ее.

«А ведь прежде, тогда, я Мурманск летом не видел, – вдруг понял он. Так уж сложилось, что три летних месяца девятнадцатого он был в Архангельске, вернулся лишь осенью. – Да, не видел. Не довелось».

Солнце здесь не заходило, а упрямо слонялось по кругу – над городом и почти полностью сожженным портом, над улицами и домами, над деревянными тротуарами и морем, таким большим и таким удивительно спокойным в этот вечерний час. Солнце не заходило, но менялось – в зависимости от времени суток. Менялось, почти как та лампочка под бумажным абажуром в квартире капитана первого ранга Зилова, становясь то спокойно-белым, то красным, с нежным отблеском золота по краям. Но не гасло.

Не гасло...

Однако сейчас это незакатное, яркое солнышко в безоблачно-ясном небе только мешало мурманчанам. И – помогало врагам. Город был слишком хорошо виден с высоты – круглые сутки, днем и ночью, от которой осталось одно название.

В том числе и из-за незакатного солнца город с каждым днем становился все меньше, сжимался и чернел, словно сухое дерево, брошенное в самое пекло костра, распавшаяся на дым и золу. Счет сгоревших и поврежденных до-

мов шел уже на сотни, погибших и раненых людей – на тысячи. Казалось, черные птицы с крестами на крыльях, едва ли не каждый день прилетавшие сюда мешать город с огнем и смертью, делить людей на живых и мертвых, хотели вернуть его в прошлое, в то время, которое Алексей вспоминал весь свой недолгий путь по Мурманску. Время бараков и казенных домов, время, когда город, как маленький ребенок, не умеющий ходить, еще стоял на коленях, не в силах распрямиться и встать.

Домой Пашку Городошникова доставил ряд милиции. А сначала хотели вести в каталажку.

Милиционеры – обстоятельный уставник и законник старшина Туркин и его «второй номер», Петя Абросимов, маленький и верткий, как резиновый шланг, мужичонка, которого блатные наградили презрительной кликухой Шкет, – Пашку сначала не заметили. Он, в посеревшей, давно не стиранной рубашке, едва ли не слился с постаментом вождя, такие они стали с Кировым родные. Но уж когда отличили строгие люди в форме грузчика от его высокого окружения, то спуску не дали. В отделение пойдешь, и всё тут. К тому же не впервой его здесь Туркин ловил, и прежде Городошников нарушал порядок – ночью с памятником Кирова, видите ли, говорил «за жисть».

– Мужики, да окститесь, мне ж с утра опять мешки ворочать в порту! – взмолился Пашка, за время беседы с Миронычем окончательно протрезвевший. – Не время в гадюшниках-то ваших рассиживать!

– Ты бы об этом раньше подумал, умник! – сердито оборвал его Туркин. А потом заметил – ядовито так, но и с удовольствием, словно щелбаны проигравшему в «дурака» отсчитывал: – Что и говорить, ты у нас целого порта стоишь. Куда ж без честного молодца Городошникова? Стахановец, передовик, семьянин примерный.

Обидно было, гадко, но обиды Пашка не выдал, жал на одну педаль, главную, заветную:

– Ребята, завтра ж опять эти суки прилетят. Каждый человек в порту на счету, будь он кривой, будь он хромой, будь он стахановец, будь он никто!

– Ты нам еще вредительство под эту марку припиши, мол, нарушаем обороноспособность, – все в том же язвительном тоне продолжал стар-

ший патруля. – Однако я еще не всё рассказал про тебя.

Туркин сказал это и замолчал, мастерски, почти по-актерски, по-мхатовски выверая паузу. Через несколько секунд продолжил:

– Ты ж у нас поэт еще, как оказалось.

– Да, да, точно! – подтвердил Шкет, до этого времени никак себя не проявлявший, словно его и не было. – Моя баба читала...

– Отпустили бы вы меня, мужики, – снова завел свою волюнку Пашка.

– Не нуди, – повторно оборвал его старший. Обернулся к товарищу, спросил: – И что?

– Что-что? – сначала не понял туркинский напарник, но быстро сообразил, о чем речь, пояснил: – Как что? Хорошо, grit, пишет. Особенно про весну и про любовь.

– Ну, с бабы-то в этих делах спрос невелик, – усмехнулся Туркин. – Эти штуки им ближе всего.

– Какие штуки? – заинтересовался Шкет.

– Всё, разговор окончен, – не пожелал распространяться насчет «штук» Туркин. А к Пашке обратился издевательски вежливо: – Пошли с нами, Павел Ананьевич.

– Куда? – не понял Пашка, по-прежнему надевавшийся на то, что и сегодня все сойдет для него благополучно, кривая вывезет.

– А ты не знаешь, инженер человеческих душ? – снова попытался поддеть его Туркин. – В отделение, в отделение. Отдохнешь там, поспишь. Поднимайся и идем.

Пашка тяжело поднялся и зашагал. Милиционеры шли чуть сзади.

– Прямо как осужденного ведете, – покачал головой Городошников.

– Ступай-ступай, нарушитель! Нечего по ночам шлаться.

Так они и шли. Городошников обернулся на Кирова, как бы прощаясь, развел руками: мол, видишь, какие дела, Мироныч, что с ними, паразитами, поделаешь. Вождь, как показалось грузчику, смотрел им вслед не без осуждения. Причем, как хотелось верить Пашке, осуждал он не его, а этих самых «паразитов» в синей форме. И что, посудите сами, ему, Городошникову, оставалось делать?

Он шел, подавленно склонив лохматую голову, которая при движении, казалось, жила какой-то своей, отдельной от хозяина жизнью – неприкаянно, почти как легкий язычок у бубенчика, колыхалась от каждого шага: то вправо – то влево, то влево – то вправо.

Туркин сначала не замечал Пашкиного неустройства, делал свое дело, сопровождал задержанного. А когда заметил, и ему тошно стало. Будто окошко какое-то, прежде на все шпингалеты задернутое, само собой отворилось. Ему, Туркину, тоже ведь совсем не в радость была эта история. Не деревяшка же он. Пашка хоть и разгильдяй первостатейный, и драчун, каких мало, и пьяница, но не преступник же! «Однако и порядок должен быть, – думал Туркин. – Должен! Без него нам войну не выиграть».

Утвердиться в мысли, что ночь Городошников должен провести в отделении, Туркину помешал напарник.

– А может, все же отпустим? – спросил Шкет негромко – так, чтоб не слышал конвоируемый.

– Да на что он тебе сдался?

– Так ведь жалко парня, – определил Шкет незаметно чувство, которое и Туркина все не отпускало, все не давало покоя. – Да и чую я, опять эта шпана крестокрылая завтра к нам пожалует. Работы в порту – ой-ё-ёй! А Пашка – грузчик.

Последние слова он выделил так, словно хотел показать, что не просто грузчик Городошников, а – о-го-го, редкий, каких еще поискать надо. Это и впрямь было так. Пашка, несмотря на невеликие размеры, был ловок, быстр, и силушкой его Бог совсем не обидел... Руки – короткие, зато ладони широкие, крепкие, как пальцы в кулак сожмет – булава получалась с иную голову. Пацаненком еще Пашка дрался частенько, потому как характер имел диковатый, взрывной. А когда подрос, в силу вошел – и шпань подзаборная, и блатные задирать его опасались, себе дорожке. Туркин помнил, как в 39-м после танцев в ДК Пашку вызвали во двор «покурить» шестеро – чужие, с кораблика какого-то архангельского. И что с ними Пашка сделал, Туркин тоже помнил. Двоим сломал нос, одному – челюсть.

Едва не посадили тогда Городошникова. Портовской парткомитет вступился. Как же, передовик, стахановец, к тому же и не он начал, они на него (вот ведь, нашли же, с кем связаться, трескостеды безголовые!). В общем, отстояли бойца, отправили, правда, на исправработы, но – в тот же родной рыбный порт, опять же – грузить-разгружать. А Пашка и рад-радешенек: ему любимая работа, упражнения вроде «таскай-бросай» никак не в тягость, такой уж он, Городошников, уродился.

– И что ты предлагаешь? Домой его вести? На улице ж его не бросишь.

– Так у него ж дом под боком, общага портовская. Или забыл, Леонид Николаич?

– А ведь и правда! – изумился Туркин. – Видно, старею, Петь, не та память стала...

Он снова внимательно взглянул на маячившего впереди Пашку, на неприкаянную его фигуру, на лохматую голову. И как-то совсем нехорошо стало Туркину. «Он же завтра, нарушитель хренов, язви его, опять под бомбы пойдет, – подумал старшина. – А мы тут его мытарим...» И – решился.

– Городошников! – окликнул он грузчика. – Стоять смирно, ать-два!

Пашка остановился, тревожно косясь вправо: там виднелась из-за развалин общага, где жили они с Соней два последних года.

– Дом свой видишь, сокол ясный? – спросил Туркин, не отказав себе в удовольствии чуть поддеть, царапнуть задержанного словом.

– Угу, – мрачно отозвался Пашка.

Разговора конвоиров он не слышал, милости от них не ждал, а потому следующая фраза Туркина оказалась для Городошникова совершенной неожиданностью.

– Шагай домой, Пушкин беспортошный! – строго, но с улыбкой сказал старшина. – Да жену не обижай. В следующий раз так легко не отделаешься. Понял меня?

– Понял! – обрадовано ахнул Пашка, на радостях обнял ошалевшего от такой наглости Туркина и – мышкой серенькой шмыгнул к входу в дощатую двухэтажку, одну из тех немногих, что остались в центре города после июньских пожаров.

Соня не спала.

Прилегла, не раздеваясь, на кровать, прижалась к подушке маленьким ухом, будто ребенок – к раковине морской. Прислушивалась к шорохам и шепотам на кухне, ко всему их неумемному, до срока затаившемуся общажному морю. Общага, наконец, угомонилась, стихла, разошлась по комнатам и койкам, уснула. А Соня ждала Пашку.

Она и сама не знала, зачем так у нее получилось, повода-то сердиться особого не имелось, а уж о том, чтоб из дома мужа выгнать, и подавно. Молчал он как-то сосредоточенно, думал о чем-то своем, а ее, Соню, как ей показалось, совсем не слушал. «Опять чем-то душу мучит, – думала Соня встревоженно. – Зачем? Для чего?» Не понимала она в последнее время мужа. Вроде бы пять лет вместе, а вот словно от-

далился он от нее, будто чужой стал, непонятный. И это Пашка-то! Пашка – душа нараспашку, простодушный и прямой, ни камешка за душой. «А тут еще стихи эти. Тоже – не было печали...» – вспомнила она разговоры с подружками, их неверие в то, что Пашка-грузчик такое может. Да она и сама бы не поверила, если б не видела, как он это делает: ночью как-то проснулся, схватил огрызок карандаша, долго бумагу искал, потом – плюнул и давай писать прямо на пачке «Беломора». Соня вздохнула – несчастливо и грустно: «Еще учительница... Красивая какая! И одна. Почему одна? Объясни-пойми...» Не давали эти мысли Соне покоя, никак не давали. Вот так и сошлось все разом: и молчит не поймешь о чем, и стихи, и мысли вот эти ее окаянные, да еще и спиртом от него несет. Вот и сорвалась, как давно не бывало. Сама себя потом корила: зачем, зачем?

А Пашка, как со смены вернулся, о Ялте, кстати, думал – все время, пока шел, об этом думал. О садах и пальмах тамошних, о теплом ветре и южном море, о песке, мягком, как бархат. Или – гальке. На чем там на пляжах-то лежат?

Он вошел в их комнату, стараясь ступать неслышно, но Соня вычислила его сразу – еще когда входная дверь дома отворилась и закрылась, а потом застучали знакомые башмаки по лестнице. По трапам и лестницам Пашка не ходил – бегал легко, задиристо.

Когда он только еще порог переступил, Соня быстро – пружинкой этакой – встала, пошла на кухню. Пашка попробовал ее задержать – тронул виновато за локоть:

– Соня...

Не остановилась, даже не взглянула. Вернулась с тарелкой – картошка, луковица, хлеба кусок, звонко поставила на стол в углу, у окна, где Пашка как раз стоял, следил за ней молча. Отошла от него обратно к кровати, руки на груди сложила. Стоит. А спина – не то чтобы злая, но – не добрая.

«Какая она маленькая», – подумал Пашка – так, словно открытие сделал. И так захотелось ему Соню повернуть к себе, прижать, губы ее в свои взять, аж жарко стало.

Жена Пашки и правда была крошечная, как маленький цветок. Если бы Пашке читали в детстве Андерсена, он мог бы вообразить, что Соня похожа на Дюймовочку, девочку, жившую в большой лилии. Но Пашка про Дюймовочку ничего не знал. В детстве ему книг не читали.

Она была маленькая и очень красивая. Волосы длинные – русалочьи, лицо круглое – приятное, открытое, большие черные, что чернослив, глаза, носик аккуратный. Верхняя губа чуть-чуть вздернута. Из-за этого Пашке часто казалось, что она слегка глуповато, вечно с открытым ртом, смотрит на него – всегда, словно снизу вверх, как на старшего. Хоть он и понимал, что это – видимость одна, чистая выдумка. Нрав у Сони был – будь здоров!

Дружок по вечерней школе, механик с «Тумана» Серега Толоконников, как ее увидал впервые, сразу диагноз выдал однозначный:

– Ой, Пашуня, даст она тебе еще жизни, помни мои слова. Не женись! А не то... Будут тебе ежовы рукавицы, мало не покажется!

Не соврал Серега. Внешность – шелк, спору нет, но внутри – такой кремешок обнаружился, что и про глаза-чернослив забудешь.

Она и по имени-то Пашку звала нечасто, обычно по фамилии. Как крикнет: «Городошников!» – так уже знаешь, что провинился, только, вот беда, никак не разберешь, когда и где.

Да что говорить, каблучок у Сони был твердый, с места не сдвинешь.

Но бывали дни. Бывали дни и ночи. Такие, после которых, наверное, и умереть было бы не страшно. Но Пашка – простой человек – о смерти не думал. Ему жизнь была – в радость. И Соня хоть и ругала его, и на хвост каблучком рифленным наступала, и обиды строила на полквартиры, но тоже была в радость.

Какое платье в тот день на ней было – в тот самый, когда целовались они рядом с Миронычем, за Ворошиловым и Сталиным прячась! Шелковое, в цветах. И она в нем – теплая, ладная, близкая. Да не укусишь! Голову чуть наклонит, смотрит с полуприщуром: что ты, мол, за фрукт такой, зачем приперся? Как же потом люббили они друг друга, как безжалостно скрипела кровать! Ах, Соня, Соня...

А танцевала как! Ножки быстрые, коленки – круглые, веселые. Он ведь тогда с «архарой» из-за нее зарубился. Уж больно близко один начал клинья подбивать. Ну, и не стерпел Городошников.

А потом рождались дочери. Одна за другой. За четыре предвоенных года – три.

– Спать будем? – спросил Пашка, не ожидая ответа, только для того, чтобы спросить, чтобы разорвать ту бумажную тишину из шорохов и шепотов, которая, как ему казалось, делает кварти-

ру пустой – такой, словно их, Пашки и Сони Городошниковых, здесь нет, а есть только эта говорящая, зыбкая тишь.

Он спросил и, не дожидаясь отклика, отвернулся к окну, стал стаскивать серую свою потасканную рубашку – через голову, как-то неловко, косолапо. И ведь, паразит нескладный, чуть не свалил стоявший рядом стул, на который, собственно, и предполагал водрузить свои испытанные пожаром одежды. Стул, зацепленный Пашкой, поднялся на дыбы, а затем шумно встал на место.

Соня обернулась на звук. Быстро, резко, хотя и с неохотой. Знала, что все с ним в порядке, но все равно заволновалась. Да мало ли что с этим обормотом может приключиться, успевай гляди!

Соня обернулась. И только тут увидела Пашкины спину и плечи. Ожоги и волдыри. Пока таскали ящики – под бомбами, в запарке – он и не чувствовал, что пожар его нет-нет, да и достает, облизывает жадно огненным своим языком. Болеть и спина, и плечи начали позже, когда они с тем белогвардейцем шли в санчасть.

– Паша, да что ж это? – вырвалось у Сони, как всхлип – негромкий, отчаянный.

Она подошла сзади, тихонько ступая маленькими босыми ногами по голому полу. Пашка ее не услышал, но почувствовал – ее тепло, ее маленькое, уютное тело. Она его не обняла – боялась сделать больно. Лишь осторожно, самыми кончиками пальцев взяла его руки – нежно, но твердо, так, чтобы он не мог повернуться, чтобы не обжегся снова – уже об нее. Прикоснулась губами тихо-тихо, невесомо, как к чему-то очень ранимому и родному.

Повернулся – не мог уже сдерживаться, обнял ее так, что Соня вскрикнула. Так, как хотел весь этот долгий и страшный день, чтоб почувствовать ее всю – от пяток до макушки. А Соня руки опустила: боялась обнимать его, непутевого, обожженного. Боялась сделать больно. А Пашка... Тот ничего не боялся. Нашел, наконец, губами ее губы и уже не отпускал – долго-долго. «Ты меня так проглотишь, чудо-юдо портовое!» – на миг отстранившись, прошептала Соня, распаленная грубыми Пашкиными ласками. «Не-а», – промычал он в ответ и снова приник к ней и уже не отпускал, не отпускал.

...После Пашка лежал на спине и, как утром, на разгрузке, почти не ощущал боли и усталости. Глядел в невысокий, потрескавшийся от

времени потолок и будто по морю плыл, мирному, тихому, белому. Он такое только в кино видел, в «Веселых ребятах»: волны с барашками, солнце, пляж. И никаких тебе бомбежек.

– Кончится война, в Ялту поедем, – мечтательно потянувшись, тихо сказал Паша. И, еще крепче прижав Соню к себе, пояснил: – Отдыхать. В море купаться и ситро пить.

К такому повороту Пашкиных мечтаний Соня готова не была, а потому спросила почти испуганно:

– А дети?

– Так и детей возьмем. Куда ж без них? – ответил Пашка и улыбнулся раздольно – счастливо и светло.

Соня подумала о том, что Ялта – это, наверное, вряд ли, даже чуть отодвинулась от Пашки, хотела что-то возразить, мол, Крым-Рым только для больших начальников. А потом увидела его, городошниковскую, улыбку. И сама улыбнулась тоненько, словно бы только себе, легла головой русалочьей на широкую мужнину грудь и тихонько сказала:

– А Валюшка улыбается так же, как ты.

Павел ничего не ответил, только снова улыбнулся в искусственной полутьме их угловой комнаты, плотно зашторенной от незакатного мурманского солнца. Улыбнулся широко и щербато – так, как умел только он, Пашка Городошников.

ГЛАВА 3

ЛЕТЧИКОВ В РАЙ НЕ ПУСКАЮТ

– Под трибунал пойдешь! – кашалотским громоподобным басом объявил Скворцову в лицо главный смершевец полка. И добавил своим подручным уже тише, но страшнее – так, словно затвор передернул: – Под арест. До выяснения обстоятельств.

Страшно ему не было. Хоть и понимал Николай, чем всё может кончиться, но страшно не было. Было – стыдно. И знаменитый, знакомый всему флоту комэск, с которым только вчера за ужином они говорили об англичанах, который, смущаясь, просил научить его нескольким фразам по-английски, шутил, что надо же как-то общаться с этими лордами, подошел мрачный. Медленно вгляделся в него. Смотрел тяжело, без обычной, характерной для него лукавинки, открытой, как и весь этот большой и сильный человек.

– Коля, – сказал он глухо, словно горло напроць простужено и не дает говорить. И замол-

чал. Да тут, в общем, и говорить больше было нечего. Обращенный к нему вопрос, что стоял у Сафонова в глазах, Николай знал и так. И ответа у лейтенанта на него не было.

– Сам не знаю, Борис Феоктистович, – с усилием выдавил он из себя.

Это был третий его бой и первый – ночной. В изменчивой карусели боя, почти в кромешной темноте, освещаемой лишь прожекторами да расходящимися по сторонам линиями трассирующих пуль, он ошибся.

Ему показалось в какой-то момент, что в прицеле – «мессер». Сблизился, открыл огонь. Очередь прошла рядом, не зацепив самолет. И – слава Богу. На земле оказалось, что он обстрелял своего – Пе-2.

На гарнизонной «губе» Ваенги, куда его отвели два добрых молодца из СМЕРША, Николай прежде не бывал. Узкая и тесная неволя казенной комнаты, сырость, влажный каменный пол, влажные противные простыни застеленной солдатским одеялом скрипучей кровати. Первый день его не беспокоили. А на второй в полк приехал летчик той самой «пешки», которую Николай чуть не сбил. Приземистый, быстрый капитан, весь в ремнях-портупях, которые он то и дело поправлял, хотя и так все сидело на нем прилично. Но подчеркнуть лишний раз, какой он хороший да правильный, капитан считал, видно, необходимым.

Для разговора, того самого «выяснения» обстоятельств, помимо кашалота-смершевец и капитана в ремнях-портупях пригласили и Сафонова – и как участника того ночного боя, и как командира Николая. Это был именно разговор, а не допрос.

Скворцов рассказал о том, как все произошло. О том, как вышел из виража и поймал в перекрестье прицела, как ему в тот момент показалось, один из «мессеров».

Капитан не дал ему договорить, вскочил со стула, подлетел к Николаю вплотную, нахально оглядел с ног до головы, спросил:

– Ему показалось! Да как могло показаться? Ты ж меня едва решето не сделал, дурень! Хорошо, я почуял что-то, чуть в сторону отклонился. Почуял!

Николай молчал, хмуро слушал язвительные капитанские наскоки.

– Глаза-то на месте? Что молчишь? – никак не унимался пострадавший. – Э, да ты, похоже, еще и глухонемой. И как таких в авиацию берут?

А, Борис Феоктистыч? – поинтересовался он у комэска.

– Ладно, успокойся, Павел, – вступился за подчиненного Сафонов. – Остынь. Не видишь: парень и так себе места не находит.

Смершевец в разговоре почти не участвовал, задал лишь несколько формальных вопросов, ответы на которые можно было и в послужном списке посмотреть.

Почему он так осторожно, будто в засаде, вел себя, Николай понял на следующий день, когда с ним беседовали уже иначе. И дознание это шло уже не в штабе полка, как накануне, а на «губе», в комнате дежурного офицера. Допрашивал его незнакомый смершевец с петлицами. О бое он не спрашивал. Вопросы – четкие, конкретные, краткие – были совсем о другом. О прошлом.

– Кем вам приходится Скворцов Алексей Дмитриевич?

– Он мой отец, – почти без раздумий ответил Николай. Потом поправился: – Неродной.

– Он усыновил вас в 30-м, когда женился на вашей матери – Сазоновой, по первому мужу – Кольцовой Дарье Кузьминичне?

– Так точно.

– Вам известно, что ваш отчим осужден за шпионаж в пользу франкистской Испании?

– Так точно.

– Что вам известно о его антисоветской деятельности?

– Ничего.

– А кто ваш настоящий отец?

– Не знаю.

– Что же, ваша мать, Скворцова Дарья Кузьминична, в девичестве – Сазонова, ничего вам об отце не говорила?

– Нет.

– И о белогвардейском прошлом вашего отца, Алексея Николаевича Кольцова, вам, разумеется, ничего неизвестно?

– Я ничего не знаю о своем отце.

– Вот как? – оживился прежде совершенно холодный, по-конторски официальный следователь. – Интересно-интересно... Вот ведь как причудливо получается, Скворцов: отчим у вас – враг народа, отец – белый офицер, мать осуждена, как жена врага народа, а вы три дня назад собственноручно пытались сбить советский самолет.

«Вот ведь как повернул!» – отметил про себя Скворцов, до которого не сразу дошла иезуит-

ская суть высказанного дознавателем предположения. Ответил он зло и резко:

– Я уже объяснял. Был ночной бой. Я ошибся, принял его за самолет противника.

– Значит, обманулись, своего приняли за врага? Ну-ну... Страна бьется с хитрым и коварным врагом. А вы? – смершевец замолчал, а после короткой паузы подчеркнуто жестко закончил: – А вы стреляете в своих. Показательная ситуация, о многом говорящая.

– Верните меня в строй, – едва слышно, но твердо произнес Николай. – Я хочу драться с врагом. И на деле докажу, что происшедшее – случайность.

– Докажете? – посверкивая маленькими гадкими глазами, ернически, с издевкой заметил следователь. – А если вы в спину своих товарищей начнете бить, а потом – за линию фронта? Что тогда?

– Я докажу!

– Свежо преданье, да верится с трудом, – хмыкнул смершевец. Позвал конвойного, приказал: – Уведите.

На «губе» Николай провел десять суток, потом неожиданно из-под ареста его освободили. Правда, без допуска к полетам.

Вышел с гауптвахты и тем же вечером услышал, как в курилке у офицерской столовой сафоновский механик Люлюкаев, известный насмешник и острослов, рассказывал свой вчерашний, или, как он сам называл, «давешний» сон. Люлюкаев – толстый, как бочка, и лысый, как фонарный столб, – «врать» умел искусно, мог это делать в любом настроении и при любой погоде. За что его и любили в полку.

– Снилось мне давеча, робятушки, как я в рай попал...

– Да ты что, Семеныч? – улыбнулся Коваленко. И переспросил заинтересованно: – Прямиком-таки в рай?

– Ну, оно, конечно, не в самый... – сосредоточенно почесав лысый затылок, поправился Люлюкаев. – Но – рядом.

Все засмеялись, а один из молодых коллег Люлюкаева, механик Миша Гаврилов, мальчишечка лет восемнадцати, непонимающе уточнил:

– Как это – рядом?

– Ну, вы ж знаете, робяты, в рай же попасть не так ить и просто. Хотя молодым, как ты, это, может, и неизвестно вовсе. Ну, на то вы и комсомольцы. Но старики, вроде меня да иных отцов-

командиров, мы-то знаем, что не так все легко. Это вам не «взлет-посадка». Тут все посложнее будет. Мне вообще лесенка приснилась. Полеза я по ней – все вверх и вверх. Долго лез. Вижу – сад чудесный, вокруг – решетка чугунная, красивая такая. А в саду – зелень, деревья всякие, яблони-груши, не то, что у нас здесь. Райские птицы опять же туда-сюда, туда-сюда. Летають и поють. Летають и поють. Ну, никакого на них угомону нет. Мне интересно стало, захотелось туда, в сад, попасть. Ну, и принялся кругом ходить – ворота искать.

– Нашел? – влез с неуместным вопросом один из желторотых младших техников.

– А ты как думал, болт без нарезки? – в сердцах, но и снисходительно, как на брехливую подзаборную собачонку, рявкнул на него механик. – Нашел! Как не найти? Люлюкаев и не такое находил...

Он вдруг смолк, словно незадачливый «болт без нарезки» смутил его, заставил задуматься о чем-то очень важном, что совсем не вязалось с его травлей о лесенке на небо. Так и было... Петр Семенович вдруг вспомнил, как мама впервые привела его на исповедь. Шла первая неделя Великого поста 1905 года. Мамины теплые руки, торопливый священник, недолгий разговор о его, Петиных, грехах. Потом – сладкое вино причастия... Как же далеко это было. Мама умерла в двадцатом, когда на Дону правили голод, сабля и смерть. Да и Бога, как потом оказалось, никакого нет.

– Ну и что, Семеныч? – тронул его за рукав механик Серега, Петин давний приятель.

Надо было вернуться в новую жизнь, досказать ребятам придуманную накануне байку. Он это сделал, хоть и без особой охоты.

– А на воротах, понимаешь, замок в-о-от такенный! – при этих словах Люлюкаев развел руки в стороны, желая продемонстрировать, какой до невозможности огромный замок висит на небесных вратах. – Там же мужичонко в годах со связкой ключей. Прошу его: «Пусти, дедушко...» А он мне: «Ты знаешь, где оказался-то, Люлюкаев? В раю. А летчиков в рай не пускают!» Вот ить зловерный какой дед! Ильей-пророком оказался, язвы его. Он там нешто вроде вахтенного бессменного.

Аудитория замерла, никак не выказывая отношения к услышанному, хотя многих и удивило, и озадачило то, что летчиков так ущемляют. И где – на почти родном для них небе! Но выска-

зваться не торопились – ждали, что дальше будет, ждали продолжения люлюкаевской притчи.

– Вот он и говорит мне, мол, летчиков не пускаем. И тут я за воротами теми вижу наших Скворцова и Баулина – разгуливают себе по саду, как ни в чем не бывало, с зверушками общаются, лимонады райские пьют. Я, конечно, разобиделся. Думаю, что ж такое! Я не летчик, а – не пускают, а летчики – так там вовсю прохлаждаются, лучше всякого курорта. И намекаю стражу-то райскому, дедушке энтому: «А это-то кто, друг любезный? Вон у вас там Скворцов с Баулиным хороводы хороводят. А я как же?» Жестко так его, по-нашему. Ну, вы ж знаете, как я могу.

Курилка добродушно загудела: мол, знаем, знаем, как не знать.

– А он что, ответил?

– Ответил. Как не ответить!

– Что сказал-то?

– Сказал хорошо, точно сказал! – довольно хмыльнулся Люлюкаев. – Обернулся дедушкоключник на энтих орлов и спрашивает: «Эти?» Я киваю: «Эти, эти!» А он: «А кто тебе сказал, что это летчики? Это не летчики. Иная, прости Господи, субстанция».

То, что было в курилке дальше, и передать трудно. И летчики, и механики, и спецы из группы вооружения – все, кого занесло сюда в этот час, смеялись так, что дым стал завиваться винтами, а само помещение задрожало, напряглось, будто готовый к взлету летательный аппарат неизвестной доселе конструкции.

Когда звучала над первой Ваенгой команда «По самолетам!», всё на замкнутом пространстве аэродрома приходило в движение. Мир, казалось, расслаивался, делился на части: тех, кто сейчас заученно вздернет машину в воздух и уйдет к облакам, ввысь, и тех, кто оставался на земле, – ждать, тревожно вслушиваясь в тишину, что опускалась в эти часы на аэродром – взлетную полосу и капониры, землянки летного состава и зенитки, прикрывавшие главную базу авиации флота от непрошенных гостей.

Следить за тем, как уходят в небо товарищи – другие, не ты! – было нестерпимо больно. Особенно сначала, когда история с обстрелом своего и последующим отстранением от полетов еще казалась лейтенанту выдумкой, дурным сном, который без следа пройдет стороной.

Надо только проснуться. Но «проснуться» никак не удавалось.

И он раз за разом, будто по обязанности, будто это было предписано кем-то, чьи приказы не обсуждаются, приходил сюда. Сначала – смотреть, как улетают другие. Потом – просто смотреть в небо. Пустое кольское небо, которое сейчас, в конце августа, так редко бывало безоблачным и светлым.

Иногда шел дождь – мелкий, но долгий, серенький и занудный, казавшийся бесконечным. На дождь Николай внимания не обращал – что ж поделаешь, если тонкая, прозрачная сеть порой часами висела над летным полем, прохладными влажными нитями соединяя, сшивая небо с землей. В такие минуты он обычно вспоминал Питер, детство: мосты над Невой – разведенные, устремленные куда-то высоко, чему и названья-то нет; сырые камни проспектов; воздушные змеи над Марсовым полем; мама, ее мягкие, теплые руки. «Николенька» – звала она его тогда. Больше никто так не звал.

Петроградская сторона, типичный доходный дом – с каминами в изразцах, высокими потолками, с тяжелыми дверьми и засовами. С длинными коридорами, в которых звук твоих шагов множится гулким эхом, живет отдельно от тебя – долгой, собственной жизнью, когда сам ты уже давно скрылся за одной из здешних дверей, той, где твой дом, где мама. Это был дом родителей маминой тетки – Нины Ивановны. Они приехали сюда в 1925-м.

Мурманск, на который пришлось первые пять лет его жизни, Николай помнил смутно: деревянные дома, грязь, скука. Другое дело – Питер! Огромный, светлый, с прямыми, промытыми дождем, тянущимися через весь город «перспективами» вроде Невского или Литейного.

Жили трудно, но весело. Коля целыми днями пропадал во дворе, учился от случая к случаю, но мать старался не расстраивать. Любил ее очень. Дарья Кузьминична работала учителем английского в школе, Нина Ивановна – уборщицей в издательстве. Она умерла весной тридцатого от двустороннего воспаления легких. Из тетиного дома на Петроградской они уехали спустя два года, когда Коле было двенадцать. Мама вышла замуж. И они переехали в просторную двухкомнатную квартиру на Моховой с ванной и телефоном. Николай в подобных прежде и не бывал никогда. Слышал, что есть такие – ребята рассказывали, но сам не видел.

Отчим был большой, шумный, всегда с улыбкой. И с цветами – почти всегда. Кажется, после полетов он домой без цветов не приезжал. Летчик! Николай помнил, с каким странным чувством он чуть позже увидел человека – того самого, который громко шутил и смеялся, которого он, Коля, по вечерам обыгрывал в шахматы, на первой странице «Ленинградской правды». Газету показала ему девочка-одноклассница, Тая. Хрупкая такая, тонкая, смешная. Показала и спросила:

– Это твой отец?

Он сначала не понял вопроса, не готов был к нему: никого не знал в новой школе, почти ни с кем не общался, а эта – тоненькая, изящная – подошла сама, да еще и с газетой такой.

– Нет, не отец, – покачал он головой.

– А фамилия твоя, – с легким недоумением и, как ему показалось, почти огорченно заметила девочка. Продолжила она в том же духе – несколько озадаченно, но твердо и с любопытством, будто рассуждая вслух: – И он тебя, кажется, вчера в школу подвозил. Нет?

– Это дядя Леша, – объяснил Николай. – Он не отец. Отчим.

– Па-ня-тна... – протянула она звонким, требовательным своим голоском, а потом осторожно спросила: – А тебя Коля зовут?

– Да, – кивнул он. – Николаем.

– А меня – Таей. Тая Смелкова.

Тая стала первым другом Николая в школе, куда пришлось ему перейти после переезда, – в бывшей гимназии, большой, парадной, привыкшей быть образцовой. Здесь учились дети партийных, военных и хозяйственных руководителей города и области – всевозможных директоров, секретарей, председателей и командиров. Тая не была исключением: ее отец руководил одним из крупных заводов Ленинграда. Причем выпускал этот завод самолеты. Именно этим, наверное, и был вызван интерес девочки к нему, ничем не примечательному новичку. В ее доме летчиков знали и любили.

Когда он впервые пришел к Тае в гости, в их огромную квартиру на Суворовском проспекте, неподалеку от Смольного, его поразили самолеты: искусно, мастерски, в деталях выполненные их модели и фотографии. А еще его удивило, с какой теплотой Таин отец – немногословный, очень сдержанный и, как показалось Коле сначала, сухой, закрытый человек – говорил о его отчине. Почти с восхищением говорил. Это напом-

нило мальчику тот восторг, который вызвало первое появление Скворцова в их доме, хоть и люди там были другие. Совсем другие.

Коля тогда выбежал открывать дверь – звонили именно им, четыре раза, как и положено. На пороге стоял высокий незнакомец, широкоплечий настолько, что, казалось, занял собой весь дверной проем. При этом – в кожаном плаще почти до земли, высоких, начищенных до солнечного блеска офицерских сапогах, пилотке чуть набекрень.

– Привет, ты Коля, наверно? – крепким командным голосом спросил незнакомец, весело оглядев впустившего его мальчика. – А мама дома?

Одним движением он сбросил тяжелый плащ, оказался в парадном кителе: две шпалы в голубых петлицах, две золотые нашивки на рукаве, орден Красного Знамени на широкой груди. Пошел по коридору, куда указал ему Коля. Ступал резко, не стесняясь: каблуки ухали по полу так, что слышал, наверно, весь дом. Мама, в фартуке, коротко выглянула из кухни, где что-то у нее жарилось на сковородке, и тут же спряталась обратно. Словно испугалась пришедшего.

Гость, заметив ее, широко улыбнулся, шагнул следом. За ним на кухню прошмыгнул и Коля.

– Ну что ж вы, Дарья Кузьминична... – не переставая улыбаться, начал военный негромко, с каждым новым словом будто набирал ход и силу, разгонялся. Закончил почти басом, сдержанным, но напористым: – Или видеть меня не желаете?

Мама... Мама сначала смущенно, почти испуганно, молчала.

– Алеша, – наконец сказала она. Сказала и радостно, и встревоженно. Потом, сбиваясь, объяснила: – Я ведь не ждала вас совершенно, Алексей Дмитриевич.

Гость усмехнулся спокойно и властно, давая понять, что так и должно быть. И, совершенно уверенный, что все делает правильно, сказал:

– Ну, это не беда, Дарья Кузьминична. Как у нас говорят в таких случаях, полет нормальный.

Мама, как-то разом успокоившись, заулыбалась почти празднично:

– Вы приходите, приходите. Коля, проводи гостя к нам в комнату. А я пока себя в порядок приведу, – сказала она, снимая фартук, весь

белый от муки, такой же белый, как мамины руки.

Кухня наблюдала за происходящим спокойно (народ тут обретался бывалый, и не такое видели!), но и не без некоторого удивления. К Дарье Кузьминичне относились здесь хоть и без неприязни, однако чуть свысока: чистюля, тихоня, одиночка, жила у тетки на птичьих правах. Теперь совсем одна, и даже мужиков не водит. Как говорила вожак здешних народных сходок, торговка с Пряжки по кличке Ботало, «ко всем, понимаешь, на «вы», очки носит, языки, грят, знает, а от жисть свою устроить не может – ума не хватат».

– Каков! – выдохнула Ботало, неповоротливая, толстенная бабища, когда гость вместе с теми, к кому он пришел, покинул кухню. Скандалистка и матерщинница, здесь она и слов-то, подобающих случаю, не нашла. А в голосе ее каким-то странным образом на сей раз раздражение уживалось с восхищением.

– Не «каков», а Скворцов! С неба гость, с неба! – выпучив большие и черные абречьи глаза, поправил Ботало дворник Ибрагим, еще один свидетель вторжения «небесного гостя». – Героев надо в лицо знать!

Алексей Скворцов был одним из лучших летчиков не только Ленинградского военного округа, а всей шестой части суши, всей необъятной Страны Советов. Но об этом Николай узнал позже. А пока... Его удивило, что мама так обрадовалась этому человеку – совсем новому, незнакомому и, как показалось Коле, словно из другого мира к ним сошедшему. Он был чужой, пах кожей и табаком, ступал – решительно, говорил – в полный голос, а она... Несмотря на испуг, видимо, вызванный тем, что летчик явился столь неожиданно, она словно осветилась вся, когда он вошел, будто раскрылась ему навстречу.

Постепенно Николай привык и к запаху табака, и к кожаным плащам, и летчицким курткам, и к громкому, неумемному голосу человека, так круто пережившего их с мамой жизнь. Привык и к тому, как она радуется, когда дядя Леша, так звал он хозяина их нового дома, возвращается домой со службы.

Привык – да. Понять было сложнее.

Нет, они нормально общались. Играли в шахматы, причем старший постоянно проигрывал, чему очень огорчался. Сетовал с грустной улыбкой:

– Да-а... Чтоб тебя, брат, обыгрывать, церковно-приходской школы маловато. Ты ж, гово-

рят, книжки специальные о них читаешь, – летчик кивнул на шахматы, – задачи решаешь. Куда уж мне, непутевому.

Коля победам своим не удивлялся: в шахматы он играл лет с трех (мама научила!), и очень это занятие любил. Compliments летчика воспринимал спокойно, даже холодно, как должное. Глупо, наверное, но не хотел он, чтобы Скворцов его хвалил. И шутки скворцовские его не радовали, и анекдоты, которыми тот сыпал беспрестанно, казались мальчику скучными, совсем не смешными. Странно было бы, если бы тот подобного к себе отношения не замечал, – замечал, конечно. Но внешне никак этого не проявлял и собственного отношения к Коле, всегда дружелюбного и теплого, не менял. Только с мамой они порой переглядывались тревожно, когда после очередной занятной байки Скворцова среди общего веселья вдруг обнаруживали, что мальчик лишь в знак уважения обозначил улыбку, а сам – не с ними, смотрит куда-то вдаль, чужой, равнодушный.

Все изменилось в один день. Скворцов готовился к важным полетам: в полк приехала специальная комиссия отбирать лучших для участия в военно-воздушном празднике. И вроде совсем не до того было летчику в такую пору, не о пашинке у него должна была голова болеть. Но за ужином, накануне тех сверхответственных и важных для него вылетов, он почему-то спросил у Коли:

– Ты как завтра – свободен? На аэродром со мной поедем, бродяга?

Коля вопроса такого не ждал – и речи о том, чтобы с отчимом на аэродроме побывать, прежде в доме не шло, а тут... Глянул с недоверием – уж не шутит ли? Но отчим, по всему было видно, не шутил: смотрел прямо, без улыбки, ждал ответа.

Николай молча кивнул.

– Ну и ладно. Значит, едем, – удовлетворенно кивнул летчик и только теперь улыбнулся. Потом поднялся из-за стола и, подводя итог всему сказанному, заговорил совсем иным тоном, короткими, точными фразами – так, словно они уже на аэродроме, а перед ним подчиненные: – Завтра подъем в пять. В шесть за мной придет машина. А сейчас – спать!

Мужчины говорили только друг с другом, словно не замечая, что с ними за столом еще один человек. Мама Даша молча следила за разговором: похоже, и для нее предложение стар-

шего Скворцова стало совершенной неожиданностью.

– Мне кажется, это не тот случай, чтобы мальчика с собой брать, – осторожно попробовала она возразить. – Стоит ли, Алексей? Может, в другой раз?

– Как же не стоит? – удивился Скворцов. – Не тот случай? Да тот самый и есть. Посмотри, как я летаю.

Мама только удрученно вздохнула. Было очевидно, что знаменитый советский ас и ее муж уже принял решение, а в этом случае спорить с ним, она знала, нет никакого смысла.

Аэродром показался Коле сначала неправдоподобно огромным: взлетное поле без края, ангары, самолеты – наизготовку, совсем не похожие на те, что он видел дома у Таи, в любой момент способные сорваться с места, уйти в облака, а там и выше, выше.

Отчим препоручил его заботам механика – длиннющего, медлительного Сеньки. Сенька – субъект лет двадцати в серой аэродромной робе с множеством карманов (и из всех торчали какие-то гаечные ключи, всякие железные штучки-дрючки) – выглядел ненамного старше Николая. Не уставая следить за тем, что происходило в воздухе над аэродромом, он то и дело очень по-детски, по-ребячьи восторженно хлюпал носом.

– Вон, смотри, вон он, твой Скворцов! – рукой в грязной матерчатой перчатке указал Сенька на отчетливый крестик в небе, прямо над ними методично накручивавший очередную фигуру высшего пилотажа. – Бочку вертит. Как летает Алексей Дмитриевич, как летает! Душа радуется, как летает. Ас, что тут скажешь.

Летал майор действительно виртуозно, с блеском. Мертвые петли, бочки, горки, перевороты и виражи – один сложнейший элемент сменял другой. Что и говорить, летчик Скворцов был от бога. Впрочем, тогда, в тридцать пятом, когда все это происходило, такой комплимент считали бы сомнительным.

Конечно, со знанием дела оценить, насколько хорош его отчим в полете, Коля пока еще не мог. Он видел такое в первый раз и ни о чем не думал, просто любовался и дышал – глубоко, во все легкие. Воздухом аэродромным, насквозь пропахшим бензином и кожей, волей, простором, солнцем (оно то выходило из-за облаков, то вновь в них пряталось) и – небом.

Его больше всего поразило, что небо здесь было другим – не таким, как в городе. Ближе

к земле. Порой казалось, что оно начинается прямо от аэродрома, почти слито с ним. Стоит только вскочить в одну из крылатых машин цвета хаки, заставить ее хотя бы на пару метров приподняться над взлетной полосой, и небо откроется тебе, примет тебя, пустит к облакам, в такую синюю в этот ранний час неоглядную солнечную высь.

А люди какие! В шлемофонах и куртках, в щегольских командирских кожаных плащах и в потертых, щедро измазанных мазутом комбинезонах, в кителях «с иголки» и ношеных гимнастерках – все они вместе и каждый в отдельности делали что-то большое и важное, что только угадывалось за четким, чеканным строем приказов и действий, единства слова и дела. И все они, чудилось Коле, герои. Не из книг, а настоящие, живые. И его отчим – один из них. Герой, орденносец. Николай так был очарован этим, новым для него, поднебесным миром, что даже хлюпающий носом Сенька-механик, весь в карманах и ключах, показался ему в тот день едва ли не небожителем.

Ему тогда впервые – он запомнил это отчетливо и остро – захотелось туда, в небо. Захотелось до жути, до рези в горле, до того, что дышать стало трудно.

Комиссия совещалась недолго, отобрала для военно-воздушного праздника двоих – Скворцова и одного из его друзей, еще по летной школе.

– Ну что, Николай, всё путем у нас. Летаем! – спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся, сказал отчим, когда вернулся от руководства. Он уже сменил летное снаряжение на майорский китель и плащ, а на согнутой в локте руке держал кожаную куртку – точно такую же, в какой сегодня летал.

– Поехали маму порадуем? – спросил Скворцов. А после веселого Колиного «Поехали!» протянул тому куртку, что держал на руке: – Да, это тебе. Старая моя подруженька.

С улыбкой, почти с нежностью, которая, казалось, ему совершенно не свойственна, следил ас за тем, как Николай несмело, волнуясь, примеряет летчицкое облачение. Потом сам поправил ему воротник, застегнул реглан на несколько пуговиц, на шаг отошел, чтобы полюбоваться на младшего со стороны. Увиденным остался доволен. Потом достал из кармана пилотку с винтом между крыльями вместо кокарды и, поправив взлохмаченные ветром мальчи-

шечьи волосы, аккуратно утвердил ее на русой Колиной голове.

– Вот так, пожалуй, будет совсем хорошо, – сказал он по обыкновению громко, с улыбкой.

– Прям орел! – подтвердил наблюдавший за всем этим незнакомый летчик.

Механик Сенька от комментариев воздержался, лишь одобрительно, хоть и не без некоторой зависти шмыгнул носом.

– Летчик! – довольно согласился со всем, что было сказано и не сказано, Скворцов. И повторил убежденно: – Летчик!

Когда они вернулись домой, Николай, находясь мысленно все еще в нескольких шагах от легкокрылых машин, на взлетной площадке, сразу за которой начиналось небо, сказал матери – серьезно и твердо:

– Я хочу летать, мама!

Отчим рассмеялся – громко, свободно. А вот мать его радости не разделила: нахмурилась, долго и внимательно, ничего не говоря, смотрела на Скворцова. Николай знал этот взгляд. Мама порой посмотрит так вот – без слов, и не по себе становится. Уж лучше б ругалась.

Летчик глаз не отводил, не прятал – все той же спокойной уверенной улыбкой светился, будто так же, без слов, говорил-увещевал: «Да всё ведь в порядке, Даша. Полет нормальный!»

Николай тогда впервые вступился за человека, который долгое время их жизни в одной квартире оставался для него чужим:

– Мама, дядя Леша тут ни при чем. Это я хочу. И хочу, и буду!

А мама Даша... Она неожиданно, возможно, даже для себя самой, сказала так, как никогда прежде не говорила, объединив своих мужчин – сына и мужа – в одно целое, поставив их рядом:

– Страшно мне за вас, мальчики...

А потом, пряча глаза, подошла к ним. Они все еще стояли в прихожей, оба – в коже, в летных куртках. Мама притянула их к себе, обняла – обоих.

Таких любимых, таких родных.

Отчима, к тому времени уже командира авиакорпуса, арестовали и расстреляли в тридцать девятом, когда Николай заканчивал второй курс авиационного училища в Саратовской области. На следующий день взяли маму. Об этом ему написала Тая Смелкова. Она узнала о случившемся от отца и сразу же написала.

«Как же давно не было от нее писем, – подумал Скворцов. Тая писала ему и тогда, когда

он учился в училище. Писала и позже, когда он уже был здесь, на Севере. – Что там сейчас в Ленинграде?»

Кто-то осторожно тронул его за рукав летной куртки, подаренной Николаю когда-то человеком, которого он считал отцом:

– Товарищ лейтенант!

Скворцов вздрогнул – так это получилось неожиданно, резко обернулся. Большие голубые глаза, русые волосы, аккуратный носик, черный беретик с жестяной звездочкой – вот что он увидел сначала. Причем совсем рядом, расстояние от его, Колиного, лица до ее – встревоженного и чистого – ладонь, не больше. Девушка, видно, наклонилась к нему близко-близко, не ждала, что он так решительно и резко повернется.

Это была Санька – подавальщица из аэродромной столовой. Почти столкнувшись с Николаем (лицо в лицо!), она едва не вскрикнула, отстранилась, смущенно покраснела. Саша вообще легко краснела. Летчики это быстро подметили и нет-нет да и подшучивали над ее робостью, что в профессии, которая любит расторопных и бойких, только мешало. Немножко нескладная, она, кажется, самой себя стеснялась. Всего своего, еще девчоночьего, не женского, естества. Потому и с летчиками старалась быть подчеркнута серьезной, строгой, на шутки не откликалась, а если и общалась с ними, то исключительно в рамках штатного расписания, которое для Саши сводилось к простой формуле «подай-принеси». А тут вот подошла, сама заговорила. И, как водится, покраснела.

– Что вы, Саша, хотели? – сдерживаясь, чтоб не улыбнуться, спросил девушку Скворцов.

Саша, испуганная собственной смелостью, стояла и смотрела на него встревоженно и нежно. На вопрос лейтенанта долго не отвечала – так, будто язык проглотила. Наконец сказала тихонько, еле слышно:

– Вы меня простите, товарищ лейтенант... Я вас спросить хотела. Вы на обед не пришли. Девчонки спрашивают, может быть, покушаете? Мы разогреем. Специально.

– Не надо, Саша. Я что-то совсем сегодня есть не хочу.

Девушка грустно, с пониманием кивнула.

– А вы мороженое любите?

– Когда-то пломбир очень любил... – улыбнулся Николай. Он как-то сразу вспомнил вкусное ленинградское мороженое, морозно-сливочный его вкус, то, как хрустит вафельная ко-

рочка. «Когда ж я его в последний раз ел? В сороковом, на каникулах? Да, кажется. С Таей тогда праздновали встречу – в кафе зашли на Невском...»

– А хотите? – заговорщицки сощурившись, спросила Саша.

– Вы о чем? – почти обиженно удивился лейтенант. Хоть и не похоже это на нее, но уж не издевается ли над ним девчонка? Спросил: – Какой вам, рядовая, пломбир на фронтовом аэродроме? Сейчас его и в Москве-то нет, не до пломбира там.

– А вот такой... – девушка, отличив в голосе лейтенанта взыскательно-командирскую нотку, попыталась вытянуться во фронт и, робея, протянула ему поллитровую эмалированную кружку с чем-то белым, которую до этого держала за спиной. Скворцов по инерции взял кружку.

– Это что еще?

– Мороженое, – прошептала она жалко и с сомнением, будто сама не верила в то, что здесь, на войне, в нескольких километрах от фронта, может быть такой вот совершенно мирный продукт. – Оно из сливок сухих, их нам на доппаек давали. Мы с девчонками добавили туда снегу чистого, сахару, размешали хорошенько. И вот что получилось.

Саша выговорила все быстро-быстро, как из пулемета. И смолкла, будто словозапас у нее иссяк, ленты пулеметные, словами начиненные, кончились.

Николай тем временем, не спуская с нее глаз, спокойно взялся за торчавшую из кружки солдатскую ложку и, выудив с ее помощью немного белой смеси, попробовал. На вкус она оказалась необычной – в меру сладкой, водянистой, ничуть не напоминавшей то мороженое, которое он любил когда-то. И все равно отчего-то стало ему очень сладко, хорошо стало. Вспомнился Ленинград, простор и чистота его улиц, хоть и хожёных-перехожёных, но все равно бесконечных. Особенно в пору белых ночей.

– Вкусно... – произнес он совершенно искренне, с желанием.

– Вам правда понравилось? – всплеснув руками, совсем уж как алый мак раскрасневшись, смятенно спросила Санька.

– Мне-то понравилось... – медленно произнес Николай. Он пытался говорить строго, как только мог. Получалось, однако, не слишком хорошо. Уж очень милая была девушка Саша, Санька. Ну как с ней будешь строгим, официаль-

ным? Нравилась ему, двадцатилетнему лейтенанту, эта стеснительная рядовая. Что ж тут сделаешь? Однако он все еще пытался быть с ней командиром, поэтому сказал: – Повторяю, мне понравилось. Только я вот слышал, старшина Бобров, ваш старшина, никак в толк не возьмет, что это у него подчиненные без конца с большим горлом к фельдшеру бегают. Хорошо еще не с ангиной.

– Товарищ лейтенант! – она почти закричала – громко, встревоженно. А потом запричитала: – Вы только старшине ничего не говорите!

– Не скажу, – заверил девушку Скворцов. И улыбнулся. Почти так, как улыбался когда-то отчим – широко, свободно.

– Спасибо! – шумно выдохнула Саша и быстро, коротко поцеловала лейтенанта. Да не в щеку – в тонкие, капризные губы. И, совсем уж ошеломленная собственной смелостью, отвернулась, пошла, насколько могла скоро. Уходила от него все дальше и дальше, Скворцов же все смотрел ей вслед.

«А звездочку, должно быть, ребята-механики вырезали», – подумал он о ее беретике с неуставной звездочкой, не переставая улыбаться, безрассудно стараясь не терять все более удаляющуюся девушку из вида.

А над ними – и над подавальщицей Санькой, и над дежурными летчиками, что ждали своего вылета, и над механиками, встречающими очередную летную смену, и над отстраненным от боевой работы лейтенантом – над всей Ваенгой-1 уже теряло краски, неостановимо темнело вроде бы близкое, но такое для Николая по-прежнему далекое кольское небо.

– Летать – будешь! Не так уж много у меня летчиков, – заметил сурово Кузнецов. А потом, оглянувшись на троих стоящих в стороне офицеров, по петлицам – сухопутных интендантов, начальник авиации Северного флота добавил: – А пока... Старлей, ты, мне докладывали, по-английски можешь. Это правда?

– Так точно, товарищ адмирал.

– Проводишь товарищей. Московские корреспонденты. Они к англичанам, в авиакрыло. А потом – к вам, в полк.

Троица, которую лейтенанту пришлось сопровождать к англичанам, в общем, почти ничем не отличалась от тех репортеров, что доводилось ему встречать прежде. В полку, где служил

Сафонов, с тех пор, как Борис Феоктистыч сбил своего третьего, они были частые гости. Неугомонные, дотошные, интересующиеся сразу всем (как казалось порой со стороны – сущими пустяками). Эти, столичные, разве что потише были, поспокойнее.

Особенно Юрий – по виду строгий, хорошо воспитанный питерский интеллигент, вдумчивый, изъяснявшийся короткими фразами, точными и емкими. Второй – черноволосый беспокойный фотокор Миша, самый шумный из всей компании, суетливый. Впрочем, надо отдать должное, суетился и шумел он, только когда дело касалось работы – съемок, всего того, что могло им помочь или помешать. Тут уж ему угомону не было.

Третий невольный его спутник, которого товарищи звали Костей, Николаю не понравился. Почему так случилось, он бы, наверное, и сам объяснить не смог. Ну не пришелся ему по душе этот красивый, из-за черных усов и носа с горбинкой похожий на грузина корреспондент, и всё тут. Хоть он вроде бы и должен был располагать к себе: неторопливый, порой барственно вальяжный, но при этом – живой, улыбчивый, очень точный и в движениях, и в словах. Умные карие глаза – теплые, внимательные, но с легкой грустинкой.

Английского Костя не знал вовсе, однако с британцами нашел общий язык с ходу, почти не обращаясь за помощью к Николаю. К тому же завхоз крыла Ходсон, к которому они первым делом здесь заглянули, чуть-чуть говорил по-русски.

Видя такое дело, лейтенант, посчитав свою миссию исчерпанной, засобирался. Прощаясь, Николай откозырял, как ему показалось, главному из этой троицы – тому самому грузинистому Косте:

– Извините, служба...

Тот, впрочем, его не отпустил – попросил остаться до прихода переводчика:

– Вы же летчик. Вдруг что-нибудь уточнить нужно будет – название какое-нибудь или термин, – объяснил он свою просьбу. А потом, улыбнувшись, добавил: – Без вас, боюсь, не справимся.

– Ладно, но только до обеда, – согласился Николай. – Дальше – никак.

Англичане все, какна подбор, молодые и смешливые, все в серых штанах и теплых шерстяных куртках (и при этом, несмотря на непрерывный

ветер, в пилотках) – с удовольствием устроили московским гостям что-то вроде знакомства со своим гарнизоном. Показали всё, не стесняясь и ничего не пряча: от блиндажей, где живут, до взлетной полосы и самолетов. Николаю, видевшему все это не раз, было не слишком-то весело, а вот корреспонденты не скучали. Особенно фотокор, типичный – чернявый и дотошный – еврей, без устали снимавший британцев: и в блиндажах, и у их славных «харрикейнов», и играющих на летном поле в футбол.

А вот «грузина», как про себя окрестил горбоносого и усатого Николай, неожиданно заинтересовал пробковый щит в офицерском блиндаже, в который англичане, развлекаясь, бросали стрелы – маленькие, но с перышком-стабилизатором на хвосте.

– А это что? – спросил он у одного из стрелометателей – краснолицего, словно от выпитой перед дежурством рюмки рома, рыжего и дюжего (под два метра ростом) капитана.

– Дартс, – ответил тот с довольной улыбкой.

Не удовлетворившись ответом, гость обернулся к своему русскому спутнику.

– А игра такая – объяснил Николай. – Что-то вроде тира. Только со стрелами.

Верзила-капитан в громадной, как лопата, ладони с доверительной улыбкой протянул корреспонденту горсть стрел: мол, давай, парень, попробуй.

– Плиз! – дружелюбно промолвил он по-английски. А затем не без труда, растягивая слова, добавил уже по-русски: – То-вариш. По-жалуй-ста...

Весьма изящно, но очень неумело «грузин» принялся бросать стрелы в мишень. И едва ли не все – мимо, в «молоко». Неудачи обозлили репортера, заставили собраться. Он плотно сжал нервные, тонкие губы и принялся за дело с еще большим желанием, почти с остервенением запуская остро-перистые снаряды в цель. И ведь добился своего! Уже совсем скоро пущенная им стрела надежно легла в самый центр мишени. Хозяева приветствовали успех русского сдержанными аплодисментами.

Тут к ним как раз подошел унтер-офицер с виски и содовой, которые каждый наливал себе в крохотную рюмочку. Тридцать граммов – не больше. И эти тридцать еще полагалось разбавить. Непременно! Неразбавленной «огненную воду» пить воспрещалось.

Такую же крохотную рюмашку-мензурку с ромом поднесли и «грузину», дружно гаркнув при этом и без переводчика понятное: «Дринк!»

Костя, не поморщившись, опрокинул содержимое мензурки в рот, кивнул признательно: мол, хорошее дело. Англичане, может быть, не столь лихо, но сделали то же самое. А потом каждый привычно расписался в толстой конторской книге.

– А это-то зачем? Строгий учет? – поинтересовался корреспондент.

– Ром входит в бесплатный рацион, а виски – за свой счет, – объяснил капитан.

Николай перевел. «Грузин» непонимающе передернул плечами, а потом заулыбался – почти радостно, как от веселой шутки.

– Ты чего, Костя? – улыбаясь тоже, уже ожидая чего-то эдакого, от чего серьезным остаться трудно, спросил фотограф Миша.

– Да ничего, – не переставая белозубо посмеиваться, заговорил Константин. – Просто представил себе, что наши так-то вот расписываются. За каждые тридцать граммов.

Ответом говорящему был дружный хохот. Даже Николай не смог не улыбнуться. Он попробовал объяснить происшедшее англичанам, которые вежливо, никак не выражая своих чувств, наблюдали за русским весельем. Удалось это лишь отчасти. Над чем так смеялись русские, хозяева все равно не поняли.

– Да, мы знаем, вы пьете больше, – с высоты всего своего великанского роста мрачно кивнул Николаю верзила-капитан.

Однако не эти странные тридцать британских граммов вызвали самый большой восторг у столичной тройцы. Еще там имелись дивные самодельные кресла и диваны, что бритты у себя в дежурке соорудили из наших набитых сеном и трухой матрацев. И патефон – старенький, потертый такой, заслуженный. Недолго думая, на крутящийся его диск британцы тут же положили угольно-черную пластинку, и на весь блиндаж зазвучала песня на немецком. Удивительно нежный, завораживающий женский голос пел о далекой и любимой Лили Марлен. Пел о той, которая ждет.

– Это ж немцы слушают! – удивился Мишка-фотокор.

– Да, – согласился один из дежурных пилотов. – И мы тоже. Разве она плохо поет?

– Да по-немецки же! – пыхтя, как перегревшийся чайник, не унимался фотограф.

– Это Марлен Дитрих, – британец сказал это так, как говорят о чем-то, что не требует дополнительных пояснений, что очевидно само по себе. Для детей туманного Альбиона, видимо, так оно и было. Но не для советских граждан. Мишка недовольно пыхтел и фыркал еще долго, хотя больше – для порядка, чтоб знали господа союзники. По правде говоря, песня, голос этот, притягательный и зовущий, и его увлекли, даже несмотря на вражеский, столь ненавистный язык.

Лишь к обеду они дождались местного тощего, как жердь, толмача, Уорнера – субъекта из Интеллидженс сервис, даже не пытавшегося скрывать, что он из разведки. Николай обрадовался тому, что может наконец уйти. Не только оттого, что его утомила роль сопровождающего. Ему был неприятен этот Уорнер. Он помнил их первую встречу. Делегация англичан как раз приехала в полк поздравлять Сафонова со Звездой Героя. А Уорнер тогда с каким-то особенным осторожным вниманием приглядывался к нему, Николаю. Долго, пристально, словно в старого, но донельзя изменившегося знакомого всматривался. Коле показалось, что этот немолодой уже, болезненно худой человек хочет задать ему какой-то важный вопрос. И это не то чтобы всерьез его тревожило. Нет, конечно. Но все же видеть Уорнера ему было неприятно. Потому и спутников своих, и английское крыло он покинул насколько возможно быстро.

В Грязное, в самый знаменитый полк авиации Северного флота, корреспонденты – Мишка-фотокор и Константин – приехали следующим утром. Сафонова они не застали, разминулись с ним буквально на полчаса. Тот как на грех уехал к англичанам. Беседовали с лучшими – Коваленко и Сгибневым. Потом обедали в офицерской столовой полка. С Николаем раскланялись, как со старым знакомым. Журналисты остались до ужина, после которого командир вдруг попросил одного из гостей, Константина, почитать стихи. Попросил с неожиданным для Николая почтением. Тот не удивился. Но – отказал.

И тут послышалось негромкое:

– Костенька...

Мишка-фотокор произнес имя приятеля робко и смотрел на него хоть и настойчиво, упрямо, но снизу вверх – будто из-под стола выглядывал, жалостно так, просительно.

– Чего тебе? – недовольно обернулся к нему Константин.

– Костенька... – еще жалобнее, словно нищий на привозе, затаил Мишка. – Прочти «Жди меня».

– Отстань, – попробовал отмахнуться поэт.

– Ну, прочти! – не унимался Мишка. Сменив тактику, он стал доверительно-требовательным. Вместе с тем просил он так, как не просят, а умоляют – о чем-то безусловно необходимом, обязательном: – Костенька! Ну пожалуйста. Никто ж не слышал.

«Вот ведь чудо с камерой! – подумал Скворцов. – О стихах, как о хлебе просит».

А человек, которого просили, в ответ на Мишкины слова кивнул и замолчал. Молчал он несколько секунд, но пауза, как показалось Николаю, длилась бесконечно долго. За это время московский гость даже не переменялся, нет, он словно стал совсем другим: собранным, напряженно-звонким, как тишина, что повисла в землянке в этот час. И он начал читать. Не громко, скорее – тихо, и будто не к ним, усталым незнакомым людям в защитных гимнастерках, обращаясь, а к той, которой и были написаны эти строки:

*Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Жёлтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Изменив вчера.*

Он читал, мягко картавя, словно срезав букве «р» острые углы, читал твердо, но без актерства, на одной ноте, будто и впрямь с любимой, но далекой женщиной разговаривал. Да не он один со своей любимой в этот момент разговаривал – каждый из тех, кого собрала здесь, на краю земли, война. И каждое слово его – простое, без крика – звучало отчетливо и весомо, так, будто иных слов для тех, кто его слушал, вообще не было – только эти:

*Жди меня, и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: повезло!
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.*

Как позже рассказал Скворцову его механик, Сафонова убеждали отдать самолет Николаю одному из новичков – из молодого пополнения, только-только поступившего в полк. Комэск сурово повел черными густыми бровями, сказал:

– Незачем. Придет хозяин и полетит.

Так и случилось.

Вскоре Скворцова допустили к полетам. И в первом же после возвращения бою Николай открыл счет своим победам.

На приличной высоте – около трех тысяч метров – звеном из трех пар они шли вдоль линии фронта – обычное патрулирование. И к юго-востоку от озера Куык-Явр нежданно напоролась на «фрицев» – четверку Me-109. Те выпростались из облаков совсем близко, метрах в восьмистах – были ясно видны и их желтые носы, и черные консоли. С ходу, без раздумий, истребители ввязались в бой. Но прижать «стодевятые» не получилось – те зеркально разошлись на разные «этажи»: одна пара нырнула, резко ушла вниз, вторая дернула вверх. Вот за последними и уцепились Николай и его ведущий. И чуть не нарвались.

79

Откуда-то сверху, из-за облаков, вывалилась еще одна двойка «мессеров», которая до начала боя, видимо, таилась чуть в стороне. Пользуясь преимуществом в высоте и скорости, они атаковали пару командира звена Коваленко. Тот резко развернул пару вправо, из-за чего стервятники оказались между парой Коваленко и Николаем с его ведущим, которые на полных газах торопились на выручку командиру. Сблизившись метров до двухсот, Николай открыл огонь по одному из немцев. И, видимо, попал в летчика: «мессер» как-то неестественно задрал желтый нос, перевернулся на спину, перешел в пике, да так из него и не вышел – ухнул всей своей вражьей тушей в черную, бездонную тьму Баренцева моря.

Сколько прошло – секунды, минуты – Николай не понял, время в бою течет иначе, не так, как в обычной жизни. Но почти тут же откуда-то сзади донесся по-немецки педантичный голос чужого пулемета, мелькнула мысль: «В хвост зашел, гад!» Он обернулся: так и есть, «мессер» и впрямь болтался у него на хвосте, совсем рядом, готовый атаковать. Ручку управления – резко от себя, и послушная машина будто провалилась, ушла вниз. «Мессер» прошел прямо над

ним. Ручку на себя, и «мессер» в прицеле, огонь! Что там с ним, смотреть уже некогда, нужно найти своих. А сзади опять какая-то нехристь пристраивается, и еще одна горькая мысль: «Вот что значит отстать: последнего всегда больше бьют! Где же группа? Нашел!»

Они тогда счастливо отбились, вернулись на аэродром без потерь. Николай посадил свой «харрикейн», вырубил к капониру, выключил мотор, открыл фонарь и застыл – без движения. Поднял голову, посмотрел на небо, в которое недавно так хотел вернуться и в котором только что был. Такое ясное, чистое.

Подбежал механик, бережно, осторожно отстегнул привязные ремни, снял с плеч лямки парашюта. Что-то спросил, Коля не слышал – будто вата в ушах, глухота. Стянул с головы шлемофон, отдал механику.

Тот наклонился, закричал в самое ухо:

– Да он же мокрый насквозь!

Снял свою ушанку – маленькую, тесную – и с трудом напялил Николаю на голову. Довольный сделанным, хмыкнул удовлетворенно:

– Вот так. А то простудитесь.

Тем же вечером после ужина к нему подошел Люлюкаев. Насупленно хмурясь, сказал осторожно – тихонько и быстро, будто таясь кого-то:

– Товарищ лейтенант....

– Чего тебе, Люлюкаев?

Тот помолчал, помялся, пожевал губы неровными прокуренными зубами, а потом промолвил:

– Мне тут робята порассказали...

Сказал и снова замолчал. Видеть таким нерешительным этого весельчака и говоруна было в новость.

– Мне робята рассказали про бой ваш, – заговорил он вновь, теперь уже торопясь, словно опасался, что прервут, не дадут досказать. – В красках рассказали. Про то, как вы их там, – толстым и черным от насмерть въевшейся смазки перстом Люлюкаев указал на небо, – гоняли...

Он опять смолк. Как показалось Николаю, уже намеренно, выдерживая актерскую паузу, чтоб привлечь особое внимание к тому, что так долго готовился произнести.

– Да что такое-то, Семеныч? – усмехнулся Николай.

– Так ить, товарищ лейтенант, – лукаво поскверкивая карими насмешливыми глазами начал Люлюкаев доверительно. И продолжил: – Думаю, не прав Илья-то апостол. Не пустют вас в рай. Никак не пустют.

Дружный, могучий хохот почти начисто заглушил последние его слова. Но Николай все-таки расслышал то, что с доброй улыбкой сказал казак:

– Летчиков в рай не пускают.

Продолжение следует



**Елена
ЗАСЛАВСКАЯ**
СМЕРТИ НЕТ



РУКОПОЖАТИЕ

Шрам на руке твоей.
Как же смотреть мне больно!
«Взгляд отводить не смей!»,
Но я отвожу невольно.
Глаз твоих мёд и медь.
Нет в них ни страха, ни муки.
В них отражалась смерть,
Твою пожимая руку.

Полегли под Спорным...
Живи – не забывай!
Выжил только взводный
Коля-Николай.
В больничном коридоре
Говорили с ним:
Полегли под Спорным.
Выжил я один.
Взяли мы опорник
Дорогой ценой.
Николай Угодник,
Спасибо, что живой.
Гроб, покрытый знаменем,
И прощальный залп...
Не забыть глаза мне.
Матери глаза.

57

Сквозь тьмы мазут:
«Нас всех убьют!»
В небесный град
Идёт солдат.
Идёт на свет –
Ценой побед.
Идёт на смерть.
И стонет степь.
– Давай-ка, Ангел, подсвети!
– А где твои?
– Ещё в пути!

Когда деревья умирают на войне,
Разбитые снарядами от пушек,
Когда сгорают в адовом огне,
Куда уходят призрачные души?

Их души попадают в райский сад,
Где соловьи поют и днём, и ночью,
Они летят, они туда летят
И прорастают в солнечную почву.

Никто ту землю потом не польёт,
Никто ту землю не польёт слезами

ЗАСЛАВСКАЯ Елена Александровна родилась в 1977 г. в г. Лисичанске. Поэт, член Союза писателей России, лауреат премии «Моя Россия» в номинации «Современная поэзия» (2024), финалист Национальной литературной премии «Слово» (2024). Автор двенадцати поэтических сборников и поэмы «Новороссия гроз. Новороссия грёз». На стихи Елены Заславской написаны песни московской рок-группы «Зверобой», которые вошли в альбомы группы: «Война за мир» (2017), «Родина» (2018), «Русская весна» (2021), «Добрый знак» (2024). Стихи Елены Заславской переведены на немецкий, французский, испанский, английский, литовский и болгарский языки. Живёт в г. Луганске

За то, что в ней лежит который год
Однополчанин с синими глазами!

И соловей в растрёпанной листве,
Хоть будет тьохкать, но без той
печали,

Что всем понятна русским на земле,
Которые здесь жили и мечтали.

СОЛОВЕЙ

Пыльная акация.
У её ветвей
Щебетал по рации
Ванька-Соловей:
«Срисовал две цели я
И немецкий танк,
Чтоб мы лучше целились,
Чем наш хитрый враг.
Заряжайте, братики,
Стальные огурцы,
Весело шарахните
Пушкой «Гиацинт».
Ловят пусть укропчики
Славный наш привет.
Эй, сдавайтесь, хлопчики!
Вариантов – нет!
Малость постараться нам,
Сразу был бы толк».
Замолчала рация,
Соловей умолк.
Вражеская птичка
Подбила Соловья.
Скрыла пограничника
Матушка-земля.
Сводка. Не предание.
Хроника и быль.
– Целься! Попадание!
Оседает пыль!

52

Не рыдай Мене, Мати,
Я за други погиб.
Я в последнем объятьи
К первым травам приник.

Свет земной благодати
Напоследок узрел.
Не рыдай Мене, Мати.
Сам свой выбрал удел.

На груди моей раны.
Лик мой светел и свят.
Сын весны-несмеяны –
Безымянный солдат.

Ты носила во чреве.
Ты вила колыбель.
Нынче саваном белым
Укрывает апрель.

Отцветающих яблонь
Облетающий цвет...
Не рыдай Мене, Мати!
Смерти нет.
Смерти нет.

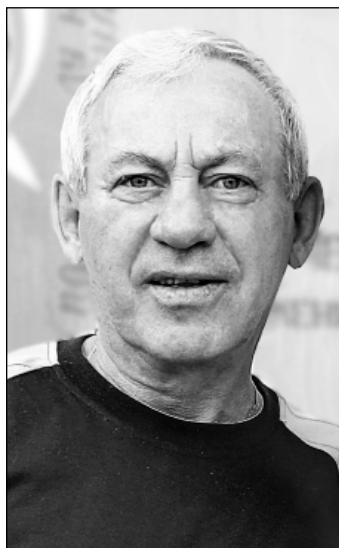
Вереска сиреневые всплески
На седых от времени камнях.
Солнце, алый поплавок на леске,
Медленно танцует на волнах.

Может, это знак? Но что он значит?
Что сокрыто в тёмной бездне вод?
Хочется узнать мне: кто рыбачит?
Хочется уплыть за горизонт!



**Александр
РАЕВСКИЙ**

ВАТНИКИ И ВАЛЕНКИ



МАЙ 1945 Г.

*Всё!.. Кто выжил, те в свой дом
Придут не похоронками.
Твердь усеяна кругом
Гильзами, воронками...*

*Мир настал – сойти с ума!..
Что ж, начнём жить заново!
...Дым. Рейхстаг. Цветущий май,
«Валенки» Руслановой.*

*Реет выше синевы
Знамя то – нетленное!
И бредут по мостовым
Те – военнопленные...*

*Вновь Европе на года
Не тлеть на наковаленке;
Победили – как всегда! –
Ватники и валенки.*

УТРО ПОБЕДЫ

*Тётя Варя отстряпалась рано.
Скоро десять. Весна на земле.
Пламенеет открытка в герани,
И бутылка светла на столе.*

*Дядька спит. Папиросы на стуле.
(Видно, часто вставал старшина).
Над столицей куранты проснулись...
Над Европой туман. Тишина...*

ВЕЧНАЯ МЕДСЕСТРА

*В тот безымянный час войны,
Пшеничной копотью пропахший,
В своих деяньях не вольны,
Как две взбесившихся волны,
Схлестнулись люди в рукопашной.
Такая выпала судьба
Им, сотне потных и здоровых...
Задохлась в топоте стрельба,
И хряск сырой смешался с рёвом!
Лопаткой,
Пулей,
Кулаком,
Зубами,
Лезвием,
Прикладом!..
Фашист, пропоротый штыком,
Блевал, согнувшись,
Долго падал...
Тускнела кровь в пыли утра,
Земля избитая дрожала,*

53

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич родился в 1951 году в с. Алабуга Новосибирской области. Служил в армии на территории бывшей Германской Демократической Республики. Работал директором сельского Дома культуры, учителем рисования, частным охранником. 20 лет прослужил в пожарной охране МВД, капитан в отставке. Окончил Новокузнецкий педагогический институт, Иркутское пожарно-техническое училище. Публиковался в центральных, региональных, областных журналах и газетах, в общих сборниках. Автор семи поэтических книг. Лауреат премии журнала «Наш современник». Член Союза писателей России. Живёт в г. Новокузнецке.

*И медицинская сестра,
Объята ужасом, бежала...
Хватая воздух чёрным ртом,
Кричала в страхе и обиде,
В семнадцать лет увидев то,
Что человек не должен видеть.
Она бежала по стерне,
Порастеряв бинты и вату...
Так и осталась в той войне –
Худой, безумной и косматой.
Один лишь бой.
Но той поры
Ей на века уже хватило,
И к званию вечной медсестры
Она себя приговорила.*

*...Десятки вёсен позади.
Июнь за форточкой бунтует!
В палате женщина сидит,
Всё куклам головы бинтует...*

*Утят скликала уточка,
Когда пришла война.
Строгал дед внуку дудочку,
Кому теперь нужна?*

*Весёлый ас из Дрездена
Над хутором провыл –
И вот уж хутор вдребезги,
А дед без головы.
А внук – крови лишь чуточку –
Лежит, как будто спит.
Косматый ветер в дудочку
Свистит, свистит, свистит...*



**Дарья
ВЕРЯСОВА**

Я НЕ УМРУ

МОНОПЬЕСА



В середине сцены на лавке сидит очень юная босоногая девушка. Ее волосы коротко острижены.

Пространство вокруг походит то ли на бедную комнату деревенского дома, то ли на сарай. Время от времени снаружи доносится стук топора и молотка, будто кто-то что-то строит.

Не пылит дорога, не дрожат листья, погоди немного, отдохнешь и ты... Что, нравится? Мне говорили, что я превосходно читаю Гёте. *(Улыбается, закрывает глаза и снова серьезна.)* Я запомнила запах смерти. Однажды она подошла вплотную и дышала мне в лицо. Терпеть не могу, когда на меня дышат живые люди, а тут не абы кто – смерть! Воздух такой теплый и резиновый, им кто-то уже дышал. От этого воздуха разболелась голова, но я думала, что все пройдет само, надо только отвлечься. Вернулась из школы, взялась за уборку. У нас очень маленькая комнатка: моя кровать, мамин диван, шкаф да стол. Для этажерки с книгами кое-как нашли уголок. Не развернешься. Мы втроем с мамой и братом, только мама всегда на работе. А брат сразу из школы поехал в свой кружок юных художников при музее. Шура чудесно рисует! У

него большое будущее, так все говорят. Его картины в нашем классе повесили. Точнее, это не картины, а иллюстрации к «Мертвым душам», но какая разница? Из других классов приходят любоваться, – так талантливо нарисовано. Шура и меня много рисовал. Я ведь терпеливая, умею молчать. Знал бы он, как хорошо я умею молчать. *(В сторону.)* Ну, уж ты-то это понял! Как хорошо, что ты не понимаешь по-русски...

Слышится стук топоров, будто что-то сколачивают.

Нет, не надо об этом, надо думать о другом, совсем другом. Шуры не было дома, и я сама принесла воды от колонки, затащила ведро на второй этаж. Наклонилась с тряпкой. Вдруг все закружилось, двоиться стало, потом потемнело. И вдруг грохот, вроде бы упало что-то тяжелое на пол, и я лежу, понимаю, что этим тяжелым было мое собственное тело, это оно упало. И всё исчезает.

Открываю глаза, где я, что со мной – не понимаю. Матрас под спиной бугристый, не такой,

ВЕРЯСОВА Дарья Евгеньевна родилась в Норильске в 1985 году. Подростком переехала в Абакан. Жила в Красноярске, училась в Красноярском государственном университете, окончила Литературный институт в Москве (семинар О. Николаевой). Работала журналистом, руководителем литературно-драматической части в театре. Публиковалась в журналах: «День и ночь», «Октябрь», «Волга», «Дружба народов», альманахах: «Новый Енисейский литератор», «Пятью пять», «Илья». Автор нескольких книг стихов и книги прозы «Великий Пост. Дневник неопита». В декабре 2013 и феврале 2014 гг. ездила в Киев, а в 2017 году – в Донбасс «для того, чтобы собственными глазами увидеть и оценить происходящее». Живёт в Абакане.

как дома. И потолок – беленый, не деревянный с привычными пятнами. От сучков на досках такие круглые коричневые срезы остаются, я на них всё детство любовалась. Так они мне нравились! Казалось, что это шоколад, я его однажды пробовала выковырять из потолка. Поставила на стол табуретку и залезла. До кружка не дотянулась, а палец занозила и едва не кувыркнулась с той табуретки. Так глубоко занозила, что даже иголкой не выковыряла. Щепка большая была, чуть не с полпальца, дергаю ее, пыхчу, слезы наворачиваются, да только еще глубже загоняю. Потом папа пришел, пинцетом занозу выдернул и спиртом прижиг. И такое было облегчение, что палец не воспалится, гангрены не будет и руку не отрежут! Глупо, да? Я с детства гангрены боялась. У бабушки в селе жил калека, на Гражданской войне ноги потерял. Белые его ранили, и он в снегу пролежал несколько дней, пока свои не подобрали. Он был добрый, этот калека, только очень уж пил. Дедушка держал винную лавку, и к нам соседи часто захаживали. И этот калека на деревяшке с колесиками то и дело к крыльцу подъезжал. Всё детство я на него пялилась, очень боялась, что когда-нибудь тоже без ног останусь... *(Гладит себя по ногам.)* Ноги мои, ноги, бедные мои ноги, несчастные... Дедушка жалел его, наливал стаканчик за просто так. Тот захмелеет да и уснет прямо под забором. Не ругался, не кричал, а тихо засыпал под забором. Я все думала: почему он пьет? А бабушка сказала, что врачи его избавили от двух гангреной разом: от болезни в ногах и от жены. Не захотела та с инвалидом жить, сбежала в город. И вот доживает он свой век, а смысла не видит. Разве что бог его быстрее из-за вина приберет, бог, он к убогим добрый. Бабушка моя богу верит и в церковь ходит. У нас церковь в селе деревянная, высокая. Колокол далеко слышно.

Мне тогда в больнице показалось, что я этот колокол слышу. Наверное, в ушах гудело от лекарств, но мне правда показалось, что колокол. В комнате темно, а потолок белый-белый, чуть не сияет. И будто манит к себе, как тот рай, который бабушка описывала. Кажется, поднимешься к этому потолку, прижмешься к нему телом, впитаешься вся в него, а душа насквозь полетит. Высоко-высоко, на небо! И от этого понимания дух захватывает и плакать хочется. Страшно ведь лететь: а что там наверху? Вдруг и правда никакого бога нет, ведь пишут в газетах, что его нет, и учителя в школе так говорят, а я сейчас

умру, и никто не вспомнит о том, что жила такая девочка на земле!

Только я не заплакала, я от потолка отвернулась. Ну как отвернулась? Глаза скосила, чтобы не видеть белизны и не рвануться к ней. Смотрю: окно сбоку, а не в головах, как дома было. Фонарь уличный видно, белый снег под ним вьется. А на столе рядом с кроватью никелированный ящичек блестит. Ну, такой, для шприцев. Я смотрю на этот ящичек и вдруг понимаю, что это всего лишь больница, и такое облегчение, что я не умерла, и, наверное, теперь совсем никогда не умру, буду жить долго-долго, лет до ста! Спокойно стало, нестрашно. Я глаза закрыла и снова провалилась в пустоту.

А потом игра в догонялки началась: то вынырну в реальность, то опять в какой-то кисель упаду. А кисель горячий, липкий, так запросто из себя не выпустит! Ворочаюсь в нем, кувыркаюсь, как акробаты в цирке, а выдернуть себя из киселя не могу. Лица какие-то мелькают. Даже не лица, а глаза между марлевыми повязками и белыми шапочками. Они меня переворачивают, обтирают водой, что-то горькое вливают в рот, втыкают иглы в позвоночник, и я стараюсь не кричать, но какая же это боль! Она прямо по скелету в руки бежит, в ноги. Как электричество по проводам или вода по трубам. Как будто только ради боли и сделано мое тело. И так всё долго, целую вечность! А потом резко – темнота, и сквозь нее яркие звезды, и я лечу между ними, то набирая скорость, то замедляясь.

Но однажды я окончательно пришла в себя. Вот так – раз! – и поняла, что сознание мне подчиняется, и я могу не просто скосить глаза, а еще и повернуть голову в сторону окна. И понимаю, что палата общая, а не бокс, значит, теперь-то уж точно иду на поправку. И больно мне больше не будет. Дурочка... Кабы знала, какая она бывает – боль. Ноги мои, ноги, бедные мои... *(Встряхивает головой.)* Нет, всё правильно. Знала, на что иду. Присягу принимала, как настоящая красноармеец. *(С вызовом.)* Да, красноармеец! Если бы еще раз спросили: пойдешь на задание? Я бы не думала, я бы пошла. Жалко, что задания не выполнила... *(В сторону.)* Живые вы остались, вот что жалко. Да и маму жалко.

Когда ее пустили ко мне в больницу... Такое у нее было несчастное лицо, как будто она совсем не спала с тех пор, как я заболела. А я ведь почти месяц между тем и этим светом

пробегала. Никак не могла определиться, на каком остаться. Это врачи так говорили, а я-то помнила сияющий потолок и как в сторону от-вернулась. Только мама об этом не знала, боялась за мою жизнь. Менингит с осложнениями – не шутка! Она ведь, когда пришла меня навестить, медсестра просит ее подождать, мол, сейчас доктор выйдет, а мама вспоминает, что вот так же было, когда отец умер. Наш отец, наш папа. Ее тоже просили подождать доктора, а она до последнего не понимала, что всё, она теперь вдова. А про меня услышала, что доктор выйдет, и чуть сознание не потеряла. И мне так стало стыдно, что заставила ее волноваться. Как будто это не болезнь, а именно я виновата в том, что чуть было не ушла следом за папой. Мама села рядом с кроватью, взяла мою руку, прижала к своей щеке. У нее слеза из глаза прямо по моей ладони катится и до локтя скользит. Одна, другая... Щекотно. Кап! Кап! И руку убрать не могу, потому что маму жалко, да и шевелюсь с трудом, голова вросла в подушку, не поднять. Напрягаю все силы, шепчу: не надо плакать, мне лучше. А звук такой слабенький, как будто сквозь вату идет. Мама от этого звука еще сильнее плачет. Сдержанная строгая мама, слова ласкового не дождешься, – и вдруг у нее губы кривятся, не слушаются. Ты, говорит, молодец, что выжила. Так и сказала: молодец! Я сама чуть не разрыдалась, хоть и без сил была. Мама, милая моя, хорошая! Успокоилась немного, говорит, очень они с Шуриком переживали, измучились оба. Дома холодно, но удалось достать дрова. Сосед опять ругается с женой, Шурка почти перестал вечерами играть в футбол с мальчишками. Вместо этого готовит обед и делает уборку. Это он так меня пытается заменить. Совестно ему, поди, что не помог мне в тот день, а на кружок поехал... У него всегда причины находятся, чтобы не заниматься бабьими делами. Это он так говорит: бабье дело. А какое же это бабье дело, если ты и сам в этой комнате пол топчешь? Трудно, что ли, пыль протереть или посуду сполоснуть? Он, наверное, думал, что я вечно за ним ухаживать буду. Потом приходил ко мне в больницу, ластился, как будто извинялся. Всегда он так: сначала наделает ошибок, а потом прощения просит. Нет бы сразу набело жить, без ошибок. Мало у кого получается, да, но ведь можно к этому стремиться! Жить без ошибок. Глупый Шурка! Глупый, глупый!

Слышится звук топоров, будто что-то сколачивают. Девушка прислушивается, закрывает уши руками.

Ах, Шурка, дорогой мой брат. Маленький мой человек. Знал бы ты, что со мной, ведь побежал бы на выручку, как в детстве. Малышами в селе играли в прятки, я то в стог заруюсь, то за куст спрячусь. Ловко так, никто найти не мог, а мне всё видно. Дождусь, пока голящий отойдет подальше, и бегу со всех ног к стенке застучаться. Выигрывала всегда. А сейчас саму застукали. И не убежать. *(В сторону, с издевкой в голосе.)* Что, сидишь, охраняешь? Погоди немного, отдохнешь и ты...

Шурка, дорогой Шурка. Пока я болела, он набрал чертежной работы, сидел с ней до поздней ночи, а иногда и по утрам чертил, до ухода в школу. Встанет ни свет ни заря, лампу зажжет, нашумит, маме выспаться не даст. Он хоть и пытается осторожно, а одно слово – медведь! Неповоротливый. Что не свернет, то разломает. Но чертежи у него хорошие получаются, верные. Сразу видно, что художник, глаз – алмаз. Наш дядя служит в Институте картографии, он и придумал, чтобы мы с братом чертежи копировали и хоть немного заработать могли. Шурка сначала на дыбы встал, не стерпел, чтобы им командовали. А когда уж я взялась за готовальню, решил, что этот удар по самолюбию сильнее будет. Он ведь единственный мужчина в семье, а окажется единственным трутнем. Смешно! До ужаса он самолюбивый, ни за что не позволит нам с мамой его задарма кормить. Мамочка у нас учитель. Она хороший учитель, строгий, требовательный. Мы в подготовительном классе у нее были целый год. Как вспомню!.. Шурка не слушался, шалил на уроках, она на нас сердилась, могла сутками с нами не разговаривать. Воспитывала так. Один папа ее мог успокоить и с нами помирить. Только после папиной смерти оказалось, что и мирить нас некому, и на одну учительскую зарплату с детьми не прожить. Тогда она устроилась на завод, там побольше платили. Учитель – и на завод! Мел поменяла на мазут, платье на рабочий фартук. Уставала сильно. *(Машет рукой.)* А! После смерти отца вообще всё кувырком пошло. Он был бухгалтером в Тимирязевской академии. Квартиру ему как сотруднику давали, и только похороны прошли, а нас уже пытаются выселить. До прокурора дело дошло, и он запретил

нас трогать. Я слышала, как мама соседке про это говорила. А квартира эта... Конечно, и похуже люди живут, но ведь трое в одной малюсенькой комнате... Да и постройка такая, что дунь-плюнь – и развалится, зимой всё тепло в щели выдувает, не протопишь. Вот у дяди Сережи хорошая комната, просторная и теплая, в Замоскворечье. Даже ванная в квартире есть, можно в баню не ходить. Член Союза писателей в соседях, критик Манников. Я, правда, ничего у него не читала, но, говорят, известный. Надменный такой, толстый, на крупного жука похож. Однажды поймал меня в коридоре, мы в гостях у дяди Сережи были, в углу зажал и начал выпрашивать, над чем мы смеемся, да что дядя Сережа про свой институт рассказывает. И в лицо дышит тяжело так. А я не могу, когда мне дышат в лицо, тошнить начинает, я перепугалась, как закричу: «Мама!» Она прибежала, схватила меня за руку и в комнату утащила. Отругала потом, а за что, я так и не поняла. С тех пор дядя Сережа сам к нам ездит, в гости не зовет. А жалко, у него хорошая комната. И до Кремля рукой подать. Хоть каждый вечер гуляй по Александровскому саду. Там, наверное, и Сталина можно встретить. Говорят, что он так и не уехал из Москвы, когда Правительство эвакуировали. Он не бросил нас: ни меня, ни маму, ни Шурку не предал. И я его не предала. *(Громко.)* Ваш офицер вчера спросил, где Сталин. И тогда я, наконец, ответила. Я сказала, что Сталин на своем посту. Если бы я отвечала на другие вопросы, может быть, вы бы меня пощадили. Сохранили мне жизнь. *(Смеется.)* Разрешили бы мне дышать! Выдали бы удостоверение, что я имею право жить! Подпись, печать. Действительно, пока не помрешь! Я бы, может, и не выдержала, заговорила, только как потом на себя в зеркало смотреть? Не смогу. Оказалось, что отвращение сильнее боли. Оно дает силы терпеть самую страшную боль. Ведь как мучили, но даже имени моего не узнали. Нет, вы не люди, теперь я точно знаю, что вы не люди. Я когда на первом задании немца вдали увидела, чуть старше тебя, думала, не выдержу, брошусь на него, душить буду, грызть буду, лишь бы не смел он ходить по нашей земле. Потом опомнилась: ведь человек, как можно? А вы не люди. Вы насекомые, которые решили захватить мир. Вас травить надо, бить, жечь! Выкуривать из теплых щелей на мороз! Что, не нравится? Что ты смотришь, ну, пристрели меня, ну! Нельзя? Приказа такого нет? *(Смеется.)* Тогда терпи, вошь!

У нас в части был парень Курт – сын немецкого интернационалиста. Они бежали из Германии, когда там у вас всё началось, им грозила гибель. Концлагерь или смерть. Ну что рассказывать, ты лучше меня знаешь, хоть и не понимаешь ни черта... Курт вырос в нашей стране, говорил по-русски, но ведь все равно он оставался немцем. Я долго ему не доверяла: как может немец воевать против своих же, да еще и в партизанском отряде? Наверняка предаст! Однажды не вытерпела, спросила. Он не обиделся. Объяснил, что воюет не против немцев, а против гитлеровцев. Таких, как ты. Сказал, что любит Германию и хочет вернуться туда после ее освобождения от нацистов. Курт погиб на задании, прикрывая отход товарищей. Он был настоящим немцем и погиб в бою. Он – настоящий немец, а ты... Что ты забыл на русской земле? Ты даже языка нашего не знаешь, зачем ты сюда пришел? Девушка из нашей части попала в расположение немецкого штаба. Ее изнасиловали и заразили дурной болезнью. Она стала вся поблекшая, отрешенная. Но ненавидела она вас крепко. До самой смерти. На задании ставила мину на шоссе, обеими руками разгребала землю, а капсуль зажала в зубах. То ли ворона каркнула, то ли шумнул кто-то, только она от неожиданности зубы сжала. Капсуль взорвался. Красивая такая была девушка, голубоглазая брюнетка. Приметная очень. Мне тоже командир однажды сказал, что я очень красивая, он потому не хотел брать меня в часть. Не хотел рисковать моей жизнью, чтобы не пропала зря. Нам ведь говорили, что мы все погибнем. Когда нас брали в часть, мы все клялись умереть с честью. Но мы же не знали, что это так страшно и так больно – умирать. Что мы могли знать о смерти? О ваших пытках? Как потомки Шиллера и Гёте умеют вырывать ногти и пилить живого человека пилой? Великая нация!

Стук топоров, девушка прислушивается.

Не пылит дорога, не дрожат листья, погоди немного, отдохнешь и ты... Нравится? Мне говорили, что я превосходно читаю Гёте. А свои стихи я не показывала никому. Втайне мечтала, что буду печататься в центральной прессе. Но подписывать стихи буду не полным именем, а инициалами: «З. К.» – чтобы все читали, восхищались и даже не подозревали, что это я, девочка-соседка или одноклассница. Однажды с Шуркой поделилась мечтой, а он ответил, что таких ээка

у нас в стране миллион. Я сразу не поняла, о чем он, а когда догадалась, то так разозлилась! Хотела ему проработку устроить, а он уже умчался на футбол. Глупый, несознательный Шурка! Разве это шутки?!

Я, когда стала вожатой у пятиклашек, ездила на Чистые пруды в Дом пионеров в методический кабинет. Конечно, мечтала я вовсе не об этом кабинете, а о литературном кружке. В тот день было заседание литкружка, я об этом знала и поехала в Дом пионеров сразу после школы. У меня была тетрадка с переписанными на бело стихами. Я представляла, как встаю перед ребятами и читаю:

*Пришла ночь, свежесть подула.
Горы и поля – всё уснуло.
Только мы идём по дороге,
Но осталось совсем немного.*

*Птицы в лесу не кричат,
Деревья тоже молчат.
Если когда-нибудь окончим мы путь,
То сможем потом отдохнуть.*

Чем дальше я повторяла про себя строчки, тем страшнее мне становилось. Я так ярко представляла, как всё будет... Глаза ребят, лицо водителя. Понравится им или нет? Поймут ли? Ведь это не какие-нибудь любовные глупости, здесь такой глубокий философский подтекст. Ну то есть, если со стороны смотреть, то подтекст, а так это про нас с папой, это мы вдвоем идем по дороге. Но ведь хорошие стихи, да? Они непременно должны всем понравиться! А вдруг я сама им не понравлюсь? И меня не захотят принять в кружок? Это будет не просто унизительно, а еще хуже! Ведь взяли Шурку в художники, а я, получится, бездарнее младшего брата? (*Качает головой.*) Было морозно. Я проехала от Коптева до Кировских ворот трамваем и сильно продрогла, но еще полчаса ходила около крыльца, не решаясь зайти, потому что там внутри пришлось бы поворачивать не направо – в административный коридор, а налево, к лестнице, а потом на второй этаж, где занимались кружки. Придется объяснять, просить, декламировать, а вдруг стихи не понравятся? Ой, как было страшно! Как было холодно! Я ходила взад и вперед, не смея ни на что решиться, а потом подошла к двери, рванула на себя ручку... и повернула направо – к методическому кабинету.

Слышишь, фашист? Я струсилась. Я предала свои стихи. Смешно сейчас об этом вспоминать. Тогда я решила, что недостойна быть поэтом, раз так легко предаю свое творчество. Вернулась домой, и сожгла в печке тетрадку со стихами, и вытрясла все строчки из головы. Только вот это стихотворение, как ни старалась, не забыла. Про ночь и дорогу. Про папу. Он ведь тоже писал стихи, это дядя Сережа мне рассказал. Только ничего не сохранилось, мама куда-то все спрятала, а может, тоже сожгла, я не спрашивала. Я боюсь с ней про папу говорить, у нее сразу лицо становится каменное, да и вся она становится каменная, замолкает. Вот с дядей Сережей можно, он интересно рассказывает. Они же все из одного села: и мама с дядей Сережей, и папа. Село далекое, под Тамбовом. А оказались все в разных концах Москвы. (*Вздыхает.*) Жил бы наш папа, так ему бы, наверное, другую квартиру дали со временем. Нет-нет, мне-то нормально. Мне же не для себя. Шуру жалко, он с детства на полу спал, потому что места для третьей кровати не оставалось. Сейчас-то, наверное, переехал на мою кровать. Интересно, он сегодня в ночную смену на заводе? Тогда он как раз дома отсыпается и пытается просунуть ноги между прутьев спинки. Ноги длинные, прутья частые, неудобно. Так вытянулся за последний год, что на полу ему постель уже по диагонали стелили. Медведь! Мама говорит, весь в отца. Er sieht aus wie ein Vater! Слышишь? (*Передразнивает.*) Вас, вас! Он сильный! (*Шепотом.*) Er wird dich töten.

Отворачивается.

В больнице, когда я смогла сидеть и уже не так быстро уставала, врач разрешил читать книги. Мама принесла мне «Голубую чашку» Гайдара. Такая светлая повесть! Ничего не происходит, ничего не случается, а оторваться невозможно. Там были такие слова: «А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!» И вот я читала про девочку Светлану, и про ее отца, и как они идут далеко-далеко. И так радостно мне было, и так горько. Потому что я точно знала, что их книжное счастье недолго продлится, что Светланиного отца или убьют на границе под Халхин-Голом, или заберут однажды ночью туда, откуда отцы обычно не возвращаются. У нас так соседа увезли ночью на черной машине. А потом семья его куда-то делась: мать и жена. Наверное, уехали подальше от Москвы,

а может быть, их тоже... забрали... С тех пор я за Шурку и стала бояться. Просто до ужаса доходило, до паники. Я ведь не трусиха совсем. Однажды через Тимирязевский лес ночью прошла, чтобы доказать самой себе, что не боюсь. Но одно дело лес, а другое – Шурка. Он ведь маленький, хоть и огромный. Глаз да глаз за ним нужен. Антисоветская пропаганда – так его шуточки называются, это, поди, даже ты, фашист, понимаешь. Вплоть до высшей меры наказания. (С вызовом.) Но не тебе нас судить! Мы должны заботиться о сохранении нашей страны, и меры эти справедливы! Враги народа – это все равно что фашисты!.. Но одно дело сосед, а другое – Шурка! Вот был бы жив отец!

Стук топоров. Девушка встает во весь рост, улыбается.

«А жизнь, товарищи... была совсем хорошая!» Я осторожно закрыла книгу и долго вглядывалась в рисунок на голубой обложке. Там по дороге вдоль невысоких деревьев шли к горизонту двое: отец и дочь. Там, за синими горами, за дремучими лесами наливались соком яблоки, цвела гречиха, и собирали с нее мед звенящие пчелы. Там, рядом с мельницей, на реке строилась гидроэлектростанция, а из черных глубоких ям тасили люди белый, как сахар, камень. Там, над озером, раскинулся большущий сосновый лес. Есть в нем и грибы, и цветы, и малина.

Я закрыла глаза. То ли это тропа в лесу, то ли дорога в поле. Мне, маленькой, ничего не видно, трава качается над головой. Только рядом в дорожной пыли белеют босые ступни отца. Рядом с его следами на дороге остается цепочка маленьких ножек – моих. А если задрать голову, то видно, какой папа высокий и красивый. Он ведет меня за руку, а я хмурюсь: мне страшно, я устала. Вырываю руку и изо всех сил обнимаю его ногу. И тогда отец подхватывает меня на руки и сажает себе на плечи. И весь огромный мир встает передо мной: скачет по ветке серая птица, желтые хлеба волнуются под ветром, и растекаются над горизонтом синие дымы завода. От счастья хочется кричать, но я молча колочу пятками по отцовской груди. Клубы пыли заслоняют солнце, – это мчатся навстречу всадник, и горит на его буденовке красная звезда. Нет, не было у него буденовки, да и не мчалась лошаденка, а плелась себе вдоль дороги, и дремал на

ней соседский мальчишка Колька, прикрученный веревкой, чтобы не свалился без седла.

И я спросила: «Пап, а куда он едет?» И отец ответил: «А мы сейчас спросим. Храбрый всадник Колька, куда путь держишь?»

А держал Колька путь домой из Соловьянки, от деда Никифора, которому мать передала целый мешок яблок да велела узнать про сенокос. Только вот кобыла не взнуздана, а пяток слушаться не желает и останавливается пощипать каждую травинку.

И я спросила: «Пап, а далеко Соловьянка?», и отец ответил: «А вот пройдем Спокойные хутора, там и Соловьянка». И я спросила: «А за Соловьянкой что?», и отец ответил: «Павловка, Александровка, Прудки». И я спросила: «А дальше?», и отец ответил: «Кирсанов, там наша мама училась. Вот ты подрастешь – и тоже учиться будешь...»

Я киваю и спрашиваю: «А за Кирсановым что?» «Тамбов», – говорит отец. «А за Тамбовом Москва? Мы туда идем, да?» Отец смеется, и Колька смеется, и даже худая кобыла ржет, вздрагивая телом. Отец ломает упругую ветку, очищает от листьев и протягивает Кольке. «Ну-у, пошла!» – кричит тот, стегая лошаденку по крупу, они несутся галопом и исчезают в моей памяти. А мы с отцом идем мимо хуторов и сел, через поля и леса, пешком идем в огромный город Москву, где через много лет я сплю на больничной койке и обнимаю книжку во сне.

Она ложится на лавку, свесив руки по бокам, как в беспмятстве.

Отец умер в той же Боткинской больнице, где должна была умереть и я. То воскресенье запомнилось обидой на нектати захворавшего отца. Были куплены билеты в цирк, мы с Шурой мечтали о том, как увидим дрессированную собачку, которая умеет считать до десяти, как ученый тюлень станет перебираться с бочки на бочку и ловить носом мяч. Но пришлось бежать за доктором, и провожать родителей в больницу, и сидеть дома, ожидая маму, которая бы вернулась и сказала, что операция прошла успешно, и скоро мы снова будем вместе. Пропали билеты. Но ведь в Москве и без цирка столько интересного, и никто, как отец, не умеет рассказать про Замоскво-

речь и бульвары, про «валы» и «ворота»! Всё еще будет замечательно и даже лучше! Обида сменилась ожиданием, а после – изумлением. Внезапно в жизнь вошло слово «умер», и понять это не было никакой возможности. Как – умер? Как это – нет отца?

Садится.

И вот непогожим мартовским днем – похороны. Мама с дядей Сережей идут в морг за телом. Мы с Шуркой ждем их возле входа в больницу. По улице за воротами идут женщины с мимозами, они прижимают цветы к груди и самим себе кажутся красавицами. А они не должны быть красавицами, они должны быть уродливыми старухами! Ведь горе случилось, горе! Ведь мама и дядя Сережа ушли за телом.

Я повторяю про себя: «За те-лом...» Потом произношу это вслух. Слово сухое и безжизненное, как цветок в гербарии. Переставляю ударение и пытаюсь придумать рифму. Получается: «слом» и «поделом». Резко налетает ветер, колючий воздух обжигает лицо, и начинает казаться: темнота, что сгустилась в небе, никогда не рассеется. Воздух стал резиновым, его невозможно вдохнуть. Тело в колумбарии, как цветок в гербарии. Темнота-темнота, от тебя некуда бежать, вот подкатывает твоя волна к моим башмакам, вот ты стучишь в мою дверь, темнота...

Слышится стук топоров, будто что-то сколачивают. Все громче звук. Девушка закрывает уши руками.

Шура, прекрати! Откуда у тебя палка, зачем ты бьешь по дереву? Перестань сейчас же! Нет-нет, он бил не по дереву, он проламывал палкой лед на луже и хохотал. Зачем он хохотал? Ведь горе случилось, горе, ведь никогда ничего не будет, как прежде. Но в его голосе был такой восторг перед жизнью, такая радость от того, что он живет на свете... Хотелось дать ему оплеуху. Потом на грузовике мы ехали на восток города к далекому кладбищу. Там дяде Сереже удалось получить место под могилу. Грузовик выделила папина академия. Меня и Шуру посадили рядом с шофером в кабину, а мама с дядей Сережей полезли в кузов. «Караулить гроб», как сказал дядя Сережа. Наверное, его пугало мамино молчание, только он не решался ее утешать, и по-

тому глупо шутил с нами, с детьми. Шура не отлипал от окна, он чуть что толкал меня локтем и шептал про дом с загогулинами, про дым из трубы паровоза, про старуху с собакой, а собака как прыгнет! Шофер как будто про себя сказал, мол, невеселый нынче груз. А я подумала: вот так, был папа, а стал – груз. И еще – покойник... Труп... Мертвец... Умерший... Так много слов для обозначения неживого человека, и всего одно короткое – «жив». Как одному этому слову устоять против толпы своих антонимов? Как одному человеку выжить в мире, где идут войны, где люди сражаются друг с другом? Да, именно тогда я поняла, что нельзя умирать просто так – от заворота кишок. Нелепая смерть. Не так! Не так должен умирать человек. И тогда в больнице я отвернулась от белого сияния вверху, потому что... Зачем тогда я была на земле? Умереть за большое человеческое счастье, умереть в борьбе – вот чем должна кончаться жизнь. Но не менингитом или заворотом кишок. Что бы изменилось из-за моей смерти? Кто ее заметит? Бог? Да есть ли он, этот бог? Мой дедушка был священником, служил в нашей сельской церкви. Это другой дедушка, не тот, что с вином. Не мамин, а папин отец. (*В сторону.*) Хотя тебе-то неважно... Деда-священника я даже не знала, его за пять лет до моего рождения убили бандиты. Осенью утопили в пруду, а весной его нашли целехонького, даже не посинел! Люди его сразу к святым причислили, мол, нетленные мощи, сам праведный был. Похоронили возле церкви, там крест стоит, мы с папой туда ходили. Папа говорил, что можно деда просить о чуде, что он мой самый близкий заступник перед богом. Папа и сам был верующим, готовился стать священником. Поэтому так далеко от дома мы его и похоронили: там при кладбище работала церковь, и можно было отпеть человека. Мама настрого запретила нам с Шуркой кому-нибудь об этом рассказывать, но теперь-то что? Все равно ты по-русски ни бельмеса. (*Зажмуривается.*) Гроб вносят в церковь, раскрывают, и священник запевает малопонятные молитвы. Эхо. Гулккое, неуютное. Из-за него еще холоднее, сильнее ощущаются сырые башмаки. Я боюсь простудиться, я понимаю, что маме будет тяжело, и отныне мне придется ей помогать. Нельзя болеть, нельзя. И еще понимаю, что детство кончилось, хотя мне всего десять лет. А Шурке восемь, и его детство будет долгим, потому что у него есть старшая сестра, которая сегодня стала взрос-

лой. Потому что пусть хоть у него будет детство! (Стучит кулаком по лавке.) Потому что я сделаю всё, что смогу, лишь бы у него было детство! Какое счастье, что сейчас ему только шестнадцать лет, и его не скоро призовут, и, может быть, к тому моменту кончится война. Пусть работает на своем заводе, пусть станет настоящим мужчиной. Пусть он живет долго-долго! Дедушка, дорогой, сделай так, чтобы быстрее кончилась война, а потом бы Шурка стал великим художником, чтобы у него было много детей, и чтобы мамочка нянчила внуков. Милая моя мамочка. Она одна знала, куда я уйду. Шура думал, что я уезжаю к бабушке в село. Ох, и обиделся он, наверное, когда они с мамой получили мое письмо со штампом полевой почты. Что же поделаться, кто-то из нас должен был идти защищать родину, а кто-то должен был остаться с мамой. Она бы не перенесла потери сына. А я... Я всего лишь дочка, меня можно не так любить, как мальчика. (Машет рукой.) Куда смотрела твоя мать, фашист, что отпустила тебя на фронт? Куда смотрела твоя старшая сестра? Ты погибнешь здесь, и они не перенесут твоей смерти.

Что я должна воевать с оружием в руках, это я поняла шестнадцатого октября. День был такой черный-черный. В сводке передали, что состояние дел на фронте ухудшилось, а потом радио замолчало. Началась эвакуация предприятий, сжигали архивы, и пепел летал над улицами. Как черный снег! И запах гари в воздухе. Завод имени Войкова остановил работу, шли слухи, что минируют главный корпус. На улицах строили баррикады, устанавливали противотанковые ежи, а в стенах угловых домов пробивали амбразуры. Но самое страшное было в том, что встало метро. (С ужасом в голосе.) Оно было закрыто! Вдобавок куда-то исчезли трамваи, и никто не понимал, что происходит, и почему не работает транспорт, и как доехать на работу. Ведь прогул в военное время – это почти самоубийство. И вот тогда началась паника. Эвакуация превратилась в массовое бегство. Поползли слухи о том, что Правительство во главе со Сталиным уехало в Куйбышев, о том, что через два дня немцы будут в Москве, и надо спасаться, пока не поздно, о том, что диверсанты отследили всех партийцев, арестуют и перевешают их во дворах по команде. Для устрашения. (Улыбается.) Как будто это возможно! Нас много, всех не перевешают! Да, вы здорово нас напугали тогда.

Стук топоров.

Слышишь стук? Машина обгоняла толпу по обочине, застряла колесом в колдобине, теперь водитель срубает ветку, чтобы подsunуть под колесо и выбраться из западни. Он спешит удрать от врага. По Ленинградскому шоссе едут грузовики, машины, повозки. Люди идут с тачками и колясками. А навстречу потоку беженцев маршируют добровольцы. Одеты они кто во что, зато четко печатают шаг и несут на плечах оружие. А еще они поют, слышишь? Они эту песню несут над собой, как знамя. Смело мы в бой пойдем за власть Советов! И как один умрем в борьбе за это! (Хватается за щеку, будто получил удар.) Ведь страшно тебе! Ведь боишься меня. А ты слушай! Не было сил смотреть, как они идут. Ведь они знали, куда идут. Они видели людей, идущих оттуда. Там бой, там смерть, а они поют. А винтовки?! Ведь это не современные трехлинейки, а то ли французские трофейные, то ли польские... Как ими воевать-то? Стреляют, поди, через раз. Но они все равно идут! Не могут не идти. Жалко, что Шурка этого не видел, он в те дни на заводе дневал и ночевал, дома почти не появлялся. А он бы это нарисовал, обязательно нарисовал. Такое нельзя забыть. Хотелось догнать эту колонну и маршировать с ними на фронт. Но я понимала, что девчонку сразу прогонят, да и оружия нет, как я стрелять буду? И это бессилие, эта никчемность... Когда смотришь на плакат «Ты чем помог фронту?», и в душе всё переворачивается от стыда. (Качает головой.) Это хуже, чем смерть. Гайдар когда-то писал о том, что не надо бояться смерти. Умереть за большое человеческое счастье не жалко. (Смеется.) А когда мы с ним познакомились, он лепил снежную бабу. Да, тот самый знаменитый детский писатель Гайдар, автор «Голубой чашки», которую я читала в больнице! Стоит такой большой плечистый дядя и бабу лепит! Я даже не сразу поняла, что это он, растерялась. И не как-нибудь лепит, а так старательно, с увлечением, как маленький: отойдет, посмотрит, полюбуется... И то голову ей пригладит, то руку-веточку поправит... Он в том же санатории отдыхал, куда меня направили после больницы. Так там было хорошо! Я, наверное, впервые в жизни совершенно ну ничегошеньки не делала. Воду таскать не надо, полы-посуду мыть не надо, готовить не надо! Знай себе ешь, спи да читай. Еще врачи советовали много гулять. Мол, надо организм

насыщать кислородом и приучать к физической активности. И вот гуляла я перед обедом по лесу и вышла к большой поляне. А там стоял гарнизон снежной крепости. Правда-правда! Только невнимательный человек принял бы их за снеговиков, а я сразу поняла, что это вооруженные снежные войска. Два снеговика держали ружья «на плечо», два – «на караул», два стояли навтыжку – «руки по швам», – без оружия. А Гайдар самую маленькую седьмую бабу доделывал: хотел, чтобы она сидела за прилавком из снега и торговала всякой мелочью: сосновыми шишками и вороньими перьями. Он ее маркитанткой называл. Сказал, что вчера они заняли эту белую крепость, что пушки и ружья больше не стреляют, а старая маркитантка по-прежнему торгует своими запасами. Он так серьезно об этом говорил, так малыши говорят о своих игрушках, а не взрослые писатели. Я его сразу узнала, он походил на свои фотоснимки в газетах. Он меня увидел, спросил: «Хотите мороженого?», я расхрабрилась и ответила: «Хочу!» Тогда он снял рукавицу и вытащил из-за спины у маркитантки два фунтика мороженого «Эскимо». А я никогда не ела эскимо, я только в «Пионерке» читала, что скоро начнется массовое производство, и тогда по всему Союзу будут распространять эскимо. Мы с братом на Первомай всегда мороженое в вафлях покупали. Шуре один раз попала вафля с его именем, а мне – ни разу. Мне всё Тани попадались. И я Гайдарику всё это выкладываю с восторгом, ну, потому что эскимо ведь! А он смотрит и не то чтобы хмурится, но такое жалкое лицо становится, как будто я всю игру поломала. И руку с мороженым медленно так за спину убирает. Потом признался, что никакое это не эскимо, а просто снег на веточке в веселом фантике. Сильно, – спрашивает, – расстроились? А я ему отвечаю, что вовсе не расстроилась и что счастливее меня сейчас во всей стране никого нет, потому что я сразу его узнала и вообще все книги его знаю. Тут колокол к обеду зазвенел, он засмеялся, подтолкнул меня в сторону корпуса и сказал, что тоже меня знает и все книги мои знает: алгебру Киселёва, физику Соколова и тригонометрию Рыбкина. На следующий день я его не видела ни за завтраком, ни за обедом. А к вечеру Аркадий Петрович появился и принес мне настоящее эскимо. Сказал, что не привык обманывать ни взрослых, ни детей, поэтому прямо с утра поехал на улицу Горького по писательским делам, а возле Кремля встретил

министра продовольствия Анастаса Ивановича Микояна и по его личному распоряжению получил на складе молочных продуктов самое вкусное в мире мороженое в количестве двух штук. Насочинял, конечно, но так здорово! В жизни ничего вкуснее не ела. Потом мы с ним часто встречались. Катались на лыжах, просто гуляли. Со мной никогда и никто не разговаривал так... всерьез. На равных. Как будто он сам пытается понять, как жить и зачем жить. Долго и счастливо? Счастливо – не значит долго, а долго – не значит счастливо. Так он говорил. Как будто ему не все равно, что со мной будет. Да, именно Аркадий Петрович тогда и сказал, что я превосходно читаю Гёте. (*Шепотом.*) Я ведь решилась, прочитала ему то стихотворение, ну, которое про папу. Вот это:

*Пришла ночь, свежестъ подула.
Горы и поля – всё уснуло.
Только мы идём по дороге,
Но осталось совсем немного.*

*Птицы в лесу не кричат,
Деревья тоже молчат.
Если когда-нибудь окончим мы путь,
То сможем потом отдохнуть.*

63

Аркадий Петрович подумал и почему-то попросил меня прочитать Гёте: «Не шумит дорога, не дрожат листья, подожди немного, отдохнешь и ты...». Потом снова мое: «Если когда-нибудь окончим мы путь, то сможем потом отдохнуть...». Разве, говорит, не слышите? Я тогда зажмурилась, напряглась, и вдруг услышала! Дятел в лесу стучит!

Стук топоров.

Дятел, знаешь, я скоро тоже замерзну, как дерево, только ты не стучи об меня клювом! (*Кивает в сторону.*) Вот их надо клевать. Бить, жечь, травить! (*Пауза.*) Брат приезжал меня навещать в санаторий, я ему говорю: представляешь, кто здесь отдыхает? Мой любимый писатель! А Шурка возьми и ляпни: Карл Маркс, что ли? Хорошо, никто не слышал. А мама забеспокоилась: чего, говорит, взрослый человек с тобой разгуливает, чего ему от тебя надо? И как ей объяснить, что никакой он не взрослый, а мальчишка, которому не с кем играть в снежки? Ведь не поверит, что такие бывают. Я бы и сама не поверила. Когда

я уезжала из санатория, он на прощание подарил мне свою книгу про Чука и Гека. А на развороте написал такие слова: «Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной». Это он снова так со мной говорил про счастье. Мы потом случайно столкнулись возле Центрального телеграфа. Уже война была. Он был такой большой и красивый в новой военной форме. Готовился ехать на фронт. Только знаков различия на форме не было. По вине старых ран его не брали в армию, и тогда он оформился военным корреспондентом. Я знаю, он бы недолго воевал пером, он взял бы в руки винтовку. Потому что хотел драться с вами! Я читала его очерки из Киева в «Комсомольской правде»: конечно же, он лез в самое пекло. А когда вы заняли Киев... Когда наши отошли... Не стало больше очерков. Но я верю, что он жив! Разве может умереть такой большой и замечательный человек? Разве способны убить его такие ничтожества, как ты? Он, наверное, в партизанах, а может быть, выходит из окружения. Вот встретились бы мы с ним после войны, я бы сказала: видите, Аркадий Петрович, я вас не подвела! Я выполнила долг перед Родиной, я крепко любила и берегла нашу огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной.

Стук топоров.

Когда вы напали, и было выступление Молотова по радио, все по-разному себя повели. Парни и мужчины постарше пошли в военкомат, женщины молча разошлись. Все думали об одном: «Война!» А я думала о победе. Я не знала, когда она наступит, через неделю или через две вас щелкнут по носу, но месяцы шли, никто вас не останавливал, наши сдавали города, и я уже не могла оставаться не у дел. Когда вы бомбили Москву, даже мужчины нашего дома прятались в убежище или где-нибудь за дверью. А мы с Шурой отправлялись на чердак дежурить, или я ходила кругом дома и ни с кем не разговаривала. Люди иногда с насмешкой смотрели на это и думали, что я кичусь своей смелостью, раз не боюсь осколков. А я на них не смотрю, а всё хожу и хожу, потому что стыдно сидеть в укрытии. Душа не выдерживает! Дом у нас деревянный, и иногда он шатался от стрельбы. Мама нач-

нет волноваться, а я ее стыжу. Мама тогда работала на дому: мы шили вещмешки и петлицы для красноармейцев. Дел у нас, конечно, было много. По очереди мы ездили с Шурой на трудовой фронт: он рыл окопы на подступах к Москве, а я собирала картошку в прифронтовом совхозе. Но этого было мало, мало! Фронт подошел вплотную, и я решила добиваться путевки в армию. Ни капли сомнения не было в том, что меня возьмут на передовую. Я умела делать перевязки, знала, как надо обращаться с винтовкой и гранатой, не боялась взрывов. Была комсомольским группоргом, среди ребят обладаю авторитетом – ну почему не взять меня на фронт? Я полезная, я пригожусь. Ведь Москве угрожает опасность, разве можно сидеть сложа руки? Всё это я выложила в райкоме. Горячилась, спорила. И секретарь махнул рукой и направил меня в Центральный комитет на Чистые пруды. Я в тот же день и поехала. Вышла из метро, оно к тому времени заработало, прошла немного вперед и обомлела. Вдоль бульвара гнали скот. Воздух гудел. А машин не было. Совсем не было. Коров давно не доили, иногда какая-нибудь буренка вскидывала голову и громко мычала, – больно было нести вымя. Наша Роголя однажды так плакала, когда бабушка не успела ее подоить. А я Роголю пожалела, подставила ведро, скамеечку, села и изо всех сил стала дергать за соски, – подражала бабушке. Корова попятилась, опрокинула ведро и хвостом меня хлестанула сильно. Спасибо, что не копытом! Я тогда на нее обиделась и молоко два дня не пила. Бабушка все удивлялась, расспрашивала, мол, что такое, да не болит ли живот? А когда все-таки вызнала причину, до слез смеялась. Внучка на корову обиделась! А потом научила меня доить. Схватишь, где повыше, и ладонью сжимаешь. Схватишь и сжимаешь. Только дергать не надо. Руки потом сильно ноют с непривычки. Мы когда переехали в Москву, в центре даже лошадей почти не оставалось. Я жалела, что нет здесь бабушкиного хозяйства, мне не хватало этой возни с животными. И деревенского простора здесь нет – уже и окраина возле нашего Тимирязевского парка перед войной стала потихоньку застраиваться. Нет простора... А есть огромные проспекты и булыжные мостовые, есть высокие дома и бульвары. Мне и в голову не могло прийти, что когда-нибудь увижу посреди столицы коров. А сзади топают стая лапчатых гусей и гогочет! (*Машет руками, смеется.*) И вот бредут

эти коровы мимо зенитной батареи под зеленой сеткой-маскировкой, мимо аэростата и девушек в серых шинелях с такими же серыми лицами. А я смотрю: дальше под деревьями траншея выкопана. Их же ведь так просто не копают. Получается, не только у нас на окраине готовились к боям, а даже здесь, на Чистых прудах! Значит, вы можете пойти и сюда, и вас надо остановить! Хоть всем полечь в бою, а вас остановить! Ой, как я позавидовала этим девушкам! У них была четкая боевая задача: защищать небо столицы, а если придется, то и ее землю. А через дорогу возле кинотеатра «Колизей» два крытых грузовика, и в них лезут необмундированные парни и девушки с вещмешками и чемоданами. Я тогда так разозлилась: молодые здоровые лбы, могут защищать Москву, бить вас, а вместо этого наверняка эвакуируются в Алма-Ату или Челябинск! Ну разве не предательство? Я ведь не знала, куда и зачем едут эти грузовики. Хорошо, что ты не понимаешь по-русски, могу говорить. *(Вздыхает.)* В ЦК меня направили на комиссию, трое человек, среди них один в форме и с орденом Красного Знамени. Только они меня брать не захотели. Ну как не захотели... Пугать стали: трудно, дескать, придется работать в тылу врага, идите домой, подумайте. Рассчитывали, что не вернусь. Но я не послушалась и никуда не ушла. До поздней ночи просидела в коридоре, они меня увидели, даже растерялись. Командир в форме хмыкнул так уважительно и велел через день явиться к кинотеатру «Колизей» с вещами, оттуда машинами нас повезут в часть. И тогда я поняла, куда ехали от «Колизея» те необмундированные парни и девушки. А я-то на них ругалась! Вот ведь, конспирация! Я, конечно, тоже хотела конспирацию соблюсти, но когда увидела мамины глаза... Не смогла промолчать. Пусть она знает, куда я иду, пусть гордится не только сыном, но и дочкой! Мне ведь дали задание, а Шуре не дали! Значит, я не просто так, значит, я тоже чего-то стою.

Стук топоров, немецкие голоса.

Когда приехали в часть, странно так было. Я ожидала увидеть казармы, какие-то специальные постройки. На худой конец, брезентовые палатки на двадцать человек, как в военных лагерях. А это был дачный поселок. Девушки жили в одном домике, парни в другом. Столовая только общая и Красный уголок. Но дисциплина – ух!

Ночью в уборную на двор пойдешь, обратно часовой без пароля не пустит. *(Смеется.)* У нас так одна девушка забыла пароль, до утра на дворе просидела, пока командир не вышел. Он ей сразу три наряда вне очереди и строгое предупреждение. Собирался и вовсе из части отчислить, но пожалел. Эту девушку пожалел, а других отправлял в другие войска или домой, если присягу еще не успели принять. Конечно, в часть много случайных людей попало. Не знаю, может, их питание привлекло, кормили нас хорошо, сытно. Это в Москве хлеб по карточкам, да еще и отovarить их надо. А нас впрок кормили, потому что на задание берешь с собой только сухари да сушеную рыбу, этим сыт не будешь. А идешь то на десять дней, то на две недели. Зато на базе и хлеба, и картошки, и сала – всего достаточно. Еще некоторые умудрялись в Красном уголке танцы под патефон устраивать. У меня в голове не укладывалось: война вот здесь, под боком – и танцы! Это, наверное, у них из-за сытости получалось. Совесть жиром заплывала. Пока все плясали, я в комнате книжки читала. Или в тире тренировалась, патронов у нас тоже было достаточно. В десятку редко попадала, но это неважно, зато выстрелы кучно ложились. Шурка говорил, что кучность важнее, чем точное попадание. Обучали нас недолго – три дня. Командир, тот, что с орденом, учил снимать охрану с помощью финского ножа в спину. Это очень просто, – сказал он, – это очень легко, ха-ха! Мы посмотрели на свои ручонки и тоже засмеялись. Но снимать охрану мне не довелось. В основном рукопашному бою ребят учили. Перед нами, девушками, другая задача ставилась. Мы ходили в разведку. Зайдем в деревню, разузнаем, какое положение, есть ли немцы, картошки выпросим или выменяем, и тогда отряд может дальше двигаться. Меня такое положение дел не устраивало. Категорически не устраивало! Ведь, спрашивается, зачем я училась стрелять и мины закладывать? Я тоже должна навредить врагу. На первом задании мы вообще к деревням не подходили, всё больше в лесу кружили. Снега почти не было, спали на голой земле, на шинелях, на пальто. Час на одном боку лежишь, заледенеешь, встанешь, попрыгаешь, и на другой бок. Костер не зажечь, вы же сразу дым засечете. А попадаться никак нельзя. Дней пять мы так по лесу кружили. Связь, если попадалась, резали. Метров пять провода вырезали и в ручей бросали, или в яме листьями закидывали, чтобы не найти.

Хорошо мы вам навредили! Снега тогда не было, он в последний день выпал. Было седьмое ноября, и мы встречали его в лесу. Огромная старая ель, заячьи следы на свежем снегу... Идиллия! Что еще? Мины на шоссе закладывали. За неделю штук десять машин подорвали, это мы были, мы, понимаешь? И этого хватило, чтобы на базе решили, что задание выполнено. То есть было чем отчитаться перед начальством – и не более. А на самом деле так мало сделали! Я знала, что мы не имеем права возвращаться, пока есть силы и желание вас уничтожить. Когда с нами командир на базе беседовал, я так ему и сказала. Он меня похвалил, но сказал, что выбиваться из сил на первом же задании не следует, война может оказаться долгой, каждый боец на счету. И что надо учиться на реальном деле, на своих ошибках. Анализировать, прорабатывать. Ох, какой человек наш командир! Он ведь самого Ленина видел! Что, знакомое слово? *(Кричит.)* Ленина, Ленина! *(Хватается за щеку, как после удара.)* Командир совсем еще мальчишкой стоял на часах у его квартиры в Кремле. Владимир Ильич с ним беседовал и однажды подкормил: кусок хлеба с повидлом вынес – это и сейчас лакомство, а уж в те годы!.. А орден Красного Знамени у него за Испанию. Командир устраивал диверсии вашему брату франкисту: жег аэродромы под Уэской, взрывал мосты под Кордовой. Мы все испанские города тогда выучили наизусть. Едва проснувшись, бежали с Шурой наперегонки за газетой, чтобы узнать, что еще случилось в провинции Эстремадура. На фронт рвались. По радио рассказывали об испанском юноше, которого родные не отпускали воевать, а он все-таки пошел. И таким молодцом оказался! Один раз фашистский снаряд разорвал их окоп и разбил противотанковую пушку. А этот парень – Корнехо его имя – схватил гранату и как выскочит из окопа! Побежал навстречу танкам и как кинет гранату в танк!.. Она разорвалась под гусеницей, танк завертелся на одном месте! Тут другие подтащили ящик с гранатами. Корнехо стал кидать одну за другой. Смотрят – второй танк свалился набок, потом третий, а остальные повернули обратно. Это мне Шура рассказывал. Так завидовал этому парню, Корнехо, так им восхищался. Я так, наверное, только нашим командиром восхищалась... Шура ни одного слова, ни одной военной сводки не пропускал. И все время рисовал Испанию: неслыханной голубизны небо, серебристые оливы, рыжие горы,

обожженная солнцем земля. Траншеи, пушки, взрывы, кровь республиканских бойцов... И слова, эти невозможные слова: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». И, несмотря на это, Испания пала... Как вы могли победить, как?! С тех пор еще только одно так ударило – падение Парижа. Я очень хорошо помню этот день... летом... Принесли газету, а там: Париж взят. И так страшно, так позорно это было!.. Просто нельзя было поверить, представить нельзя: вы, фашисты, шагаете по Парижу. Париж под немецким сапогом. Париж коммунаров! Разве можно было предугадать, что будет куда как страшнее? Что наутро после школьного бала мы узнаем про бомбежки и бои на наших границах? Но не на тех вы напали, слышишь?! Не взять вам Москвы, никогда вам не взять Москвы! *(В сторону.)* Du hast verloren! Понял? *(Вздыхает.)* А ведь такой был бал! Я в новом платье была такой красивой! Наверное, самой красивой девушкой в школе. Это платье мне Шура подарил. На те деньги, что он заработал чертежами, пока я болела, мы купили отрез – красный в черный горошек. И сшили мне платье. Впервые у меня было что-то новое и красивое. Меня наперебой приглашали танцевать. Цветы, музыка, рассвет! Казалось, вот такой и будет моя жизнь. А наутро: бомбежки и бои. И надо воевать. Я взяла платье с собой на фронт. Много ли ему надо места в вещмешке? А напечет о многом: о празднике, о радости, о том, какой прекрасной будет жизнь после войны. Правда, когда уходила на задание, я его все-таки оставила в камере хранения в части. Туда все сдают личные вещи, когда уходят на задание. А документы – командиру. Думала, вернусь, надену платье и пойду в Красный уголок. Все-таки надо дружить в теи людьми, с которыми завтра отправишься в разведку и будешь делить последнюю пайку. И командир увидит меня в этом платье, и, может быть, еще раз скажет, что я красивая... Такая красивая, что он не хотел брать меня в часть...

Стук топоров. Немецкие голоса, смех, ржание лошадей, крик.

Меня схватили, когда я пыталась поджечь сарай. К сараю вели провода, а где провода, там штаб, так нас учили. Но штаб оказался в другом месте. Там меня допрашивал офицер. Я молчала. Меня раздели, мерзкая рыжая морда пыхтела мне в лицо, веснушки у него были такие крас-

ные, а я уже знала, что это смерть, я помнила ее запах. Они всё спрашивали, где находится наша база, кто командир, сколько нас было в группе. Я молчала. Спрашивали, где остальные, но я молчала. Меня пороли ремнями, и я молчала. Потом связали руки за спиной и босиком повели по улице. Снег колючий, жжется, ветер под сорочку задувает... Привели в избу, там солдаты. Нет, не надо об этом...

Били кулаками и подносили к лицу зажженные спички. Кто-то провел по спине пилкой. Очень хотелось пить. Я попросила у хозяев воды. А ты... Ты схватил со стола горящую керосиновую лампу без стекла и поднес к моему лицу. Я не закричала, только отшатнулась. Ты засмеялся, убрал лампу и махнул рукой. Разрешил дать мне воды. Такая вода была, как в сказках – живая. Я выпила два ковша. Ты пинком поднял меня с лавки и повел на улицу. Я думала, пристрелишь где-нибудь за углом, еще оставались силы бояться смерти, но ты просто водил меня взад и вперед по ледяной улице. Наверное, хотел запугать тех, кто остался в лесу и мог меня видеть. Месяц ночью светил ярко, и когда я шла в ту сторону, где Москва, мне было легче, а когда ты окликал меня и приходилось поворачивать... Ветер был такой колючий, и снег обжигал, хотелось согнуться и упасть, согреть тело. Ноги немели и не сгибались. Потом мы шли обратно в избу, ты толкал меня на лавку к печке. Ноги отогревались и болели так, что хотелось кричать. Но кричать было нельзя. А потом опять: встать! И снова снег и холод, такой холод. Не знаю, сколько времени это длилось. Тебя сменил пожилой солдат, он дал мне подушку и одеяло. Руки развязал, велел спать. Если бы я могла уснуть! На столе горела все та же керосиновая лампа, слабенько светилась, но когда я открывала глаза, то видела дощатый потолок и темные срезы сучков на нем. Как шоколад, как в детстве, как дома. Только ни на какой табурет я уже не залезу, потому что ног у меня не осталось. Ноги мои, ноги, бедные мои ноги, несчастные... Вы почернели, вы ничего не чувствуете... Вот оно, чего я так боялась, и нельзя об этом думать, иначе я не выдержу всё, что будет дальше. Я все-таки засыпала на несколько минут, проваливалась в забытие, но это не сон был, а кисель, как тогда в больнице, околосмертный кисель. Во сне нестерпимо горели отмороженные ноги, и казалось, что кругом бушует огонь – тот самый, который я не

успела зажечь. Я просыпалась и хватала ртом воздух, – пыталась надышаться впрок. Я знала, что эта ночь – последняя. Узнает ли мама, как погибла ее дочь? Или лучше исчезнуть навсегда, раствориться в военной зиме, пропасть без вести? Да, для меня не будет весны, я не увижу победы, не узнаю, какой она будет и когда наступит, но я верю в это слово, оно обязательно случится. Как обидно, что оно случится без меня! Шурка, милый мой Шурка! Ты пойдешь за меня мстить, ты убьешь моих мучителей и непременно погибнешь сам. Не ходи, Шурка, живи на свете долго-долго! За меня живи, я так не хочу умирать. Я хочу жить: хоть без ног, хоть с дурной болезнью, беззубой, страшной калеккой, только жить! Весну увидеть, маму обнять. Пройти по Красной площади и Александровскому саду. Воздухом дышать, видеть, как встает солнце. Дедушка, заступник мой, сделай чудо, пусть я не умру. Я не знаю, как это можно, только пусть я не умру! Пусть я не умру!

Прислушивается. Больше не слышно стука топоров. Девушка прислушивается, говорит спокойно.

67

Всё, не стучат топоры. Значит, виселица готова, и теперь уже скоро... (В сторону.) Утром ты вернулся – охранять меня, чтобы не сбежала. Куда я побегу на своих обугленных ногах? В лес, чтобы замерзнуть в сугробе?.. Нет! У меня всегда был завтрашний день, он казался таким огромным, что нащупать предел не хватало мысли. Будущее сияло вдаль, манило к себе, оно приближалось, но не становилось меньше. И вот теперь это будущее горбится где-то там – на поле в середине захваченной врагом деревни, выставив напоказ всю свою неприглядность, ничтожность и конечность. Можно обойти его кругом, увидеть три подпорки у основания столба, и между ними скол, и еще один повыше, и два узла вдоль веревки, что отобрали у какой-нибудь крестьянки. Будущее можно рассмотреть как следует, его можно потрогать и даже обхватить руками, но после такого будущего от меня останется лишь прошлое...

Поднимает с пола доску с надписью «Поджигатель» на русском и на немецком языках. Вешает ее себе на грудь. Слышна немецкая речь. Она нарастает, и девушка отступает вглубь сцены, в темноту, перекрикивая чужие голоса.

Но смерть ты у меня не отнимешь. Это последнее, что у меня осталось, – моя смерть. Только ею теперь я могу бороться. Я не умру нелепо и бессмысленно от заворота кишок или от менингита. Что-то должно случиться, когда уходит из мира человек. И значит – надо так умереть, чтобы вам стало страшно, так умереть, чтобы еще больше боялись вы нашей земли и нашей смерти. Ведь на самом деле это не веревка качается на ветру, а считает секунды маятник в старых ходиках, что висят в сельской избе у деда с бабушкой, в ходиках, которые после лица матери я первыми помню в жизни. И родной человеческий запах помнится, и деревянные полы в сенях, и букетики душицы, и тканые коврики в комнатах, и большие окна с рассадой на подоконнике, и сон на сеновале после долгого летнего дня. И колокольный звон от церкви. И лица родных, и красные ленты, подаренные бабушкой, и руки отца, и убежавшая за околицу коза. И всё лучшее, что было в жизни, всё самое доброе и любимое – оно не умрет, вы не сможе-

те его убить! Оно навсегда на земле! И я скажу об этом, громко скажу!

Темнота. Тишина.

Зоя Космодемьянская – разведчик-диверсант. В конце ноября 1941 года была схвачена немцами в подмосковной деревне Петрицево при попытке поджога военного объекта. После пыток повешена в центре деревни. Перед казнью, стоя с петлей на шее, грозила немецким солдатам, призывала сдаваться в плен. В годы войны стала символом борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Первая женщина, которой было присвоено звание Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Ее брат Александр ушел на фронт мстить за сестру и погиб накануне Победы.

Писатель Аркадий Гайдар воевал в партизанском отряде и погиб за месяц до Зои, прикрывая отход товарищей.

Их памяти посвящается эта пьеса.



**Роман
КРУГЛОВ**

**ОСТАНЕМСЯ.
ПРИМЕМ БОЙ.**



*Радио проверяют,
Капает метроном.
Память скользит по краю
В городе ледяном.*

*Свет накренился серый,
Не удержаться – вот
Падаем в сорок первый
Непоправимый год –*

*Люди умолкли сразу.
Медленный ритм, отбой.
Это проверка связи
Нашей между собой.*

*Дед в прицел смотрел на фрицев.
Внук читает про абьюз.
Что в реальности творится,
Он вообще не дует в ус.*

*Модных страхов легионы
Заслоняют суть вещей –
Век назад от мух подобных
Отмахнулись бы вообще.*

69

*В жирном воздухе теплицы
Раздуваются они.
Электронные страницы
Заменяют жизни дни.*

*Что закажешь, то приносят.
Можно всё, чего нельзя.
Нас не жгут и не морозят,
Чтобы тёплыми взять.*

*Простились сады со славой
Кленовой своей звезды,
И над куполами лавры
Сбиваются в клин кресты.*

*Подранок в груди курлычет.
Куда нам лететь с тобой?
Сырая земля привычней.
Останемся. Примем бой.*

*Крестonosцы были в детстве,
В юности – Толстой.
Целый мир тебе в наследство.
Властвуй, Бог с тобой.*

КРУГЛОВ Роман Геннадьевич родился 27 февраля 1988 года в Ленинграде. Поэт, литературовед, кандидат искусствоведения. Автор шести поэтических книг, семи монографий о литературе и искусстве. Руководитель Санкт-Петербургского отделения Совета молодых литераторов, секретарь Союза писателей России. Живёт в Санкт-Петербурге.

Но транжиришь на пустое
Даровую жизнь,
И веселье напускное
Голову кружит.

Правда – как на дальней полке
Дедова медаль:
Светит в темноте без толку
Дорогой металл.

Покрутил в руках, мальчишка,
Спрятал – пусть лежит.
А в свою не веришь – слишком
Страшно заслужить.

Лучше быть, чем не быть. Просыпаюсь
на бис.
Пустота скалит зубы сквозь щели кулис.

Я творю – и неважно, что будет потом.
Занимаюсь осмысленным делом,
Очень нужным, вселяющим веру трудом –
Как гимнастика перед расстрелом.

Мыкая счастье земное и сам стал земной,
Но в небеса отправляю тоски позывной
Так же, как в детстве, и так же не верю
тайком
В то, что насущная явь происходит
со мной.

Вот уже сын мой серьёзно, как маленький
принц,
Спрашивает, кто под вечер зажжёт фонари.
Про провода отвечаю земным языком.
Сын что-то подозревает, но не говорит.

Мы так похожи, а всё же разъединены –
Правду свою говорить, что рассказывать
сны.
Спрячу слезу, глядя в небо, что сыплет
снежком.
Синее небо, звенящее от позывных.

Балет, академическая живопись,
Социализм –

Европа много нам дала нелживого,
На чём стоим.

Хотя и своего у нас хорошего
Полным-полно,
Как было не принять того, что брошено,
Оболгано?

Что для досуга сытого использовали,
Для отдыха,
Мы поняли и на вершину духа подняли,
До облака.

Теперь всё это не для своеволия,
А для огня.
И то, что мы у вас самих усвоили,
Вам не понять.

Помнишь, мы с тобой шли на озеро
В день рожденья лягушачьих орд?
Вся дорога прыгала, елозила
Россыпями ювелирных морд.

Медленно, под ноги глядя с трепетом,
Обходя несчастных лягушат,
Пропустили радугу над берегом
И двояковыпуклый закат.

Вязкой грязью осторожно хлюпая,
Лес не увидали по пути.
Мы щадили крохотное, хрупкое.
Мы хотели правильно пройти.

Счёт пришёл от коммунальной службы:
Свет и мусор – в этом весь мой долг.
Вот такие жизненные нужды.
Вот что зачисляется в итог.

Отче наш, когда бы долги наша
Мы оплачивали по делам,
То горька была бы эта чаша:
Свет сожжённый, сотворённый хлам.

Добрые поступки, дети, музы –
Этого всего по счёту нет.
Только жизни повседневной мусор,
И её же несомненный свет.

**Юрий
МИХАЙЛОВ**

**ПЛЕТУЩИМ В ХРАМЕ
МАСКИРОВОЧНЫЕ СЕТИ**



СВЕТЛО

Светло... Не оттого, что бирюза
В проёмах не закрытых тканью окон,
А оттого, что – храм и образа,
И Господа всевидящее око,
И женщин просветлённые глаза...

Тепло... Не оттого, что горячи
Сегодня калориферные блоки,
А оттого, что огонёк свечи –
За здоровье – и ясный, и высокий...
И весть – издалека – не огорчит...

Покой... Не оттого, что горя нет –
Оно теперь и днюет, и ночует
Над степью, где жестокой схватки след –
А оттого, что добрый труд врачует
И гонит прочь из сердца сонный бред.

ЕГО ТЕПЛО

Я знаю,
что рядом со мною Бог:
тепло его мне
согревает руки,
И сердце не выстынет
от тревог

77

В такой бесконечно
долгой разлуке...
Светло моё чувство,
светла душа:
Пусть всё, что свяжу
моему солдату,
Напомнит, как здесь
тайга хороша,
Как зори и росы
пахнут мятой...
И будет с ним ангел
золотой:
Его сбережёт он
в минуту риска...
Я слышала,
был жестокий бой –
Над крепостью реет
флаг российский!

ПОКОЛЕНИЕ ГАДЖЕТОВ

Да здравствуют мои большие дети,
Плетущие под сводом храма Божьего
Солдатам маскировочные сети,
Чтоб не была броня их уничтожена!

Всего лишь старшеклассники простые:
Вадим, Наташа, Таня – будет больше их –

МИХАЙЛОВ Юрий Михайлович родился 10 апреля 1953 года в посёлке Разведчик Кемеровской области. Работал топографом в Глушинской геологоразведочной партии, учителем истории, корреспондентом газет «Мой город» и «Кузбасс». Публиковался в газетах, в журналах: «Огни Кузбасса», «Сибирские огни», «Наш современник». Издано одиннадцать книг стихов и два сборника очерков. С 2015 года член Союза писателей России. Живёт в городе Берёзовский, руководит юношеской литстудией «Свой голос». Член Союза журналистов России с 1983 г. Заслуженный журналист Кузбасса.

*А души-то сияют, как святые...
Благодарю, что мне доверил, Боже, их.*

*И я готов кричать с трибуны всякой:
«Да здоровствует младое племя
гаджетов!»*

*Приятель снова что-то грязно вякнул...
Отвечу: «Сам их гасишь – ну и гад же ты!»*

*Они стоят! И бежевая лента
Побегами в ячейках заплетается.
И в них шумит, поёт Сибири лето
И наших व्यог рождественское таинство.*

*Я вижу, юных душ тепло по сети
Бессмертною живицей растекается...
Пусть пацаны, очнувшись на рассвете,
Как наши кедры, ею напитаются.*

*И в бой идут без страха и сомненья.
Им родина далёкой не покажется...
Пусть славится младое поколение,
Разбуженное гимном в звонких гаджетах!*

СТЫНУТ СОСНЫ

*Стынут сосны одиноко
На холмах в седой красе...
Нет в родной стране пророка,
Хоть пророчествуют все:
Озарится Русь, воспрянет
Или канет в жуткой тьме;
Будут ей калач и пряник
Иль дыра в пустой суме;
Станет вновь магнитом братства
Или пугалом для всех...
Что в пророчествах стесняться...*

*Только в Русь не верить грех.
Вновь несут чужие ветры
Соблазнительную весть:
«Там, где солнцем даль согрета,
Есть эдем и счастье есть,
Вот в ту сторону с рассвета
Лошадей и надо гнать...»
Зуд в ушах от песни этой,
Мне другую пела мать.
Стойте кони, стойте скоры,
Что раскатывать губу,
Наточу отцов топорик
И срублю себе избу.*

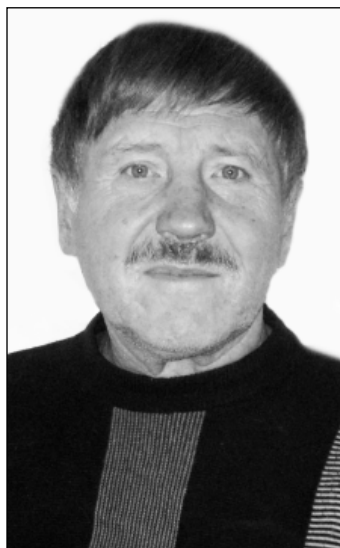
*Тяжелеет рябина от ягод,
Тяжела голова от забот.
Дай к тебе на колено прилягу,
Полюбуюсь на птичий полёт...
Лишь неделя от лета осталась,
А от жизни – десяток годков.
Приближается скучная старость,
И принять я её не готов...
Я седым пред тобою явился,
Но ещё моя кровь горяча,
Ещё осень весёлая лисья
Побалуется возле плеча.
Мы в таёжной реке окунёмся
И в кедровнике шишек набьём.
Будет полной любви наша осень,
Будет тёплым, счастливым наш дом...
Пусть продлится мгновение это,
С жарким трепетом высь голубя...
Только жаль мне таёжного лета,
Лета жизни моей без тебя...*



**Евгений
ЧИРИКОВ**

**ПРИКАЗЫ
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ**

ПОВЕСТЬ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

По оставшимся в закоулках души смутным ощущениям Гутяхин не смог бы вспомнить содержание сна, напоминавшего горячечный бред. До этого он не спал двое суток. И вот уснул и не мог проснуться. Кто-то долго тормозил его бесчувственное тело, пока один краешек мозга не очнулся, еще не поняв сути, но уловив тревогу в голосе:

– Товарищ капитан! Немцы!

Гутяхин открыл глаза, увидел над собой взволнованного ординарца Иванова и рывком поднялся, поставив разутые ноги на чисто вымытый деревянный пол. Иванов торопливо подавал портянки и хромовые сапоги.

– Где немцы?

– Идут в атаку, товарищ капитан! С танками!

Снаружи грохотало, как в сильную грозу. Гутяхин вылетел из блиндажа, на ходу сбрасывая с себя остатки оцепенения. Ординарец бежал вместе с ним по узкой просеке. Множество звуков сливалось в единый гул боя. Вытье мин и раскаты взрывов, урчание танков, треск пулеметных очередей.

Впереди открывалось широкое, залитое солнцем пространство, и виднелся окоп, в кото-

73

ром рассредоточились бойцы с винтовками. С биноклем в руках стоял крепкий, как бычок, лейтенант Волошин, единственный из комвзводов, оставшийся в живых после летних боев.

Гутяхин схватил бинокль, поданный ординарцем, выглянул из-за бруствера и чуть не ахнул. Прямо на них клином катили три средних танка, а сзади длинными шеренгами двигалась пехота. Впереди вышагивал офицер с поразительно надменным выражением ястребиного лица, в фуражке с высокой тульей. Остальные немцы были в касках, с автоматами на груди, с закатанными до локтей рукавами серых мундиров и, судя по всему, вдрызг пьяные, потому что душеараздирающим хором горланили песню.

Гутяхин переглянулся с Волошиным и понял, что тот готов к приему гостей. Сержант Завьялов и боец Рытиков, сидя в давно оборудованном укрытии с двухметровой дудкой ПТР, выжидали приближения первого танка. А вдруг немцы отвлекут здесь, чтобы ударить на правом фланге?

– Дай мне «третьего»! – кивнул Гутяхин телефонисту, жавшемуся в щели с аппаратом.

– Как дела у тебя? – спросил Гутяхин в трубку.

– У меня всё тихо... – услышал он бодрый голос старшего лейтенанта Гриневича.

ЧИРИКОВ Евгений Стефанович родился в 1952 году, окончил филологический факультет Кемеровского госуниверситета. Основная профессия – журналист. Публиковался в журнале «Огни Кузбасса», в альманахе «Тобол и вся Сибирь». Издал две книги художественной и ряд книг документальной прозы, в том числе три в серии «Замечательные люди Кузбасса». Член Союза писателей России. Живёт в г. Кемерово.

Капитан повернулся к танкам. Первый из них задымил и замер. Но другие два, изрыгая пушечный и пулеметный огонь, явно стремились с ходу вломиться на позицию. Один развернул башню по направлению к укрытию Завьялова и Рытикова. Земля за ними вздыбилась.

Боец, залегший возле Гутяхина, охнул и скатился на дно окопа. К нему бросился санинструктор.

Гутяхин снова посмотрел в бинокль. Психическая атака при всем ее безумии действительно давила на нервы. Он чувствовал, что кое у кого из красноармейской молодежи ноги так и просятся дать деру. Изредка фашисты как бы спотыкались и падали. Их подстреливали девушки-снайперы из неподвижно закрепленных под маскировкой винтовок. Немецкий офицер, очевидно, в прицел не попадал и продолжал вести за собой пьяную орду.

– Огонь! – скомандовал Волошин.

Ударил винтовочный залп, заработали два «Максима». Эффект получился неплохой. Пехота врага залегла. Танки затормозили, словно в раздумье. Из люка коптящего первого «панцера» высочили двое и немедленно были сметены пулями.

Если бы немцы преодолели ту сотню метров, что отделяла их от русских окопов, им ничего бы не стоило смять линию обороны. Но, отрезвленные огнем, они вразброд, вихляющими перебежками устремились назад, унося раненых и мертвых. Минометный обстрел прекратился. Туча каркающего воронья поднялась над полем. Красноармейцы подносили к иссохшим ртам фляжки с водой, задымили махоркой.

Волошин пристал к командиру роты с вопросом о патронах, начал скандалить. Обычно хладнокровный и приветливый, он сильно горячился, когда дело касалось боеприпасов.

– Ну товарищ капитан! Ну поймите! Это же патронов только на то, чтобы застрелиться! Мне людям стыдно в глаза смотреть! Ну товарищ капитан, что это за проститутство!

Оба по-боксерски крепко сбитые, они стояли, будто собирались бодаться лбами. Но Гутяхин любого мог осадить без крика.

– Я тебя убедительно прошу, Волошин, выслушай меня! Я не хуже тебя понимаю круговорот вещей в природе. Ты думаешь, я так же, как ты сейчас, не умоляю в штабе полка дать патронов? Умоляю. Мне говорят: нет, жди. Нет, нет,

нет! Понимаешь – нет! И точка! Так что всё, дорогой товарищ. И нечего демагогией заниматься.

– Но товарищ капитан!..

– Всё, концерт окончен!

В донесении для штаба полка Гутяхин вдвое увеличил количество убитых немцев, определенное на глазок. Вместо условных 12 он поставил 24.

Вечером, когда из штаба полка вернулся находившийся там целый день заместитель командира роты старший лейтенант Озерцов, в блиндаже хорошо выпили, отметив победу отечественного оружия. Заедали спирт салом, обсуждали бой, беседовали о былом. Блаженное чувство испытывал Гутяхин, когда в кругу боевых товарищей отрешался от повседневных забот, не чувствовал ноющих старых ран.

Он родился в Пензе через год после того, как его отец-солдат вернулся с русско-японской войны. Окончив пехотное училище, Гутяхин стал красным командиром.

Политрук Блинов до войны занимался аграрной наукой, а на фронт попал как коммунист-доброволец. Он имел интеллигентно-штатский вид и несколько раздобревшую комплекцию.

Маленький и легкий, как сухой стручок, Озерцов отличался личной ответственностью и требовательностью к бойцам.

Второй заместитель командира роты Гриневич, внешне очень элегантный, имел репутацию смелого и весьма грамотного офицера с отличной геодезической подготовкой.

Однако когда пьяный Гриневич выполз из командирского блиндажа, его было не узнать. Без гимнастерки и ремня, в выпущенной из галифе мятой нательной рубашке, он бродил по позиции, таранился в пространство бессмысленными глазами и палил из пистолета в пустоту.

2

Политрук Блинов задавал вопросы участливым тоном. Но глаза его смотрели строго и въедливо. Они обшаривали собеседника, стараясь проникнуть за его внешние покровы, туда, где в тихом дворике стояли под ветлами печальные старики-родители. А туда Синельский никого не пускал.

Для родителей он давно погиб, пал смертью храбрых, согласно полученной ими похоронке. Его приняли за мертвого, когда он лежал в куче убитых, для которых рыли братскую могилу.

Теперь ошибку не исправить, на оккупированную территорию письмо не пошлешь.

– Что такой грустный, солдат, а?

– Э-э... Так, товарищ политрук, приснилось что-то вчера...

– Не болееешь? Вид у тебя какой-то...

– Нет, не болею, товарищ политрук.

– Горюешь о чем-то? Женат? Дети есть?

– Нет, не женат...

– Откуда ты родом?

– Из Белоруссии...

– До войны работал?

– Работал учителем в начальной школе...

– Ладно, держись! Немца мы еще будем бить!

– Так точно, товарищ политрук! Будем!

С винтовкой за спиной высокий и сутулый Синельский вяло брел к землянке, чтобы отоспаться за ночной караул. На его беду впереди мелькнула фигурка старшего лейтенанта Озерцова. А с тропы уже не увернуться.

Когда Синельский услышал знакомое: «А вот идет военный – красивый здоровенный!», он всем своим вспотевшим нутром ощутил нескладность собственного тела. Судя по быстрому, почти бегущему шагу, Озерцов куда-то спешил. Тем не менее, он не преминул задержаться возле растерянно козырявшего бойца.

– Что за расхристанный вид?! Ты откуда идешь?

– Э-э, с поста, товарищ старший лейтенант.

– Так от бабы возвращаются, а не с поста! И сколько раз я тебе говорил, баранье ты племя, перестань экать!

С неожиданной силой он двинул Синельского кулаком под дых:

– Не экай! Шагом марш на работу! Спать после войны будешь!

Под карканье вспугнутых ворон Озерцов, не оглядываясь, полетел дальше. Все бойцы роты боялись его тигриного нрава.

Два отделения пилили ели на окраине леска, очищали стволы от веток, относили их к открытому полю и вкапывали противотанковые надолбы. Солнце, всходившее с тыла, прямо на глазах испаряло густой слой низинного тумана, из которого, как издали виделось, торчали одни головы работающих.

Синельский трудился вместе с совсем зеленым напарником. Тот молча и как-то с любопытством взглядывал на него. Монотонно растягивая пилу-двуручку, Синельский даже задремал, некоторое время, быть может, работая во сне.

Тяжко, раскатисто гроыхнуло. Бойцы бросились в укрытия. Немецкая артиллерия в этот раз была необычайно плотно, с методичным изверством уничтожая всю лесную защиту позиции и тех, кто за ней прятался. Гигантский молот крошил деревья в щепу.

Каждое из человеческих существ, забившихся в норки щелей, испытывало чувство провала в бездну. Земля качалась, прыгала, тоннами пронеслась над головой и кучами осыпалась. Грохот до предела напрягал барабанные перепонки, у кого-то их разрывая. Тела людей разлетались на куски. Свет заволочло сплошной тучей дыма, который не давал дышать.

Это адское испытание длилось нестерпимо долго. Живые уже не надеялись услышать тишины. Множество взрывов слились в один нескончаемый сверхчеловеческий гул.

Никто не видел, как из дымного смерча выполз человеческий силуэт, распрямился и шаткой походкой побрел в тыл. Идущий в никуда не помнил, как его зовут. Но он сознавал, что его накрыло огромным валом отчаяния. На душу оседала горечь, что не хватило мужества умереть. Его вытолкнуло на воздух, как пробку.

Он пошел вдаль, как в немом сне своей матери. Что-то внутри него ясно говорило, что все равно он погиб.

Окружающий мир больше не имел значения. Ни открывающиеся впереди дали, ни сверкающие рельсы железной дороги, ни домишки с прозябающим в них населением.

Задержали его в первом же поселке, куда он добрался. Сначала в него, как в странного пришельца, вглядывались пожилые женщины в платках и телогрейках. А вскоре появились люди в форме. Молодой лейтенант быстро оценил взглядом чумазого бойца без винтовки и хотел было лихо выхватить из кобуры ТТ, но передумал.

– Пошли, герой!

На допросе Синельский не отрицал, что дезертировал с позиции из трусости. Затем он стоял босиком, в кальсонах и рваной гимнастерке, на краю сырой ямы с метр глубиной. Жалкая улыбка-оскал, которой он прощался с миром, – всё, что от него осталось. Напротив маячили живые, бодрые лица солдат и дула нацеленных винтовок.

– По дезертиру и трусу... Огонь!

Труп закопали. Взвод строем прошел по холмику, чтобы сровнять его с поверхностью земли.

3

После этого небывалого по шквальной мощи артобстрела полковой санбат пополнился большой партией раненых бойцов, вместе с которыми привезли Гриневича с мелким осколком в груди и контузией. Каждый из раненых неожиданно для себя мог насладиться тишиной и заботливым женским уходом.

Кормили вовремя и сытно, но весивший центнера полтора башкир Фекоев никогда не наедался.

– У тебя еще девять пальцев на руках, – шутили бойцы. – С голоду не умрешь!

Шутка была жестокой, но и отчасти правдивой. Сжавшись там, в щели, под грохотом разрывов, Фекоев не получил ни одной царапины. Зато откусил себе большой палец, который держал во рту, перемагая ужас.

Особисты едва не отдали его под трибунал за членовредительство, однако врач дал заключение, что палец был откушен на почве психического перенапряжения.

Гриневич чаще всего наедался одной миской супа. И, если приходилось есть за одним столом с Фековым, он небрежным толчком ладони отправлял ему свою порцию каши.

– Спасибо, товарищ старший лейтенант!

– Кушайте на здоровье.

Кто-кто, а уж Гриневич знал, что такое голод. Он рос в поволжской деревне. Когда начался мор 1921 года, они с дружкой Гошкой пошли побираться. Умерли родители, братья и сестры. Всё это было слишком дико. Жизнь казалась неваправдашной, куда-то плыла, удалялась и уменьшалась. Мир заволакивался слабостью и безразличием.

Их с Гошкой не очень даже и удивило, когда одна умиравшая девочка сказала, как боится, что ее потом съедят. Им уже приходилось видеть заросшего чернушкой бородой мужичка, который проводил их таким взглядом, что стало не по себе.

Пришло время, когда оба уже лежали в избе без сил, словно бесплотные тени. Спасли их американцы, организация которых приехала в Россию. Ожившие, но еще слабые и легкие, они с Гошкой спустились во двор на блиставшее солнышко. Оно лежало на бревнах старого купеческого дома и гладко выметенной земле двора. И тут они увидели, как из двери вывалилась гурьба баб и мужиков, провожаемых поджарым

американцем в черных брюках и пиджаке. Сойдя с крыльца, крестьяне все как один упали на колени, крестясь и благодаря за спасение. Смущенный спаситель помахал рукой и скрылся за дверью. Крестьяне пошли к воротам...

Гриневич разыскал в Ярославле двоюродную тетку, которая приютила обоих сирот. Они были, как братья. Оба тощие, с большими русыми головами. Но Гошка повыше, с мелкими чертами лица, маленьким, скорбно вялым ртом. В мальчишеских драках они стояли плечом к плечу, резко двигая сухими мослами.

В юношеские годы друзья часто спорили. О троцкизме, коллективизации, танках и самолетах, женщинах и других мирах.

Однажды Егор зло сощурился:

– Да пошел ты!

Гриневич пытался доказать ему, что наверняка есть жизнь на Марсе. Наверняка! Ему хотелось знать мнение Егора. А тот оказался равнодушен и груб:

– Не верю, что на планетах есть жизнь!

– Да это же наука говорит! Астрономия! И писатели пишут!

– Да пошел ты со своими планетами и писателями!..

Пораженный несоответствием этой оскорбительной интонации всей предыдущей сердечности их отношений, Гриневич умолк.

Затем всё пошло по-прежнему, но чем-то чужим повеивало от Егора, словно он только притворяется тем, кем был раньше. Свои мысли он скрывал и носил глубоко в себе. Позже Гриневич пришел к мнению, что виной всему болезненное самолюбие Гошки, страх унижения и потребность оплачивать за него.

Они вместе окончили пехотное училище и начали служить на Дальнем Востоке младшими лейтенантами. Вскоре произошел случай, когда унижение наглядно отпечаталось на физиономии Гошки, превратив ее в маску горького страдания.

– Вы меня засношали, товарищ младший лейтенант! – хлестко высказался комполка по поводу того, что бойцы взвода Егора стреляли хуже всех в полку. – Командир роты докладывал о вас, как о брюхатой бабе. Приказываю не быть бабой! Месяц на подтягивание взвода!

Взвод подтянулся за три недели.

В то время Гриневич женился на хорошенькой комсомолке Тае. Смешливая, юркая, как мальчик, с товарищеской верностью в глазах,

она наполняла съемную квартирку чувством радости. Но всё вокруг тогда, как оказалось, кишело врагами. «Смерть гадинам!» – вопили газеты. Ядовитые змеюки ползали по всей стране и в армии, вредили, шпионили, устраивали заговоры. Их беспощадно расстреливали. И в этот смертельный бред попал отец Таи, комбат.

– Теперь тебе надо развестись со мной, – сказала Тая с хриплым металлом в голосе, глубоко втягивая в себя папиросный дым (в те дни она особенно много курила).

– Никогда! – последовал пылкий ответ.

А через год Тая ушла от Гриневича. Случилось это неожиданно. Он пережил два шока сразу. Один из-за того, что жена ушла. Второй из-за того, что ушла к Егору.

Не один раз Гриневич приставлял дуло «ТТ» к виску. Оставалось осмыслить последний миг. Как вдруг невыносимость страдания отступала, и жаркое желание жить заливало мозг. Решение откладывалось.

Со временем боль притупилась. Да и началась война. Гриневич знал, что ему не суждено выжить на передовой.

Последний поворот событий вновь поднял в нем бурю чувств. Он получил от тетки письмо. В нем сообщалось, что к Тае пришли из НКВД и дали 48 часов, чтобы собраться в ссылку, – как жене командира-предателя, перебежавшего к врагу. По Указу 227. А сын остается у тетки.

Свою историю Гриневич никому не рассказывал, держа ее взаперти, как злого волка в железной клетке.

4

Дятлов начал служить до войны ездовым артополком в Забайкальском военном округе. Служба оказалась совсем не такой, как представлялась ему в детстве. Солдафонство, произвол начальства и беспардонная грубость возмущали его душу. И все же его первая любовь – армия – не совсем разочаровала Дятлова. Армия защищала Родину, это главное.

Когда их дивизию отправили на фронт, бойцы ехали с волнительным ознобом и всматривались из вагонов в огневые зарева, в свет ракетных вспышек, перекрестья прожекторных лучей. Прислушивались к далеким раскатам и жаждали поскорее вступить в победный героический бой. Первая же бомбежка после выгрузки из эшелона потрепала их так жестоко, что сразу заставила изменить понятия о войне.

Начались фронтовые будни, санные поездки за снарядами, жизнь по трое суток без сна. Однажды вечером четверо ездовых, растянувшись цепочкой, повели коней на водопой к проруби под мостом.

– Воздух!

Самолет со свастикой на крыльях пролетел низко и аккуратно над головой Дятлова выпустил бомбу, которая с воем падала на него. Вся прожитая жизнь пронеслась в мозгу. Люди, пережившие такое, не врут. Дальше взрыв и мрак, больше ничего. Бурят Довлатов, друг Дятлова, откопал его из-под снега.

С ранением и контузией Виктор Дятлов пролежал в госпитале, а после получил направление на курсы младших политруков. Его поразило, что там учились люди, совершенно тугие на прохождение наук и тут же забывающие объяснения преподавателя, а то и вовсе безграмотные, как тот воин-старичок, который не умел ни читать, ни писать и сладко засыпал на занятиях.

Новоиспеченного младшего политрука Дятлова отправили на Волховский фронт. И теперь на скамье под маскировочным навесом перед ним с простодушными физиономиями сидели в рядок бойцы орудийного расчета, а он стоял и шелестел дивизионной газетой с портретом человека на первой странице, который был роднее отца. Казалось, что теплые лучи исходят от лица вождя, исполненного суровой, непоколебимой правоты, и что вся добрая сила мира следует за ним с красными знаменами.

– Наша задача сейчас – оборона, – разъяснял Виктор. – Но и в обороне мы не должны забывать о наступлении. И в обороне мы должны верить в победу. Враг будет разбит...

– Виноват, товарищ политрук! – торопливо подтрусил наводчик Гдемыло. Усы его росли пышной подковой. – Разрешите обратиться! Вас командование кличут до блиндажу. Срочно, кажу. К телефону!

Дятлов побежал на КП. В полутемени блиндажа на него пахло кислятиной табачного пепелара. Прижав к уху трубку, он услышал:

– Комиссар полка Зверев. Дятлов, знаешь расположение второй роты?

– Да, знаю, товарищ комиссар.

– Идешь туда политруком.

– Товарищ комиссар, я же кадровый артиллерист!

– Политработа везде одна, – пресек Зверев его жалобный возглас, – в артиллерии, пехоте и авиации. Знай, что приказы не обсуждаются, а выполняются. Через сорок минут позвонишь мне с телефона второй роты. Всё.

Выйдя из оторопи, Дятлов начал собираться. Сборы были недолги.

– Ну, ни пуха! – пожал ему на прощание руку командир полковой батареи майор Козловитин, выражая душевность всей сетью мелких морщин длинного лица.

Виктор пошел низинками, среди торчащих палок, бывших когда-то стволиками берез. Пули профилактических пулеметных очередей струйками зарывались в мох, вздымали фонтанчики в болотных канавках, с хрустом секли кору пней. Немцы патронов не экономили.

Выждав момент, Дятлов стреканул сквозь зону обстрела и рухнул животом в сохнущую грязь, едва не ужаленный цвиркающим ветерком. Перевел дыхание и пополз по-пластунски, а через подернутую ряской лужу прокултыхал на карачках. Находясь еще в этой собачьей позе, он поднял голову и осмотрелся.

Бегущие по синеве облака в который раз заслонили солнце. На землю упала холодная тень. Поражала безлюдная тишина среди разбросанных великаньей лапой стволов, еловых ветвей и белеющих свежими расщепами обрубков. За несколько километров отсюда слышался вчера неистовый рев арналета. Да... Большого леса как не бывало!

Дятлов встал и отер рукавом ватника потное, грязное лицо. И тут заметил, что в него с безмерным удивлением вглядывается солдатик. С достоинством Виктор приблизился к нему.

– А, товарищ политрук! – приветливо сказал боец. – О вас звонил комиссар Зверев. А жить вам у нас только шесть дней!

Дятлов смерил его взбешенным взглядом. Росточка широкоплечий герой был малого, метра полтора с каской, возраста отеческого, за сорок. На щеке его под ремешком багровела царапина. Он якобы и шутил, но выглядел затравленно, словно молил о помиловании.

– Как шесть дней?! – рявкнул Дятлов. – Из чего ваши заключения? Вы что, оракул?

– Оракул не оракул, а вот за 18 дней двух политруков убило, а вчера политрука Блинова ранило. Вот и считайте! Что получается?

– Паникер ты, а не солдат! Вот что получается! Как ваша фамилия?

– Я телефонист Глушков.

– Так вот, телефонист Глушков, за панику ты мне ответишь! – пригрозил донельзя возмущенный Дятлов. – Соедините меня со Зверевым!

Они спустились в берлогу КП – лаз под еловыми корнями. Глушков засуетился, долго зуммерил, но связь дал хорошую.

– Товарищ сорок четвертый?.. Я во втором хозяйстве. Приступаю к работе.

– Не горячись, один по обороне не ходи, – посоветовал Зверев с теплой хрипотцой в голосе. – Но, пока светло, обойди все огневые точки. Подумайте с командирами, что делать. А утром к десяти ноль-ноль явишься ко мне с политдонесением. Осваивайся.

– Есть осваиваться!

5

Прежде всего политрук познакомился с Гутяхиным и Озерцовым, который не стеснялся распахистой речи, словно заправский колхозный конюх. При этом его свежезабинтованная голова соображала дельно. И в трусости его не упрекнешь: с осколком, задевшим кость черепа, он не покинул позицию, пережив пекло артобстрела, после которого восемь человек похоронили, семнадцать было ранено, один дезертировал.

Озерцов построил роту и представил ей Дятлова. В строю стояли 57 человек – негусто, если знать, что штатным расписанием подразумевается 250. Румяная молодежь чередовалась с матерыми дядьками. На всех насчитывались 32 винтовки, восемь ручных пулеметов, одно противотанковое ружье, двести «лимонок», 42 осветительные ракеты и боезапас на полчаса интенсивного боя.

Распорядительный, быстро разбирающийся в обстановке капитан Гутяхин попросил у командира батальона выставить дополнительно пять расчетов с пулеметами «Максим» и усилить дневную оборону снайперами.

На всем протяжении фронта немцев сдерживали за водной преградой. И лишь здесь, близ Новгорода, противник захватил небольшой по стратегическим меркам плацдарм на восточном берегу Волхова и закрепился на нем силами трех дивизий. В этом углу приходилось их блокировать, сталкиваясь лицом к лицу.

Жизнь роты сосредоточилась в прямоугольнике длиной в километр и шириной метров двести. Дятлов увидел, как трудно приходится бойцам, живущим в полуголоде, завшивленности,

слякоти землянок. Теоретически рота могла бы занять позицию чуть дальше и повыше, на пригорке, но приказ «ни пяди родной земли врагу» заставлял сидеть в сырой низине.

Немцы устроились гораздо комфортнее, заняв жилые домики. Их позиция отстояла совсем недалеко от русской и легко просматривалась невооруженным глазом, можно было наблюдать, как из печных труб вились уютные дымки... Нейтральной полосой служил обширный луг, на котором до войны колхозники косили траву, а теперь изрытый снарядами. Кое-где на нем торчали молодые березки и жалась к земле кусты ползучего орешника. В воздухе же господствовал надоедливый вороний гай. Порою стаи этих черных птиц затмевали солнце.

Вечером Дятлов вместе с лейтенантом Волошиным и старшиной Костей Агаповым буквально на животе облазил двенадцать огневых точек. Ночью саперная рота перепроверила минные поля и подновила их, заминировала с трех сторон подбитый немецкий танк.

Спал Дятлов плохо. В его возбужденной голове мешались впечатления прошедшего дня и новые заботы. Его страшила предстоящая встреча со Зверевым, которого раньше он не видел. Зверев слыл душой полка, его любили и отзывались о нем очень уважительно. И как такой человек, бывший ленинградский партийный работник, знавший в свое время Кирова, отнесется к нему, Дятлову? Не будет ли он, Виктор, выглядеть в его глазах глупым сибирским валенком?

Утром он тщательно привел себя в порядок и отправился в штаб полка. До раскидистой березы с тремя стволами, растущими из одного корня, тропинка вела сначала через еловый бурелом, ходить по которому было опасно: всё это пространство простреливалось. Далее шли спокойные лужочки и березовые околки, горевшие желтым великолепием бабьего лета. Сентябрь 1942 года выдался жаркий.

Волнение Виктора улеглось, как только он открыл толстую дверь блиндажа. Внутри чисто и просторно, хоть танцы устраивай. Навстречу поднялся стройный человек лет тридцати пяти, русский, безупречно аккуратный – от прически, волосок к волоску, до начищенных и пахнувших свежей ваксой сапог. Зверев поздоровался с гостем за руку, усадил к накрытому белой скатертью столу и сел напротив. За ширмой из простыни кто-то монотонно храпел, быть может, сам Батя, командир полка.

– Боевые средства ты, я вижу, уже изучил. И что думаешь?

– Думаю, товарищ комиссар, что роту необходимо усилить личным составом. Она на бойком месте, а немец не дремлет. И боеприпасов бы побольше.

– При первой же возможности усилим роту и личным составом, и патронов дадим. – Комиссар смотрел на Виктора с одобрительной улыбкой, от которой углублялись приятные ямочки на щеках. – Но пока надо обходиться тем, что есть. Страна, тыл и товарищ Сталин о нас думают. Сейчас надо усилить обороноспособность за счет маскировки, создания ложных огневых точек и использования кочующих пулеметов «Максим». Твоя задача – помогать комсоставу роты.

– Понимаю, товарищ комиссар.

– Береги людей. Заботься о них. Люди – это наша главная сила, главное богатство. Прояви любознательность: все ли бойцы пишут домой письма? Какое у них физическое и психическое состояние?

Жадно и благодарно слушал младший политрук наставления комиссара, которые ободряли и давали ясность.

– А что у тебя с рукой? – неожиданно спросил Зверев, заметив, что его собеседник машинально растирает пальцами левую кисть. – Ранение?

– Нет, товарищ комиссар, это у меня с детства, – признался Дятлов со стеснительной деревенской улыбкой. – Родимчиком болел, от испуга...

– Ах, родимчиком... – кивнул Зверев. И хотел, видимо, спросить что-то еще (мол, а как же ты в армию попал?), но из деликатности закруглил беседу: – Всё, Дятлов, можешь идти.

В роту Виктор возвращался окрыленный, чувствуя личную значимость для Родины. «Страна, тыл и товарищ Сталин думают о нас...»

6

Мальцом Витька сидел у открытого окна, как вдруг что-то огромное с топотом закрыло свет и бухнуло в избу:

– Е-е-е! Р-р-р-о-о-о!

Это всего лишь бородатый мужик прискакал на лошади к отцу:

– Эй, Петро! Где ты? Выдь по делу!

Ребенок зашелся в испуге. На два года родимчик-паралич припечатал его к кровати. Витьку отпаивал и отмаливал старушечий актив.

Когда мальчик смог встать, левая рука висела плетью, пальцы на ней не гнулись, он заикался, прихрамывал и панически боялся всего – гусей, коров, лошадей, собак. Так и рос, пришибленный болезнью.

Но вдруг случилась притча. Он по уши провалился в выгребную яму уличной уборной и не надеялся уже выбраться из вонючей трясины. Его спас шипучий гусак, который поднял вокруг гоготание, благодаря чему из дому выбежала соседская бабушка Ефросинья. И после этого болезнь стала отступать.

Безродная собака сделалась Витькиным дружком и провожала его в школу, а это не ближний свет, райцентр. Для угощения лохматого приятеля мама давала Витьке хлеб.

Жить было хорошо. Природа цвела и звенела неизбывным восторгом. Утрами петухи с кукушками перекликались. В прудах рыба, играя, выбрасывалась в воздух и мягко шлепала по воде. Жаворонок в полдневном небе барашком пел, роньжа, дрозд, синица ему подпевали. На покосах косари с песнями клали траву в ряд. После грозы ребяташки по лужам бегали, кричали и смеялись, с головы до ног мокрые.

И, словно чума, в тихий рай ворвалась коллективизация. Деревня будто взбесилась. Каждодневные собрания, митинги и кустовые сходки. В семьях распри. Женщины плачут, мужчины ругаются. Старики и старушки Богу молятся. Откуда-то появились нищие и монашки во всем черном. То и дело слышались слова «антихрист», «конец света». Коммунары с винтовками разъезжали по деревне на лошадях.

Мама примкнула к монашкам и заставляла детей молиться, а в школе говорили: Бога нет. Отец спорил и ссорился с матерью, дети плакали, не понимая их ссор.

Большевик, председатель сельсовета, ходивший в красноармейской шинели, отец отвечал за коллективизацию и дома теперь бывал редко, замкнулся, стал сердит и всем недоволен, словно его подменили. Он грубил детям, забросил свое любимое портняжное дело, которым занимался на досуге. Вместе с детьми записался в колхоз, увел со двора двух коней и двухлетнего жеребенка-стригунка. На второй день увезли плуг, борону «зиг-заг», сбрую, телегу и сани.

Чтобы уговорить маму, на помощь отцу приехали из райцентра дядя Леша с женой Ульяной Ивановной, два коммунара, секретарь сельсовета

и милиционер Сошников. Всем гуртом они убеждали ее. Мама сдалась и написала заявление в колхоз. Отец рассмеялся, просиял и при всех ее поцеловал.

Началась колхозная жизнь. Из деревни потянулись обозы с кулацкими семьями. Они ехали с малыми детьми. Улицы угрюмились забитыми окнами. Коровы ночью разбегались из общественного стада к прежним хозяевам, мычали с набухшим выменем, ждали, когда хозяйка выйдет с ломтем хлеба, с ласковым словом и подойдет. А вот это и запрещалось. И хозяйка свою бывшую кровушку-коровушку со слезами на глазах гнала в колхозное стадо.

Маму назначили скотником. Овец собрали в конюшне. В феврале кончилось сено. Скот кормили соломой, ободрав ее с крыш. Овцы к соломе аппетита не проявили. Они ходили за мамой и блеяли в триста глоток. Мама то плакала и ругалась, то вслух читала молитву, то проклинала свою судьбу, отца и антихриста. Решили кормить овец осиновыми ветками. Голодные, они всей массой набрасывались на корм, топтали ягнят и лезли под копыта коней, которые лягались насмерть. Пошел падёж, для мамы большое горе.

У отца еще хлеще. За слабую коллективизацию и медленное раскулачивание его с работы сняли, осудили на три месяца к исправработам и отправили в Сиблаг. В следующей пятилетке отцу суждено было погибнуть от ядовитого спирта-денатурата в одной обойме с восемью мужиками, когда они ехали в телеге из райцентра и вместе распивали бутылку...

Витька мечтал служить в Красной армии, чтобы бить буржуазию и защищать социализм, как отец. Без армии жизнь казалась ему мучительно тоскливой. Однако медицинские комиссии безоговорочно Дятлова браковали. С его-то рукой, с его-то еще пятью болезнями – да в армию? Нет уж, простите, молодой человек. РККА – не для калек. Это вам не богадельня!

Одним днем прямо в деревню по каким-то делам приехал военком с четырьмя шпалами в петлицах.

– Во что бы то ни стало хочешь стать красноармейцем? – улыбнулся красавец мужчина обратившемуся к нему упертому парню. – Что ж, я тебе помогу.

И сказка стала былью. Дятлов начал службу в Забайкальской дивизии. До войны оставалось два года.

7

Утром, когда рассеивалась туманная мгла, обнажалось грязное, разбитое поле. Усиленный радиодинамиком, над нейтральной полосой гремел сытый рупорный баритон. Он призывал сдаваться, сладкоречиво разглагольствуя о «блаженстве жизни в свободной Германии», об идиллии послевоенного счастья.

Сидя в сырых окопах, бойцы потерянно дымили «козьими ножками». Их лица почернели и осунулись, на щеках ходили желваки, глаза смотрели виновато. Чистый русский язык предателя-власовца был невыносим.

Муторно гудя, целыми днями над ротой кружила «рама». Зенитные залпы не смущали ее, словно заколдованную. Окутанная одуванчиками вспышек под брюхом, над фюзеляжем, у свастики на хвосте, она выныривала из облаков и сеяла розовые листовки, которые красочным веером опускались к земле и разлетались по обороне.

– Кличь комсомол! – бежал политрук к сержанту Одинцову. – Пойдем собирать эту дрянь!

Комсорг роты Сержант Одинцов, парень чернобровый, веселый и надежный, в мирное время работал школьным физруком. В роте он сдружился с ровесником-сержантом Завьяловым, частушечником и плясуном, синева глаз которого лучилась смешливостью.

Завьялов и Рытиков, профессиональный архангельский охотник, носили на гимнастерках медали «За отвагу». Рытиков был солдатом на загляденье. Ладный, сноровистый, неутомимый и понимающий всё с полуслова.

Комсомольцы и прочие бойцы устремлялись на сбор бумажек, за чтение и хранение которых грозил суд и срок от трех до семи лет. И все, как и сам политрук, читали тайком. Под рисунком с винтовкой прикладом вверх (штык в землю) говорилось, что этот пропуск служит основным документом для сдачи в плен. Пропуск наколоть на штык, затвор положить в карман. При себе у пленного должны быть 15 боевых патронов, противогаз и саперная лопатка. Листовка обещала сохранение воинского звания и холодного дарственного оружия. После войны пленный принадлежал рейху с предоставлением свободы и постоянного места жительства. Говорили, что один красноармеец отдаленной части был задержан с пропуском в кармане на передовой и тут же расстрелян.

Тысячами Дятлов сдавал листовки в штаб полка. Он ходил и один (что вообще-то запрещалось ввиду опасности), и в сопровождении бойцов, несших мешки. С позиции дорожка уходила в редколесье и далее шла по лугу с чудом сохранившимся стожком прошлогоднего сена.

Расположение роты простреливалось вдоль и поперек, только свист стоял. Поэтому днем полевая кухня привозила к березе-тройнику одни галеты или сухари: с термосами оттуда было не пройти. Горячее ели (и то не всегда) лишь после заката.

Бывало, старшина Агапов надрывался в телефонную трубку:

– Галеты жду! Три ящика! Ты мне, понимаешь, три ящика галет задолжал, яшкин корень! Алло! Алло! Я жду галет!

Выдавая боезапас, старшина приговаривал:

– Береги патроны! Это ценность народная! Без цели не стрелять!

– Пора Красной армии по миру идти, милостыню просить Христа ради! – ворчал какой-нибудь солдатишка из колхозников, расписываясь в получении пятнадцати патронов.

– Прикуси язык! – угрожающе басил старшина, топорща ус. – Молод еще критику наводить!

Критик замыкался в себе. Сам Агапов был далеко не стар. До войны он работал счетоводом, а теперь в свои 25 лет стал строгим, но заботливым отцом солдатам, считая святым долгом накормить их, обути и одеть. В роте у него не сложились отношения лишь с Озерцовым, который любил предъявлять неумолимые требования. Приказывал, например, раздобыть для бани ящик мыла. Чтобы завтра же оно прибыло на позицию! Несмотря на все заверения старшины, что мыла на складе интендантской части нет.

– Какой же ты старшина?! – злился Озерцов. – Ничего не знаю, завтра чтоб мыло привез!

Всякий раз после таких обострений Агапов шел к командиру роты, который отменял распоряжения заместителя. Но однажды Озерцов избил старшину, то есть дал несколько безответных зуботычин. С тех пор Агапов перестал старшего лейтенанта уважать и вел себя с ним сугубо официально. Зато и тот успокоился, прекратил тиранить подчиненного приказами.

– Галеты вези! Галеты... Алло! Алло! Алло! Тыфу ты, связи нет... Глушков! Связь давай!

Во время обстрелов связь частенько рвалась. Земля дрожала, а Глушков под раскаты взрывов тряс и дергал аппарат.

– Телефонист Глушков! – поднимал голову от планшета Озерцов. – Немедленно выйти на линию и восстановить связь!

Глушков бледнел и обреченно-умоляюще смотрел в жесткие глаза.

– Немедленно дай связь, твою бога душу мать! – взвизывался Озерцов, и телефонист выпливался из блиндажа. Глушков уже прошел ранение и госпиталь. Он очень боялся смерти.

Канонада грохочет во всю адову мощь. Бойцы пластаются в углах окопов, забиваются в щели, вжимаются в землю, стискивая головы обеими руками. Уши раскалываются от обвального рева. Вой, свист, цвирканье осколков. Жизнь и судьба вручены случаю и неизвестной высшей силе. Боже, пронеси!.. Господи!.. Нервы перекручены в жгут. Сердце замирает, падает. Сейчас что-то вопьется в тебя, растерзает – или будет отсрочка, спасение, дыхание, чувства.

И приходит тишина. Она в ушах, в воздухе, в вечности. Оглушая, немая пустота. Кончилось, пронесло. Глухота отпускает уши. И вот тогда-то в них врывается долетающий с той стороны лай в три пасти:

– Иван, будь здороф! Будь здороф, Иван!

Фрицы скандируют и упиваются сверхчеловеческой насмешкой, играя на нервах русских людей. От вражеского пожеланьица переворачивается солдатское нутро, сердце кровушкой умывается. На родной-то земле! Горько было отсидиваться в окопных норах под психическим напором совсем охамевшей немчуры.

8

В командире отделения снайперов Оле Бердниковой, круглолицей, веснушчатой, крепкой девушке 19 лет, чувствовалась прямая и честная душа простой русской бабы, идеал жизни которой состоял в том, чтобы выйти замуж за хорошего человека и нарожать детей. Но дуло ее винтовки с оптическим прицелом стреляло пламенной ненавистью, и на боевом Олином счету был уже десяток офицеров в черных шинелях.

Девушки-снайперы, секретясь на крышах блиндажей или на земле под ворохами веток, охраняли роту днем. Для Дятлова всегда оставалось загадкой, как они могли выдержать не шелохнувшись по многу часов подряд.

Для ночной охраны роте придавался пулеметный взвод, которым командовал друг Дятлова старший лейтенант Мишка Выдрин.

Ночи стояли лунные и при этом очень опасные. Мало ли что могли выкинуть немцы, которые иногда порывались пойти в атаку, броситься в ножи. Ночные секреты слухачей уползали далеко вперед, как можно ближе к немецким окопам, чтобы предупредить, если что, их наскок. Лучшими среди слухачей считались сержант Завьялов и боец Рытиков из взвода лейтенанта Тимченко, прибывшего недавно из Омского училища «Выстрел» вместе с лейтенантом Кроном. Хорош был и немолодой якут Ытыквельгенов с зорким глазом охотника. На посту он никогда не спал. В то же время штабные проверки выявили несколько случаев дремы часовых, о чем было сделано замечание младшему политруку:

– Воспитывайте людей! Это ваша ответственность!

Поэтому Дятлов удвоил собственную бдительность. В слоях холодного тумана на рассвете он продвигался по окопу. Впереди прояснился силуэт одного странного бойца, прислоненного к укосине блиндажной стены.

– Рахманов!

Не откликается. Словно родную жену, обнял винтовку и храпит. Виктор вскипел: сволочь часовой мог проспаться вылазку врага! Он высвободил оружие из нежных объятий спящего и почал дубасить его по спине.

– Моя плен! – заблажил гад. – Моя плен! Моя плен!

– Ах, ты в плен!

Тот кричит тогда:

– Моя стрелять будет!

Вывернулся и выхватил у политрука винтовку. Но затвор уже оттягивал карман Дятлова. Рахманов – за угол, там второй ствол. Три выстрела прогремели в сторону противника.

– Моя не спала!

Из землянок выскочили бойцы и командиры. Отбой, ложная тревога...

Целый день политрук думал: что писать в политдонесении? Затвор Рахманову он отдал. Выстрелы раздались, значит, нет доказательств сна на посту. Если подтвердится, что часовой спал, его будут судить, если нет – то Дятлова. Дурацкое положение! Выручил капитан Гутяхин:

– Давай, я буду читать твои политдонесения. Я знаю, как их надо писать. Если что – подправим.

Всего в роте служили семь узбеков. Они плохо говорили по-русски и почти не слушали командиров. Получив приказ, опрометью броса-

лись к надменно поджимающей тонкие губы особе – Рахманову, и подчинялись лишь его указаниям. Неохотно они ходили за пайком к березе-тройнику, поэтому их группу из двух-трех человек обычно возглавлял деспотичный сержант Огородников, который в отделении ставил себя большим командиром и всё выжимал из каждого солдата.

Бойцы держали узбеков за клоунов, дразнили, устраивали над ними хоровое ржание.

– Эй, шурум-бурум! Посади в землю твоя башка – хороший дынька растет!

Единственный, кто не смеялся над бедолагами и учил их русскому языку, был сержант Завьялов.

Расстроенный, переживая о том, как к нему отнесется начальство, Дятлов отправился в полковой штаб. По пути его засек «Мессершмитт». Виктор – к стожу. Из самолета хлестали пулеметные очереди. Как видно, охотника разобрал азарт. Но большая скорость машины мешала точно прицелиться в человечка, отчаянно крутившегося вокруг стожка. Расстреляв патроны, «Мессер» улетел восвояси. Снова Виктор пережил такое, что запомнилось навсегда.

К Звереву он явился измотанный и бледный.

– М-да-а... – покачал головой комиссар, выслушав историю про Рахманова. – Ну и гусь! Знаешь, кем он был в своем ауле? Муллою! Проследи за ним хорошенько. Чтобы он своими молитвами наспод монастырь не подвел! У нас в первом батальоне 18 национальностей. Мы должны воспитывать дружбу народов. А как в роте с интернационализмом?

– Неважнецки, товарищ комиссар.

– Ну, ты понял, что к чему. Воспитывай.

– Есть, товарищ комиссар!

– И еще, Дятлов. Тебе надо обратить внимание на рост партийных рядов за счет хороших бойцов и командиров.

Кроме Дятлова, коммунистами в роте были один тихий солдатик (Малыхин), капитан Гутяхин и старшина Агапов, избранный парторгом.

9

Начало октября принесло Виктору повышение воинского звания. Он расстался с доверском «младший». Как положено, кубари обмыли в разведенном спирте на дне кружки. Спирт выпили, кубики вкрепили в петлицы шинели и гимнастерки.

Приведя себя в свежий вид, в новом звании Дятлов прибыл на совещание политсостава пол-

ка. Комиссар Зверев начал с того, что в обороне сложилась гнетущая обстановка. Мы отсиживаемся и не знаем, чем ответить противнику. Немцы наседают всюду, однако наше командование накапливает силы для достойного отпора и будущего наступления. Под Сталинградом идут жесткие оборонительные бои, но немецкие резервы тают. Истинное положение таково, что оно может привести к скорому разгрому немецких частей. Успешные действия осуществляют наши соседи – новгородские и ленинградские партизаны...

– Вы видите, товарищи, что враг наглет и применяет волевые приемы. Нам остается только один вариант: думать. Думать! Как сохранить бойцов? Как обмануть противника и укрепить свои рубежи? Что противопоставить врагу в агитации? Как подготовить личный состав к будущему наступлению на Новгород?

Эту установку «думать» дали, похоже, по всему Волховскому фронту. Потому что из соседних полков тоже доходили слухи о том, как командиры напрягают извилины и выдвигают придумки.

Озерцов и без того весь иззаботился мыслями об усилении обороны роты. Нынешняя тактическая схема казалась ему Тришкиным кафтаном с прорехами то там, то здесь. Другой вопрос, известны ли они противнику. Но все зависело от силы и дерзости его удара, которого опасался старший лейтенант.

Проверив вечером огневые точки, Озерцов вернулся в блиндаж, снял сапоги и устало прилег на топчан. Немцы уже изрыгнули обычную порцию артогня, в свои права вступила передышка. Осенняя тьма быстро сомкнулась над землей. Дневальный боец растопил печку-буржуйку, чего не делал днем, чтобы не нарушать маскировку. На столе коптил жгутовой фитилек. Мысли Озерцова потянулись к маленькой дочери и молодой, миниатюрной жене, участнице любительской балетной студии. Теперь она где-то на заводе стоит в черной спецуре у станка... Ему откровенно привиделась вся ее нагота и прежняя их взаимная жаркая нежность, которой так не хватало ему сейчас... И вдруг со смущением Озерцов поймал себя на том, что и любая подходящая подруга, окажись она под рукой, устроила бы его организм. Но мысли снова переключились на оборону. В голове забрезжила одна идея, которая после некоторого размышления показалась ему заманчивой...

На следующий день за столом получился хороший разговор. Дятлов не очень уважал матерщинников, но когда Озерцов касался чисто военной специфики, он выражался без лишних прикрас. И Гутяхин, и Озерцов, и Гриневич, и Волошин попали на фронт с кадровым составом, знали строй и тактическую грамоту, в каждом сразу узнавалось то, что называют настоящей военной костью.

– Мы тут с товарищем капитаном помараквали и разработали план длительной обороны. Много нужно изготовить ходов сообщений в полный профиль, подготовить к зиме дополнительные землянки, дзоты, оборудовать проволочные заграждения и построить вал в три метра высоты у КП, чтобы там свободно можно было ходить и выстраивать бойцов перед вахтой, – чеканил Озерцов на маленьком совещании комсостава с крепким чаем и спиртом. – Перепроверить и пристрелять репера и ориентиры. Уточнить график ночных дежурств. Оборудовать новые точки слухачей-секретов. Обеспечить роту припасами минимум на шесть часов интенсивного боя. В тылу батальона заготовить на зиму 15–20 кубометров дров.

– Вал? – заинтересовался Гриневич, разжевывая кусочек сала в блаженном хмелю. – Хорошая инженерная мысль!

– Посмотрим, сказал слепой, – усмехнулся Гутяхин. – Посмотрим. Построим эту великую китайскую стену, это в наших силах.

Поначалу работали ночами, пока немцы не жились в постелях. В ход шли обломки древесных стволов, ветки, куски колючей проволоки, срезанные болотные кочки и тонны земли, которую носили на плащ-палатках и трамбовали кто чем мог, – ногами, лопатами, деревянными обрубками. Источником освещения служила луна. Тьма и туман скрывали бесшумное копошение теней, но днем немцы наверняка с удивлением наблюдали появление фортификационного сооружения.

– А что если днем поработать? – предложил Озерцов.

– Что-что? Ты что, смеешься? – опешил командир роты.

– Нет, я серьезно, товарищ капитан.

– Как серьезно? Накроют!

– Артиллеристы с батареи Артамонова ведут дневник обстрелов. Они уверяют, что обстрелы идут строго по графику. Через каждые два часа и столько-то минут. Ни одного отступления от

правила. Ни одного! Хоть голыми на площадь выходи, артналета не будет.

– А если будет? Разве они удержатся?

– Авось не будет. Можно рискнуть.

– Рискнуть? М-да-а...

Артиллеристы продолжали горячо убеждать: не бойтесь, можете вкалывать под солнышком!

Выпив по старшинской чарке, впервые работники высыпали на строительство при свете солнца. Свесив ноги, Озерцов сидел на крыше блиндажа с часами в ладони и милицейским свистком на груди. Политрук всматривался в бинокль через нейтральную полосу. Немцы прятались за прозрачной завесой молчания. В махрах облаков тлело осеннее светило. Казалось, резко, нашатырно пахло самой смертью.

– Притихли, зверюги! Как бы не догадались прихлопнуть нас из минометов. А если из пушек шарахнут прицельно? – пробормотал Озерцов.

– Могут и шарахнуть, – согласился Дятлов.

– Веселей, товарищи красноармейцы, действуйте! Дружнее! Враг будет разбит, и победа будет за нами! – подстегивал строителей Озерцов незаемным, искренним пафосом. Он на самом деле был таким, готовым жизнь отдать за Родину.

– Еще пяток субботничков, и фашист нас не достанет! – поддержал его комсорг Одинцов.

Работы оставалось еще порядком. Насыпь выросла только по грудь. Бойцы прибавили темпы, но все чаще с тревогой поглядывали за растущий вал. Здоровый солдатище, хлипковатый длинный мальчишка и его коренастый ровесник собрали шанцевый инструмент и потихоньку смывались. Старший лейтенант вскочил на блиндаже во весь рост.

– Ат-ставить самовольный уход! Вернуться и продолжать работу, трусы, в три погубели вашу мать! Без свистка никому не уходить! До конца смены еще четыре минуты. Куда вы... – и он загнул такое, что, как живые, зашевелились ветки на блиндаже – под ними секретилась девушка-снайпер.

Трое рысью вернулись к насыпи.

Прямо-таки с механической, нечеловеческой пунктуальностью немцы продолжали осыпать оборону строго по своему графику, не сделав ни единой попытки помешать строительству вала. А сооружение вышло на славу. Метров сорока длиной, вал начинался от КП и затем изгибался под прямым углом, образуя за собой мирный оазис. Снаряды не могли пробить толщу земли.

– Прямо курорт! – радовались бойцы.

Вдоль насыпи поставили столики и скамеечки. Теперь можно было спокойно обедать, разбирать оружие, проводить политзанятия.

10

Началась та хмурая, постылая пора, которая наполняет душу холодным сумраком. В такие дни хорошо ходить на охоту, читать книги, пить чай в домашнем уюте и философствовать о тайнах жизни, но воевать – плохо. Днями и ночами сыпал дождь, он то тихо и тоскливо моросил, то под ударами ветра лился крутыми брызгами. Земля набухла влагой и размякла до жирного месива.

Вода сочилась из грунта, изматывая бойцов, отбирая их сон. Они вырыли в землянках ямы и по очереди черпали воду касками. Вздремнешь на полчаса – и проснешься, оказавшись в воде! Вот что значит сидеть в болотах.

Людей заедали вши. Сыто и лениво ползали среди бела дня по шинелям – мелкие и злые, крупные и толстые, которые, судя по ходовой солдатской шутке, пойдут на племя. Одежду прожаривали на раскаленной докрасна бочке, однако размножение насекомых опережало возможности их уничтожения. Баня, построенная как большой шалаш под защитой вала, тоже давала лишь относительное облегчение.

Чувствуя, что бойцы приуныли и раскисли, командиры старались быть вместе с ними и, разбив ночь на отрезки, дежурили по очереди. Вот стоит солдатик сиротой на посту – недославший, недоевший и замерзший. «Держись, Ванюша!» – хлопает его по плечу политрук, и тому уже легче.

Участились полковые проверки. Из штаба являлось строгостроительное начальство со свитами, куда входили комбаты, политруки, писари, чуть ссутуленный, но благообразный майор Рюмин как парторг полка и от нечего делать начфин и начхим. Комиссии составляли акты. Подписывая бумаги, Гутяхин шутил и любезничал. Он знал формальные схемы проверок и человеческие слабости визитеров и умел дипломатическими средствами добиваться того, чтобы до больших неприятностей не доходило.

Шли дожди. В эти запеленатые хмарью дни в роту прибыло пополнение, ядром которого были тяжеловесные папаши. Гутяхина же заинтересовала одна явно бандитская рожа, преисполненная кабаньего достоинства.

– Как фамилия?

– Рядовой Евсеев! Фома Душегуб собственной персоной!

Подумав, Дятлов и Гутяхин направили Евсева в первый взвод, к Волошину.

По странному стечению обстоятельств Волошин оказался знакомым Душегуба. Не минуло и суток, как яростный Евсеев ворвался в командирский блиндаж, содрал с лысой головы шапку и швырнул ее оземь.

– Волошин!.. Убью гада!.. Переведите меня во второй взвод, к лейтенанту Крону!

Гутяхин чуть помыслил и вызвал Агапова.

– Старшина! Евсееву дай работы. Накорми его как положено. А завтра мы его у тебя возьмем.

Вызвали лейтенанта. Волошин всегда имел в заначке спирт, ходил под легкими парами и цвел румянцем на гладко выбритых щеках.

– Да, я по спецмобилизации был зачислен в конвойные войска, – рассказал он. – Служил два года в Иркутской тюрьме и там Евсева встречал...

Удивительно тесен мир. И двое знакомых, столкнувшиеся нежданно-негаданно, даже перед лицом общего врага остаются непримиримыми друг к другу.

Евсеев прижился во втором взводе. Все остерегались его, порешившего уже пять человек. Первой его жертвой стал собственный двоюродный брат, задушенный по пьянке. В штабе полка советовали: вы с заключенными поосторожнее. Но и так было видно, что в темном месте Душегубу с его комплекцией хряка английской породы – огузненной тушей на коротеньких ножках – лучше не попадаться. Его побаивались и Дятлов, и Озерцов, и сам Гутяхин.

Но при всем своем свирепом страхолюдстве Душегуб бывал иногда прямо артистом. В бане Дятлов рассмотрел его дивную художественную роспись: голая женщина, клыкастая пасть тигра, обоюдоострый меч, черт с клюкой, Кавказские горы, лучезарное солнце в кудрявых облаках, слово «Сибирь» жирным шрифтом вокруг пупа, а также кокетливый глаз с длинными ресницами в неожиданном месте. Глянешь на его жеманный прищур и невольно улыбнешься.

В паре с Евсеевым приехал апатичный 18-летний рецидивист Рябов – Женька Фитиль, рост 193 сантиметра, также амнистированный в честь 25-летия Октябрьской революции. Он хорошо писал тушью, поэтому его скоро забрали

в штаб полка, где он рисовал топографические карты.

С этим же пополнением в строй вернулся башкир Феков. Вялый, медлительный и туповатый сын степей был незаменим на тягловых работах, таскании бревен, пулеметов и минометов, ящиков со снарядами. Он много и долго о чем-то думал, должно быть, о войне и мире, о жизни и смерти, о родном доме.

Ел Феков с ненасытным аппетитом, истребляя килограммы хлеба и галет, и подбухнувший Агапов нередко его третировал:

– Прорва! Где я на тебя жратвы напасусь? Ёшки-моташки! Разве я тебя прокормлю? Ты всю роту обожрешь! Был бы я судьей, я бы тебе десять лет дал, чтобы тебя, битюга, не кормить!

Но агаповские сарказмы категорически прекратились после того, как однажды авторитетно прохрипел бас Фомы:

– Ша, товарищ старшина! Завали рот! Заглохни, будь добренький! Дай моему корешу спокойно пошамать!

– Он с котлом вместе поваров заглоти... – оправдывался старшина.

– Евсеев! – взвился зато петушиный фальцет белобрысого латыша Крона, которого за глаза бойцы звали «сынком». – Что за вольности в обращении к старшему по званию! Вы где находитесь? Здесь что, армия или казацкая вольница? Чтобы я не слышал подобного больше!

– Слушаюсь, товарищ лейтенант! – рявкнул и картинно вытянулся толстолобый и курносый Фома, будто бы покоряясь разгневанному мальчику.

Выпускники Омского военного училища Крон и Тимченко прибыли с тем же пополнением. Тимченко был худ, жилист и пел замечательным тенором. В Виннице у него осталась пышная невеста, которая именно пышностью ему и нравилась. А еще тем, что была очень заботлива и любила стряпать вареники с вишней.

11

Из-за успехов Красной армии и доставляемого беспокойства от полковой и батарейной разведки немцы стали осторожнее и по вечерам устраивали иллюминацию. Словно в большой праздник, нейтралка вспыхивала феерическим сиянием, а наутро наглые фрицы предъявляли счет в три-четыре глотки:

– Рюс! Плати за освещение!

Красноармейцы терпели обиду. Чем тут ответить? В психическом противонапряжении

двух миров дух тевтонский чувствовал себя куда увереннее скромного, наивного колхозно-пролетарского духа...

Жизнь второй роты шла своим чередом. Но как-то свинцово-серым утром, проверяя посты, Дятлов вновь наткнулся на сладко дрыхнувшего Рахманова. Виктора от ярости затрясло. С размаха он треснул спящего по физиономии. Тот заохал и заойкал.

Продолжая дрожать крупной дрожью, Дятлов доложил об инциденте командиру роты.

– Давай посадим подлеца в каталажку, – предложил Гутягин. – И расстреляем к чертовой матери! Я напишу приказ...

Рахманов связали руки и повели его к березе с тремя стволами. Там поставили на колени. Перед строем был зачитан приказ командира:

– Именем Союза Советских Социалистических Республик...

Рахманов очумело внимал и, видно, молился про себя. Бойцы нацелили винтовки, Агапов – автомат. Приговоренный упал на живот, прополз по слякоти к командирским сапогам и, обцеловывая их, залепетал:

– Не надо моя стрелять! У меня молодой жена и три дети! Моя спать не будет!

– Так будешь или не будешь? – строго спросил политрук.

– Нет, нет! Моя не будет спать!

– Отставить расстрел, – приказал капитан. – Развяжите его.

Бойцы опустили стволы.

– А я его чуть не шлепнул! – поразился старшина.

– Мой приказ был фиктивный, – сказал Гутягин. – Будем считать, что проучили...

В конце ноября выпал первый снег. Он слепил глаза белизной, рождал в головах мысли о морозной зиме, дровах, санях, мерзлых трупах лошадей, идущих в пищу. В снеге была радость новизны, но и какая-то печаль зябкости.

Вечером немцы потрещали пулеметами, осветили ракетами и успокоились. К ночи подморозило. Дятлов, одетый в ватник и ушанку, с пистолетом в кобуре и «лимонками» на ремне выскочил из переднего окопа. Отчетливо светила луна, стояла опасная тишина, таившая, казалось, гибельные неожиданности. Но неподалеку за пнями прятались надежные товарищи – Завьялов и Рытиков.

Политрук – хруп-хруп-хруп – прогулялся по молодому снегу к подбитому танку. По-хозяйски

обтоптался, поудобнее пристроился, поставил рупор на броню и металлически гаркнул в лунную жуть:

– Ахтунг! Ахтунг! Дойч солдатен унд офицерен! Ком цу нус! (Внимание! Внимание! Немецкие солдаты и офицеры! Переходите к нам!)

Враг сразу встревожился. Ввысь, брызгая огнями, взвились ракеты. Дятлов еще раз огласил ночь пропагандистским призывом и повернул во свояси. Вокруг танка забухало. Мины рвались за спиной. Политрук возвращался с чувством, что плохо ли, хорошо ли, но начало положено.

Утром в штабе полка он встретился со старшим сержантом Басиным, евреем, в ладном, пригнанном точно по росту полушубке. Давид Михайлович заведовал делопроизводством (то есть служил писарчуком) у Рюмина. Он в совершенстве владел немецким и отвечал за подготовку Дятлова, проявляя придирчивость и прямо-таки материнское участие.

– Вы просто смельчак! – сказал он. – Только я вас хочу несколько поправить: не сольдатен, а зольдатен, понимаете? Помните, я вам подчеркивал?

Начали и в других ротах выкидывать номера. В первой, у капитана Букина, придумали трещотку под звук «Максима». Выпускали короткую очередь боевых патронов и тут же врвали трещотку, дезориентируя немцев.

В третьей роте ровно в полночь поднимали огромный саван с портретом фюрера в лампочной подсветке. При этом целый взвод хором издавал гнусаво-загробный стон, как из-под земли.

Виктор ликовал и гордился. Особенно радовало его, что бойцы душевно вострепнулись. Наконец-то они смогли показать и свою, не хуже немецкой, дерзость. Так и подмывало развить успех, нанести удар похлеще. Где-то между двумя артналетами в озабоченной голове мелькнуло: а что, если?.. Он подумал о Пете – бойце с исклеванными оспой щеками, чубом из-под шапки, задумчивой улыбкой, грустным покашливанием и разудалой гармонью.

Темной ночью, когда немцы, посветив ракетами, улеглись спать, политрук повел Петю к танку. Там они осмотрелись, приноровились к мутной, опасной тишине, и Петя растянул меха цыганской однорядки.

Он начал с песни «Светит месяц». Мелодия разносилась в пространстве щемящими волнами. На той стороне помалкивали. А Петя всё струил проникновенное раздолье. Он заиграл

«Раскинулось море широко», потом без паузы перешел к «Коробейникам»: «Эх, полным-полна моя коробочка...» Нервы Виктора свело от напряжения. Петя же лихо завершил концерт «Катюшей» и стал отогревать пальцы дыханием. Враг зачарованно молчал.

При том же ночном безветрии, под звездным небом они пробрались назад. Вслед им нейтралка уже сияла, расцветенная огнями ракет.

– Эй, сволочи! А кто за музыку платить будет?! – не слишком браво, редкогласо, но тоже предъявили счет фрицам красноармейцы.

– Рюс! Сегодня квит, рюс! – довольно заорали с той стороны. – Наш свет, ваш мюзик! Гут! Гут мюзик! Грай! Грай, Иван, мюзик!

Бойцы роты гордились своей агитацией, музыкой и перебранкой с врагом, которая помогала скрасить длинные ночи.

Вскоре комиссар дивизии подполковник Горный, тонкогубый, с чеканной линией носа, любитель раскурить трубочку, собрал политсостав.

– Ну, политрук, тебе вопрос по политической грамоте: где у нас получают судейско-прокурорское образование?

– В институтах, товарищ комиссар.

– А терпение нужно?

– Так точно, и терпение нужно.

– И находчивость тоже?

– Да... Так точно.

– И бдительность нужна?

– Обязательно, товарищ комиссар.

Вымотав Дятлова вопросами вокруг да около, Горный вдруг захохотал:

– Лучше вот что. Расскажи, как ты расстреливал Рахманова!

– А как вы узнали?.. – удивился политрук.

– Как узнали? Да через два часа всё командование дивизии уже знало! Расскажи... Будем использовать твой экспериментальный опыт! Ха-ха-ха-ха-ха!

12

В декабре затрещали морозы. Выйдешь из блиндажа – колкий воздух больно цепляет за щеки. Усы покрываются коркой инея, индевеют брови и борода. И тем более удивительно, когда среди стылого дня видишь у часового вошь, лениво ползущую по рукаву белого полушубка.

Как и повсюду на русской стороне, вести из Сталинграда взбодрили вторую роту. Сердце Дятлова, кажется, летало прямо по клящему морозу и не чувствовало холода: так грела бурля-

щая кипятком энергия радости. Той порой в командирский блиндаж нередко заходили гости. Командир батальона майор Спасский приходил в роту с двумя офицерами по вопросам тактического взаимодействия подразделений и обычно оставался на кружку чая. Снимая шапку, он неожиданно обнаруживал по-интеллигентному высокий лоб и на треть облысевшее темя.

Как-то крепко выпили и начали говорить чересчур развязно. Слово ярый женский дух влетел в полутьму блиндажа, стервеня оголодавших мужчин. Каких только кралей не было среди героинь этого «Декамерона». Скромные колхозницы, которые в постели оказывались фуриями, соблазнительные поповны, знойные комсомолки, в итоге прибегшие к аборту, а то и подхватившие сифилис...

– Ну, а ты, Вить, кого бы сейчас хотел? – с глумливой улыбкой спросил Озерцов.

Дятлов растерялся и стал озиаться.

– Не лезь к политруку! – одернул заместителя Гутяхин. – Он молодой еще! Вся жизнь впереди!

Кто-то пьяно засмеялся. Но что мог ответить Виктор Озерцову? До войны ему не пришлось никого полюбить. Как-то не получалось. После школы-восьмилетки он устроился в колхоз счетоводом. Ушедший на покой Иван Митрофанович оставил дела в ужасающем состоянии. Одержимый идеальным бухгалтерским порядком, Виктор совершил подвиг. Парни звали его гулять: в клубе-де ждут девки. Но счетовод на полмесяца погрузился в гроссбухи и ночами просиживал над пыльными папками, пока не свел копеечку к копеечке. И до сих пор девки Дятлова так и не дождались...

– Ну что, товарищи командиры, забег устроим? – спросил Спасский, чуть заплетаясь языком.

– Обязательно, товарищ майор! – другие языки тоже заплетались.

Очистили от кружек обычный учительский стол, вывезенный старшиной из одной школы еще при отступлении. По снарядной гильзе очертили круг. Края столешницы застелили чистыми газетами. Каждый участник держал наготове вошку-рысака, которую сажали в центр круга. Чья быстрее выбежит из него, тот и победил. Состоялись попарно, по системе с выбыванием. Спасский как бессменный чемпион попал сразу в полуфинал и с олимпийской улыбкой наблюдал за ходом соревнований.

Дятлов проиграл свой забег Гриневичу. В голове у Виктора всё качалось от выпитого спирта. Гутяхинский бегун опередил крупного, но медлительного озерцовского. Старший лейтенант Гулый выиграл у другого коллеги, пришедшего со Спасским. Напряжение возрастало. В первом полуфинале Гриневич уступил Гулому, а во втором Гутяхин Спасскому.

Судя по всему, физически крепкий, волевой и самолюбивый Гулый обладал спортивным характером. Он ожесточенно всматривался в очерченный круг, словно настраивался бежать сам. Ему явно хотелось дать настоящий бой и произвести фурор, развеяв миф о легендарной непобедимости майора. Оба соперника посадили своих «питомцев» в обозначенный центр, зажав их щепотями.

– Внимание! Марш! – скомандовал Гутяхин.

Почувствовав одиночество посреди ярко освещенного лампой-керосинкой пятна, участницы забега целое мгновение, отдавшееся замиранием сердец у зрителей, потратили на то, чтобы сориентироваться на местности. А потом резво затрусили по направлению к черте.

– Смотрите! Вместе бегут! Не в разные стороны! – захохотал Озерцов.

Не в разные стороны. Поэтому их забег и получился красивым. Зрители увидели, как подопечная Спасского набрала скорость и мощно финишировала на полкорпуса раньше другой.

– Нет, товарищи! Вам меня никогда не опередить! У меня вошка породистая! Благородных кровей! – расплылся майор в улыбке, пряча любимицу в особую коробочку. Как он ее лелеял и чем кормил, оставалось секретом.

Гулый сидел словно в отчаянии, опустив голову и то потирая лоб рукой, то опуская ее на глаза. Возможно, он сильно опьянел.

– Сталин... Вошь пролетариата... – непостижимым смыслом вдруг ударил по ушам голос Гриневича.

Все повернулись к нему, а он смотрел на вошь, ползущую по лицу товарища Сталина посреди газетной страницы. Гулый схватил насекомое и гадливо швырнул на раскаленную докрасна печь. Раздался легкий треск. Но неловкость момента не вписывалась в сознание. Все выглядели ошарашенно. Так что сказал Гриневич? Вошь или вождь?

– Ну и морозище! – оповестил Гутяхин, минутой назад выходявший до ветру. – Струя на лету в сосульку превращается! Товарищ майор, останетесь у нас ночевать?

– Нет-нет, – заторопился Спасский. – Мы уходим!

Гости вынырнули на мороз и утоптанной тропой ушли на КП батальона.

Дятлов проверил посты и, вернувшись, рухнул, не раздеваясь, на кровать в закутке. Голова его гудела от смутного ужаса. Провернув несколько кругов запутанных мыслей, он заснул, сдавленный усталостью.

Проснулся с ясным ощущением тоскливого страха. Как политрук и коммунист он обязан написать донесение комиссару Звереву. Дальше за дело возьмутся особысты. Гриневичу хана. Но возникнут и дополнительные вопросы. Кто постелил газету? Чья вошь побежала к портрету товарища Сталина? А что это вообще за игра такая? И куда смотрит политрук, отвечающий за морально-политическое состояние личного состава? А-а, политрук сам морально разложился? От этой воображаемой иронии, по сути глумливой, Дятлова защемило еще больше.

Ну, хорошо. Он не напишет донесение. Тогда напишет кто-нибудь другой. Из тех же командиров. Или телефонистов и ординарцев, которые дремали в блиндаже. Дятлов сам имел в роте двух осведомителей среди бойцов. Так почему комиссар Зверев не может располагать своими тайными людьми? И тогда Дятлову совсем уж как-то. Его заставят сдать оружие, сдерут с него ремень и поведут под конвоем как матерого врага народа. Потому что он политрук и коммунист, но промолчал... А если бы он застрелил Гриневича на месте? Нет. Снова всплыло бы что да как. Что за игра во вшей? Кто постелил газету? Кто отвечает за моральное состояние?

День прошел для Виктора в мучительном ожидании, его изводила эта пытка неизвестностью. Внешне же все шло обычным чередом. Гриневич вел себя без признаков беспокойства. Как будто ничего не случилось. А если ему, Дятлову, все померещилось? Гриневич сказал, что Сталин – вождь, желая предупредить Гулого, чтобы он убрал свою вошь?

– Что с тобой, политрук? Ты не заболел? – внимательно присмотрелся к Виктору Гутяхин. – С лица осунулся, бледный, в глазах моча стоит...

Он посоветовал дня два-три подлечиться в санбате, что Дятлов воспринял с благодарностью в душе. Бреясь перед тем, как отправиться в санбат, он всмотрелся в свое отражение. В зеркале красовался седеющий субъект взъерошен-

ного вида. «Мне ведь всего 24 года, – подумал он. – Всего 24, а я седой».

Врачи обнаружили у него простуду и легкое нервное истощение. Лечение пошло на пользу. Гроза с портретом товарища Сталина миновала.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Историю Волховского фронта можно вести с того момента, когда Мерецкова потащили на живодерню.

Внешне он был солидным, упитанным генералом со звездой Героя Советского Союза на груди. По праву считался одним из самых образованных в военном отношении полководцев СССР.

23 июня, второй день войны... Нарком обороны маршал Тимошенко телеграммой сообщил Мерецкову о назначении его постоянным советником при Ставке Главного Командования и вызвал в Москву. Кирилл Афанасьевич вылетел из Ленинграда в столицу.

Не успел он осмотреться в новом московском кабинете, как звонок в 19.45 затребовал его к Сталину. Кирилл Афанасьевич почти не сомневался, что ему поручат командование фронтом. Но каким?

Пришедшая за Мерецковым машина отвезла его на территорию Кремля. В приемной, как только он вошел, трое рослых мужчин встали со стульев, приблизились к нему и взяли в полукольцо:

– Вы арестованы! Следуйте за нами!

В этот момент ошеломленному Мерецкову почудилось: сейчас дверь кабинета откроется, на пороге возникнет Хозяин и улыбнется извинительно:

– Ми пошютили, товарищ Мэрицков! Прошю вас ко мне!

Но дверь не открылась.

На Лубянке обескураженный генерал прошел унижительную процедуру раздевания и обыска.

– Снимите ремень.

– Здесь какая-то ошибка... – бормотал он.

– Снимайте, снимайте быстро! У нас не ошибаются. Теперь ботинки. Расшнуруйте ботинки. Сдать шнурки!

Камеру с Мерецковым делили еще несколько военных в высоких званиях. Следствие наста-

ивало на том, что он немецкий шпион, достойный ученик врага народа Уборевича, расстрелянного в 37-м, и должен подписать признание, выдать сообщников. Признаваться в том, чего не было, никак не хотелось.

Комиссар госбезопасности 1-го ранга Меркулов и начальник Следственной части по особо важным делам поляк Влодзимирский до утра по очереди обмолачивали генерала резиновыми дубинками. Уставших тружеников сменили их заместители Родос и особенно старавшийся Шварцман, подлинный садист, удивлявший своим бездушием даже коллег-палачей.

Мерецков терял сознание, его освежали пеннистыми струями мочи вместе с безбожными матерками. Эти люди исполняли приказ, но ведь и сами охотно верили в бесконечную силу зла.

Мерецков не мог ни толком дышать, ни сообщать. Вокруг – ничего, кроме боли и мрака.

Он подписал всё, что от него требовали, называл всех людей, каких ему подсказывали. Оставалось ждать суда и в лучшем случае лагерного срока. В худшем – расстрела. Ему разрешили написать письмо Сталину, который всегда жадно интересовался предсмертными мольбами больших людей.

Однако в катастрофической для страны ситуации Мерецкова освободили, и в начале сентября 41-го «немецкий шпион» предстал перед Верховным главнокомандующим.

Сталин вглядывался в висевшую на стене карту и не сразу повернулся к вошедшему в кабинет генералу. Ему требовалось гладить некоторые нюансы. Он сделал несколько шагов навстречу бывшему начальнику Генштаба и сказал с радушным видом:

– Здравствуйтэ, товарищ Мэрицков! Как ви сэбя чувствуетэ?

– Здравствуйте, товарищ Сталин! Чувствую себя хорошо.

– Тяжело там било?

– Об этом не надо, товарищ Сталин. Прошу разъяснить боевое задание!

Сталин не спеша раскурил трубку. Он вернулся к карте, и дальше всё пошло как ни в чем не бывало. Вождь монотонно заговорил о положении на Северо-Западном направлении...

9 сентября Мерецков прибыл на Северо-Западный фронт вместе с Булганиным и Мехлисом, который внушал Кириллу Афанасьевичу дрожь отвращения. Лев Захарович вошел в раж карающего меча. Он приговорил к смерти двух

генералов разбитых под Тихвином войск. Мерецков, как и Булганин, тоже подписал приказ о расстреле. Да и что теперь значили одна-две жизни, если фронт был развеян? Остатки частей прятались в лесах, потеряв связь с управлением. Немцы стояли в одном броске от соединения с финнами – считай, от затягивания удавки на шею нашей армии. Один бросок – и нет Ленинграда, а затем, надо полагать, и Москвы... Но Мерецкову удалось стабилизировать положение под Тихвином.

Волховский фронт был создан по решению Ставки 17 декабря 1941 года. Во главе с Мерецковым он отбросил тихвинскую группировку противника за реку Волхов – событие, стоявшее в одном ряду с битвой под Москвой, но в истории войны обидно затерявшееся...

Фронт тянулся вдоль русла Волхова по лесам, ручьям и болотам, замыкаясь скучным захолустьем, которое немцы звали «задницей мира». Из всех советских фронтов он снабжался хуже всех, однако именно на нем лежала огромная ответственность и боль за Ленинград.

В 1942 году этот фронт пережил горькие неудачи в Синявинских болотах и трагедию 2-й ударной армии, был отменен Сталиным и слит с Ленинградским фронтом, затем Сталин исправил свою ошибку, вновь образовав Волховский фронт с Мерецковым же во главе.

И в январе 1943 года, несмотря на скудность снабжения боеприпасами, подчиняясь воле Ставки, фронт провел операцию «Искра». Коридор, пробитый к Ленинграду, словно дал приток воздуха в могилу, где задыхался живой человек.

Было великим торжеством, когда около полуночи радио сообщило левитановским баритоном: «...после семидневных боев войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда!»

Хотя еще целый год оставался до полного прорыва блокады.

2

В начале 1943 года в Красной армии ввели погоны, которые из-за безобразного снабжения до Волховского фронта доехали нескоро, только в разгар весны.

В январе Дятлов с большим подъемом доводил до бойцов сводки Информбюро. Новости о ликвидации Сталинградского котла взбудоражили весь Волховский фронт, обнадеживая тем,

что отсиживание в окопах, казавшееся бесконечным, все же кончится наступлением и русской победой.

Собственно говоря, наступление состоялось и на этом участке войны. 7 января Волховский фронт ожил и двинулся на соединение с Ленинградским, шедшим навстречу: началась та самая операция «Искра». И хотя она оказалась плохо подготовленной, не выполнив в итоге задачи полного снятия блокады Ленинграда, все-таки через неделю оба фронта встретились, «прогрызя», как тогда говорили, узкий коридор для снабжения города.

Вторая рота в этой операции не участвовала и продолжала сидеть в обороне, однако ей выпала особая честь стать ядром штурмовой группы в следующей наступательной волне.

Командир полка Кузедеев и комиссар Зверев сидели в блиндаже с бревенчатым полом, покрытым толстыми коврами. На белой скатерти возвышалась ваза с душистыми ржаными пряниками. Кузедеев отхлебнул чаю из стакана с посеребренным подстаканником и побарабанил по столу короткими волосатыми пальцами. Он был плотный, темпераментный, любивший на учениях лично показывать, как надо стрелять, колоть штыком и бежать след в след. На его лице, к которому в минуты возбуждения сильно приливалась кровь, всегда легко читались эмоции.

– Командиром назначу Озерцова, – сообщил комполка. (Гутяхин лег в госпиталь из-за обострения старых ран, а о Гриневиче и речи идти не могло: он дважды попадал на гауптвахту из-за пьяных выходок). – Кого ставишь комиссаром? Дятлова?

– Дятлова, Петр Иванович.

За три дня штурмовая группа, набираемая, в основном, из комсомольцев-добровольцев, была создана в составе 120 человек и усилена пулеметным взводом Выдрина. Тех немногих, кто не хотел, может быть, присоединиться к группе добровольно, поставили в строй приказным порядком, чтобы уж заодно с ротой.

День Красной армии рота отметила еще на своей позиции, которая затем была сдана батальонному руководству по актовым документам со всеми сооружениями и планом обороны. В звездную ночь на первое марта навьюченные выше макушек бойцы покинули обжитые землянки и окопы и пошли в неизвестное завтра.

На берегу Мсты со взорванным льдом их ждали лодки. Мутная серая лента плавно катя-

щейся воды разделяла два заснеженных берега, пологий и обрывистый. Началось освоение науки переправы. Форсировать реку учились и днем, и в ночное время. По несколько раз в сутки преодолевали водную преграду, прилежно тренировались в посадке и гребле. За каждым в лодке закреплялось свое место. Усаживались без шума, гребли без всплеска. Кто-то вроде Фекоева, случилось, выпадал за борт. Его быстро вылавливали из воды и растирали спиртом. Мгновенно загружались, доплывали до берега и развернутым фронтом тихой сапой шли на штурм. Брали «высотку» на ура – грозно, с вытаращенными от священной и яростной страсти глазами – и по учебному сноровисто закреплялись.

Жили в трех бараках, спали на душистом сене, насчет которого расстарался старшина. Бойцы получали в приварок рыбу, которую глушили, взрывая нарастающий на реке лед. В свободное время брились и мылись, писали письма домой. Кое-кто, как сообщали стукачи Дятлова, высмотрев в поселке за несколько километров бабенок, начал отлучаться в самоволку. Жизнь есть жизнь.

В последний день занятий Озерцов построил группу на берегу и сказал речь.

– Товарищи бойцы! Наша штурмовая сила состоит из добровольцев. Нам командование приказало первыми переправиться через Волхов. Для этого мы полмесяца учились форсировать водную преграду. Было трудно. Но, как говорил великий Суворов, тяжело в учении – легко в бою. Товарищ Сталин учит нас не бояться врага и бить его со всей отвагой. За нами Родина. Товарищ Сталин внимательно смотрит на действия наших войск. Мы должны умереть, но задачу выполнить. Всем ясно?

Молчание.

– Разойтись!

После обеда – сончас. Бойцов разморило на сене. В бараках стоял здоровый храпоток. Дятлов спустился среди голых берез к пологому берегу и закурил папиросу. Солнце выглядывало из синих прорех в облачной вате и трогало щеки ласковым жаром марта. В необъятной немоте природы поплескивалась речная вода. По белизне снега она казалась черной.

Виктора негромко окликнул знакомый голос. Это подошел Выдрин. Он прикурил от дятловской папиросы.

– Стоим, любуемся природой?

– Да спать что-то неохота.

– Замечаешь, ветер подкручивает? К ночи забуранит.

– А все равно уже весна. Скоро сеять пора...

– Конёво дело.

– Как там бойцы, спят?

– Встают.

– Пошли?

– Пошли.

Они сдружились давно и чувствовали взаимную радость от самых несущественных разговоров.

Вся группа собралась на концерт художественной самодеятельности. Выступали тенора и басы, Петя без усталости растягивал меха однорядки, метался пальцами по кнопкам. Девушки-снайперы спели песни про любовь, разлуку и верность. Лейтенант Тимченко растрогал публику украинскими народными. Сержанты Завалялов и Воробьев пели частушки и плясали.

После ужина и захода солнца красноармейцам показали фильм «Александр Невский», привезенный из штаба полка. Там большое значение придавали подъему героического настроения перед операцией. И в самом деле, Дятлову до горла подступало огромное чувство, когда гремел заповедь: «Вставайте, люди русские!...». Этот фильм он видел еще в Забайкалье.

Бойцы уселись в бараке кто на чем перед натянутой на стену простыней. Погасли фонарики. В кромешной тьме под лучом света из кинопроектора ожила славная русская старина.

Грянула музыка. Людно и весело в Новгороде... На Волхове реют паруса стругов... На улицах города оживление, кричат, поют купцы... Кузнецы куют кольчуги... Звон вечернего колокола... Площадь во Пскове... Кнехты волокут женщин с детьми, вырывают младенцев из рук, швыряют в пламя...

– Встань, народ русский, ударь! – зовет из искр голова сжигаемого нищего Аввакума.

– За обиду русской земли встану! – суровый голос князя.

Выжженные поля... Сиянье осеннего Волхова... Шум кулачного боя... Лязг мечей... Лес у берега замерзшего озера... С вершины Вороньего Камня князь оглядывает поле будущего сражения, еще затянутае предрассветной мглой. Светает... Рыцари идут «свиньей». Топот коней, лязг оружия. Победа... Треск льда... Зигзаг трещины пробежал по льду между немцами и Невским. Хлещет на лед вода. Железные псы-рыцари утюгами идут в глубину.

И в это триумфальное мгновение тьму барака прорезал звонкий, полный животного отчаяния вопль:

– Скоро и мы пойдем под лед!

Бойцы и командиры вздрогнули и пережились. Но никто и не подумал выявлять паникера.

3

До рассвета, в семь утра появились ездвые из дивизиона майора Артамонова и конной тягой поволокли лодки к Волхову. Штурмовой группе командиры скомандовали подъем. Всухомятку позавтракали.

– В походную колонну повзводно стро-ойся! – раскатился эхом голос Озерцова.

По разбитой лодками дороге потянулись бойцы в студеную ширь, навьюченные поверблужьи. Ящики с патронами и продовольствие везли на салазках, тащили в вещмешках на себе. Дятлов обернулся: Рахманов шагал с ручным пулеметом на плече.

К Виктору упорно подкатывала мысль о ночном крике, который резонировал в мозгу: «Скоро и мы пойдем под лед!» Дура смерть безжалостна. Что, если его матери принесут похоронку? Она увидит в калитке сникшую почтальонку, и свет для нее померкнет. Глянет на листочек в протянутой к ней руке – и зайдется в плаче: «Витенька! Ви-итенька мо-ой!» Жалко маму. Дятлов расстегнул верхнюю пуговицу ватника. Мама, наверное, молится за него...

Ему вспомнилась районная церковь. Ее решили закрыть. Коммунисты и комсомольцы под руководством бывшего партизана товарища Хомутова спускали колокола на грешную землю. Вокруг собралась толпа, но никого не подпускали близко через двухрядное оцепление. В уме Дятлова всё это чем-то напоминало инквизицию. Сначала по лесам потянули веревкой с блоком большого «Серафима», прозванного так учениками. Не достигнув земли, он соскользнул с брусьев, с гулом и эхом ударился кромкой о мерзлую землю.

– Изверги! Антихристы! Хриstopродавцы! – закричали из толпы.

Витька стоял среди людей вместе с лохматой собакой. Многие заплакали. Другие упали на землю и запели церковный гимн. Колокола сняли и отправили в мехмастерскую для переплавки на шарикоподшипники...

Колонна отстегивала километр за километром. Уросила поземка, взвивалась вихрем

и лапала физиономию колючей снежной крупой. В костях уже ощущался усталый гуд. Ноги вязли в снежном месиве, запинались на ухабинах.

В еловом затишке ждал привал. Ноздри защекотал дымок и запах варева. Взмыленные бойцы скинули с плеч поклажу. Командиры не полезли за пищей вперед них и уселись на ящиках рядком, как в президиуме.

– Налетай, пехота! Кушайте гречку, да не забудьте пальчики облизать! – разливая в котелки борщ и шмякая кашу, приговаривали повара-балагуры, дебелие мужики в шапках-ушанках.

– Борщ, братцы, со свежей кониной – навар знатный! – особенно старался один. – Налетайте! Каша наша – аппетит ваш! Да мозоли на зубах не натрите!

– Ты у себя на языке мозоль не натри! – рассердился на болтуна Глушков. – Язык-то у тебя без портянки! Наливай побыстрее свое хлебово, командиры кушать хочут!

– Сей момент, подставляй котелки! Не каша, а пища богов!

– Ты ври, да не завирайся! – сказал Глушков. – А то кто тебя слушать станет?

– Было бы кому врать, а слушать станут, – отбрехался повар. – Ешь, насыщай тело для военного дела!

Глушков принес котелки командирской компании.

– Кушайте на здоровье! Приятного аппетита!

– Спасибо, боец Глушков, – бурчливо поблагодарил политрук, стесняясь чувствовать себя баринком. Как он недолго любил Озерцова за его беспардонную похабщину, так пренебрежительно думал и о Глушкове с его трусостью, услужливостью и подхалимажем.

Тем не менее, еда давала блаженство. Насухо облизав ложку, Виктор сунул ее за голенище сапога. Бойцы покуривали «козьи ножки».

– Курить хочешь, политрук? – дружелюбно протянул портсигар Гриневич.

Дятлов взял папироску.

– Весна... – мечтательно протянул Гриневич. – Последние ветра забураивают. Поглядишь, скоро и соловей защелкает. Пахнет весной... Как баней в предбаннике. Хорошо!

– Хорошо в краю родном, пахнет сеном и говном, – с желчной невозмутимостью обгадил сантименты Озерцов. – Эх, подумать только: вторую весну уже на фронте встречаем! А фрицев вышибить не можем!

Выкурили еще по одной.

– В походную колонну стройся!

И снова разбитая дорога, она тянулась по полям между перелесками, в которых каркали вороны. Солнце вершило свой круг, склоняясь к западу. Люди выбивались из сил. А тут еще один казус. Завьялов внезапно упал.

– Что со мной? Я ничего не вижу!

– Я тоже ослеп... – пробормотал Рытиков. – Это куриная слепота!

Упал и заматюгался Евсеев, за ним Глушков, Фекоев, Огородников и Степан Ытыквельгенов.

– Э-э-э! – ворчал якут. – Однако плоха! Ой, плоха! Слепой сапсем стал Степан! Ой, хо-хо-хо! Как теперь Степан стрелять будет? Ни бурундук не видно, ни белка, ни фашист. Однако надо печенку кушать, она однако помогает...

– Санинструктору Соловьеву больных вести отдельно! – скомандовал Озерцов.

Агапов вручил слепым двое санок. Держа друг друга за руки и волоча упряжку, больные тянулись за колонной, отставая и грустя.

– Что за кипиш? – дурачился Евсеев. – О чем базар-вокзал? И какие льготы поимеют бедные фраера за доблестный труд волжских бурлаков?

Он жадно курил и долго куражился, не желая впрягаться в санки, сыпал феней и гоготал, но вдруг выпалил:

– Вот что, ребята. Помогу я вам. Цепляйте обои санки гусёвкой – и я попру!

Ухватясь за крепыша Соловьева, он потянул груз, группа ускорила ход.

– А ты, Соловьев, как николаевская курва по Невскому проспекту с офицером разгуливаешь! – шутил Душегуб, подхватив санинструктора под локоток.

Слепые подталдычивали ему. Но вскоре от Евсеева повалил пар, он выдохся, выпрягся из лямок и пошел, держась за дружка Фекоева.

Уже к середине темной ночи группа вышла к срезу леса и сделала последний привал на березовой опушке. Вялой массой копошились умянные до изнеможения тени.

Озерцов, Гриневич и командиры взводов спустились к реке для уточнения рекогносцировки, а Дятлов и комиссар батальона Калошин отправились на КП артиллеристов. За старшего группы остался Агапов.

Дятлов во тьме едва различал широкую спину Калошина, облаченного в маскхалат. Три роты батальона должны были форсировать Волхов после захвата плацдарма штурмовой группой. Поэтому переправа тоже заботила Калошина.

– Чайку бы сейчас, – с вождением сибарита гудел он. – Что-что, а чайком побаловаться люблю! Особенно ночью. Завтра-то будет не до чая.

– Завтра мы немцам прикурить дадим, – отозвался политрук. – Или они нам...

– То-то, – гуднул Калошин. – Плыть через стихию на лодчонках – не дай Бог! Да еще в такую непогоду! Купаться не ай-люли будет. Тут на воздухе-то рожа дубенеет, а в воде? Ну, авось прорвемся...

Они обменялись паролями с часовым и нырнули в блиндаж. От раскаленной железной печки дохнуло жаром.

– Здравствуйте, хозяйева! – пробасил Калошин, откидывая башлык маскхалата.

– Здравия желаю! – вскочил с топчана невысокий офицер.

Дятлов помнил его еще по Забайкалью: очень вежливый, слегка женственный блондин Артамонов, никогда не кричавший на подчиненных. Грамотный артиллерист, дававший команды редко, но метко. Уже в звании майора он командовал сейчас дивизионом, приданным полку на время операции.

– Чайком угостишь? – спросил Калошин.

– Само собой! – ответил майор нежным, лемешевского тембра тенорком. – Терещенко!

Из-за ширмы выскочил и вытянулся, моргая, и без того вытянутый в высоту молодой боец.

– Сотвори-ка чаю, Терещенко!

– Есть сотворить чай!

Калошин протянул мясистые руки над красным железом печки.

– Мы вышли на означенную позицию. Теперь дело за вашим братом. Не подведете?

– У меня всё в порядке, – энергично тряхнул головой Артамонов. – Основные цели пристреляны. Снарядов хватит. Как настроение бойцов? – вежливо повернулся он к политруку.

– Настроение боевое, будем форсировать.

Втроем они склонились над картой. Солдат принес кружки, снял с печки чайник.

– Теперь можно и чаи погонять, – с наслаждением сказал Калошин.

Чай был крепок, как деготь.

– Хорошо-о! – блаженствовал Калошин. – Хотите анекдот? Муж возвращается из командировки. Любовник прячется под кровать. «Это кто там скребется?» – спрашивает муж. «Это мышь завелась», – отвечает жена. Муж вытаскивает любовника и выбрасывает в окно с третьего эта-

жа. Жена: «Что ты делаешь?!» Муж: «Смотрю, не летучая ли мышь!» Ха-ха-ха-ха! – рассказчик сотрясаясь в хохоте, бухавшем, как сапоги по крыше.

– Со мной однажды эпизод случился, как в анекдоте, – продолжил он, закулив «Беломор» и вальяжно откинувшись на скамейке к стене. – В молодости я был бабник. Хаживал к одной бабенции. А бабенция, доложу я вам, первый сорт – булочка с изюмом. Ох и фуфыристая была! И вот ночью стучат в дверь. Она соскакивает: «Кто там?» – «Свои!» Муж! Муж из командировки ночью пожаловал. Ну и загвоздочка, доложу я вам! Что делать? Женщину чуть кондрашка не хватила. «Лезь, – шипит, – живо под койку!» Я хватаю манатки – и под кровать. Лежу там, пыль глотаю и думаю: ну и переплёт! Что делать? Ну и конфуз будет, если муж меня увидит! А муж у нее не простой Ванька, а большая персона: начальник ОРСа. Но повезло мне. Только он в галюн отлучился, как я сиганул за дверь в одних кальсонах! Только меня и видели. Через полгорода так и пробежал. Вот это был кросс! Ночь, а я как на духу бегу. И больше к той бабенции – ни разу. Ну, она, конечно, нашла мне замену. Чего только не бывает. Ха-ха-ха-ха!

Примостившийся на корточках Терещенко слушал историю развешанными ушами. Дятлов щедро улыбался. Не столько от юмора, сколько от любви к этим хорошим людям, от душевного чая и глубинной торжественности момента накануне завтрашних событий.

– Да-а-а, – улыбаясь, неопределенно протянул Артамонов.

– Ну что ж, – встал Калошин. – Спасибо за чаек. Нам пора. Значит, завтра накроешь тот берег...

– Да мы такого огня дадим, что Гитлеру и Геббельсу будет жарко! – с пылом заверил майор своим малиновым голоском.

4

Спящие тела, уткнувшиеся в лунках парами, спина к спине, обложили всю опушку. Старшина только что пристроился к Евсееву и Фекоеву. Сон перед боем. Для кого-то он станет последним. Кто-то видит во сне жен и детей, кто-то родителей или невест...

Будить было жалко, тем более, запас времени позволял отдохнуть. Но и не будить опасно. Усталые и потные, люди могли навсегда застыть в снежных перинах. Надо поднимать!

Чтобы вывести спящих из бесчувственного оцепенения, командиры будили их окриками, пинками, трясли за плечи и перехватывали носы пальцами. Полуочухавшиеся, построились и пошли ложком вниз, к штабелям бревен, изготовленным для понтонных мостов, которые будут построены после переправы и закрепления на том берегу. Озерцов похвалил работу артиллеристов: все лодки пронумерованы и готовы к отчаливанию.

На берегу буквально до каждого красноармейца довели боевую задачу: в шесть ноль-ноль под грохот канонады форсировать реку и захватить первую линию обороны, перерезать шоссе и железную дорогу. Окопаться и ждать подкрепления, которое придет через полчаса. За штурмовой группой устремится весь полк с поддержкой артиллерии и «катюш».

Враг молчал. Казалось, его и нет за рекой. Ни выстрела, ни огонька, ни вспышек ракет. Волхов широк (250 метров), могуч и страшен. Ширина его кажется беспредельной – какая-то неясная темная даль. Чугунными валами взгорбачиваются волны и мчат островки шуги, обломки льдин. Тянет знобящий сиверок и шумят, шуршат в предрассветной темени береговые камыши, навевая таинственный ужас.

Волхов сейчас ничейный, подумал Дятлов, привыкший мыслить идейно-политически и все подвергать анализу. Волхов – линия, которая разъединяет два мира: социализма и капитализма. Но Волхов испокон наш. Он должен работать на нас. В таком духе политрук и объяснил операцию окружавшим его людям.

– Дрыхнут фашисты, – рассуждали они. – Не знают, откуда им карачун придет. Только бы переплыть. Что-то долго нет команды. А? Морозец-то подстебывает!

Хотя на всех много навешано – теплое белье, ватные брюки, фуфайки у офицеров и шинели у солдат, по тридцать патронов, карабины, автоматы, пистолеты, ненужные противогазы и сверху маскхалаты, – многие дрожали и пританцовывали.

– Занять места в лодках! – наконец-то раздался крик Озерцова.

Дружно и бесшумно бойцы переваливают через борта и замирают в ожидании старта. Они оживляются и радуются, бесхитростно шутят насчет «чуда»: вон что, слепцы прозрели! Подлеченные санинструкторами, слепые вновь увидели мир. Но почему тишина? Неожиданно в трех

бегающих по берегу и раскатисто кричащих фигурах политрук узнаёт Зверева, Рюмина и начима Саняева. Смысл их криков не сразу доходит до сознания. Мишка Выдрин испуганно-недоуменно смотрит на друга.

– Форсировать без артиллерии! Без артиллерии-и-и!

Вот это фунт изюму! Сердце упало. Без артиллерии – прямым ходом на дно? Озерцов прыгнул в лодку:

– Отдать концы!

Саперы-гребцы единым взмахом подняли весла. Флотилия рванулась поперек течения, мигом выскочила на речной простор. Только лодка номер семь, которой командовал Дятлов, бесильно качнулась на приколе. Юный и смелый татарин Басалаев перемахнул через борт, задержал трос, срывая его со столбика-мертвяка.

– Кольцо заело! – крикнул он.

– Глушков, помоги Басалаеву! – психанул Дятлов, и телефонист прыгнул на берег.

С этого момента начался провал в тартарары. Левый берег озарился вспышками. Короткий вой мин оборвался шквалом разрывов. Басалаева – в клочки. Глушкова взрывной волной зашвырнуло в камышовые заросли. На берегу смерть и вонючий чад. Лодка крошится в щепу, мертвые и раненые идут на дно.

– Тону! Помогите! А-а-а!..

Виктор барахтался в ледяном потоке. Вода хлынула в рот, нос, желудок. Ноги заломило судорогой. На правой повисла какая-то тяжесть, влекущая вглубь. Чудесный случай вкладывает в его руку конец оборванного троса, который натягивается струной. Виктора то выбрасывает на воздух, то вновь утягивает в толщу вод. Роковая минута. На чаше весов «да» или «нет». Решает вопль Глушкова из камышей:

– Спасайте комиссара! Тонет!

Виктора хватают за волосы, но он с такой стальной силой стиснул рукой трос, что ее не могут оторвать. Кое-как это все же удается. Политрука выволакивают на сушу, а за ним тянется и другая добыча – поймавший его за щиколотку капканом мертвой хватки Мишка Выдрин. В изнеможении они валяются на снег, отрешенные от минного смерча, гуляющего вокруг. Их поднимают на руки и трусцой уносят за угол одноэтажного кирпичного здания. Ставят вверх ногами. Из ртов обоих льется вода. Живые!

– Полежи, Витя, просохни, – услышал Дятлов знакомый, медленный, как бы с лентой

голос. – Санитары! Сухой комплект одежды сюда! Переодеться комиссару!

Оба спасителя, флегматик Грибов и весельчак Кудрявцев, были знакомыми лейтенантами-артиллеристами.

– Спасибо, ребята! – промямлили жесткие, как деревяшки, губы Виктора.

Он трясся в ледяном ознобе. В груди повыше сердца и в правой руке саднило от впившихся осколков. Левая кисть не хотела разжиматься, стиснутая неимоверным напряжением. Глаза упирались в ватно-серое небо.

– Ну, Витя, будь здоров! Мы побежали.

Подскочили санитары, влили в рот глоток спирта. Выдрина с напрочь оторванной пяткой и осколком в бедре унесли на носилках в санбат.

Небо трепетало розовыми бликами. Пасмурный рассвет оголял заснеженные поля в отдалении и разбитые строения вблизи. Землю трясло от разрывов, воздух прошибался громовыми раскатами, с берега долетал смрадный ветерок. Легкораненные отлеживались, бинтовались, постанывали за руинами кирпичного дома.

Хотя Дятлов вроде бы и не имел оснований считать себя виноватым, его душило чувство позора и возмущения. А поскольку он был политруком, то, конечно, не мог разлеживаться в укрытии, пока его люди гибли в минометном расстреле.

Он заставил себя сесть. Правой рукой обмочил ноги сухими портянками, натянул свои мокрые сапоги. Цепляясь за кирпичи стены, поднялся в рост. Выглянул из-за угла дома и, вихляя от слабости, потрусил по наезженной санной колее. Дорога косо по склону катила к реке, которая бурлила в невыносимой для сердца агонии. Речной дол гремел ревом, воем, стоном и эхом. В уши влетали возгласы:

- Мама! Мама!
- Да здравствует Сталин!
- Не поминайте лихом!
- Мама, прощай!
- Умираю за Родину!
- Прощайте, дети!
- Да здравствует советская Родина!
- Тону и умираю... вашу мать!
- Отомстите за нас!

Точки голов кружились среди кипящих волн, рыхлой шуги. Люди цеплялись за лодочные обломки. Немецкие пулеметчики деловито выискивали их, приближались очередями и прошивали водные гребни. Течение уносило трупы под лед,

туда, где он еще не был взорван. Левый берег выглядел грядой снежных бугров, которые сверкали вспышками.

Примерно в двух сотнях метров от реки виднелась воронка полкового КП. Пригибаясь, Виктор побежал к ней. Зацвиркали пули. Это его заметил вражеский пулеметчик. Издали не попадет! Но вдруг его подбросило вверх, как-то неестественно развернуло через левое плечо и швырнуло на снег. Он тут же дернулся и пополз. Пули свистели над головой. Сволочь фашист продолжал бить и в ползущего.

Спас Виктора умный инстинкт самосохранения, подавший отчетливый совет из глубины мозга: замри! Он послушался и, страшась каждую секунду получить свинец в расслабленную мякоть, уткнулся лицом в снег. Хитрость удалась. Ища новую жертву, пулеметчик перенес огонь.

Впереди по направлению к воронке лежала перевернутая вверх дном резиновая лодка. Спрятаться бы за нее. Но так разморило... Горячий ручеек струился в левом сапоге. Обнимая приятной истомой, тепло разлилось по телу, больше всего сейчас хотелось спать. Уснуть посреди этого белого поля. Уйти в забытие, отдать покою, а потом... А что может быть потом?

Он напряг остатки ускользящей воли и пополз сквозь приторную зыбь. Распластался за лодкой. Засасывало безразличие ко всему на свете, кроме единственного желания – сна. Дрема баюкала и затягивала в манящую наслаждением пропасть. И вечность засосала его. Но кто-то вторгся в его колыбель, разбередил прогорклые туманы видений, растормошил и вернул в морок белизны. Он смутно различил лица знакомых лейтенантов-артиллеристов, на сей раз Загуменникова и Молочкова. Бегом они потащили его на плащ-палатке.

Артиллеристы-корректировщики, разведчики, телефонисты, санитары с носилками – вся эта братия толпилась на дне и пологих склонах огромной авиаворонки, сидела кучами на глине и пыхтела папиросными дымками.

Лежа на плащ-палатке, Дятлов всматривался в нависшего кряжем над телефоном полковника Кузедеева – в папахе, с багровым, убито-взбешенным лицом. Рядом стояли Зверев и Рюмин.

– Артамонов! Артамонов! – ругался Батя. – Ты изменник! Ма-алчаты! Ты предатель Родины! Враг народа! Я тебя в трибунал не отдам! Я тебе

лично пулю пушу в лоб! Приказываю дать огня! Исполняй!

Происходящее не укладывалось в голове Виктора. Полковая артиллерия была по целям только отдельными орудиями. Стреляли и сорокапятки. Но немцам это – как быку от мизинца. Почему, почему подвел майор Артамонов? Кто помешал ему дать столько огня, что Гитлеру и Геббельсу стало бы жарко?

Полковник уже сорвал голос, охрип и просил умоляюще:

– Помоги, сколько можешь! Разве ты не видишь, что делается на реке? Немец же сожрал мою штурмовую группу – нашу кровь с молоком! Ну, помоги, Артамонов, помоги, родной!

И батарея заговорила... Жиденькое, стыдливое бабаханье – и вновь глухая односторонняя тишина. «Почему только один залп? – соображал Дятлов. – Да что же это – война или игра в прятки?!»

– Наши на том берегу прорвались! – крикнул корректировщик Женя Вознесенский в распахнутом, как у ветеринара, халате и торжествующе-досадливо сплюнул на истоптанную ногами глину. Офицеры гурьбой ринулись к стереотрубе.

– Евгений, будь добр, помоги подняться, – попросил Виктор и, подхваченный товарищем, доковылял до оптики.

Рюмин посторонился. В линзовом круге шел далекий заречный бой. Различались Крон, Гриневич, Рытиков, Евсеев, пяток остальных не поддавались узнаванию. Как их мало. Они дерутся. И, скорее всего, погибнут. Рытиков лежа посылал автоматные очереди. Евсеев размахивался и бросал гранаты... Виктор уступил место у стереотрубы Саняеву, своему ровеснику.

Заметив в воронке скопление людей, немцы начали долбить по ней из минометов. Только что раненный осколком разведчик, побелевший лицом, как собственный маскхалат, молча сидел, пока санитар перевязывал ему руку.

– Всем лишним освободить воронку! – расвирепел Батя.

– Уходить через камыши, через железнодожную трубу и штабеля леса – и вверх по ложку, – смягчая клокотание командира полка, пояснял Зверев. На лбу его пролегли резкие горизонтальные складки.

5

Дятлов выбирался последним. Переждал залпы огня, выполз на край воронки. Добежать бы до вон тех трех пенечков... Но сил нет. Он то

брел на четырех костях, то волочился ползком. На четвереньках переметнулся под железнодожной трубой-стояком, подобрал березовую палку. Опираясь на нее, поднялся.

Ноги дрожали. Их заводило не в ту сторону, куда хотела бы хмельная слабостью голова. Виктора швыряло на ходу восьмерками. В мозгу смутно маячила цель: штабеля бревен. Добирался до них в полусне. Не помнил, как дополз, повалился на бревнышко. Его покружило и утянуло в яму забвения. Он не чувствовал, что его трясут, что голова мотается туда-сюда.

– Товарищ политрук! Товарищ политрук!

Полуочнувшись, он узнал взволнованное девичье лицо. Оля Бердникова. Она вела с рельсов огонь из винтовки и увидела его мучения.

Оля вытащила Дятлова на бугор к огневицам-артиллеристам полковой батареи. Наконец-то можно было спокойно отключиться на мягких березовых ветвях.

Пробуждение пришло через пару часов с запахом пороховой гари, похмельной мыслью о переправе и гибели роты со всем ее интернациональным составом. Молодой наводчик Беляев принес мясных консервов и стакан кагора. Виктора перевязали. Родная артиллерия заботилась о нем, как мама. Так уж получилось, что несколько раз сегодня он остался жив благодаря артиллеристам.

– Бывайте, ребята, – попрощался Дятлов и подался ложком в санбат.

Дорога лежала через поляну последнего привала. Оттуда днем хорошо мог бы различаться левый берег. Но широкую долину огромной занавесью затягивал белый дым, величаво клубясь в солнечных лучах. Это была поставленная начхимом Саняевым дымовая завеса. По сверкавшим сквозь нее кисею вспышкам, метанию фигурок и хаосу длинных очередей угадывалось, что бой еще не утих.

Виктор пошел дальше. Санбат, наскоро сооруженный из больших полевых палаток, прятался в березово-осиновом леске. Возле палаток толпились раненые, среди них Глушков, Выдрин, Загуменников, Грибов...

Мишка Выдрин с выбивавшейся из-под шапки цыганской смолью сидел на пустом ящичке, кривился от боли и усмехался:

– Отвоевался я...

– Теперь зато живой останешься, поедешь до хаты, – утешительно-завистливо рассудил молодой лейтенант с подвязанной к груди рукой.

– Здравствуйте, товарищ комиссар! – отделился от группки курильщиков Басин (сам некурящий).

– Здравствуйте, товарищ старший сержант, – ответил Виктор.

– Вы ранены? – участливо спросил Басин. – Вот видите, как бывает... Да-а... Кагорчику выпьете? У меня есть. Прошу вас.

Дятлов приложился к горлышку бутылки, сладкое вино потянулось в нутро, живительно хмеля. Чтобы разжать окаменевший кулак, санинструктор пригласил его в палатку, сделал укол и вложил в ладонь резиновый валик. Виктор вышел на воздух.

Вдруг все головы повернулись в одну сторону, откуда с упорством пахотной лошади санитар тянул за собой волокушу. Люди расступились коридором. На волокуше неподвижно лежало большое тело, голова сплошь в окровавленных бинтах, кроме щелей для рта и глаз.

– Кто это? Кого притащил?

– Кондрашин... Осколком в голову.

Командир пулеметной роты Кондрашин не знал себе равных в обращении с «Максимом». Он умел отбивать очередями чечетку, под которую легко пелась детская песенка: «Тра-та-та! Тра-та-та! Кошка вышла за кота. За Кота Котовича, за Петра Петровича».

– Товарищ капитан!.. – сокрушался, глядя на тело, Выдрин (его взвод входил в кондрашинскую роту).

К волокуше бросились врачи. Кондрашина бережно понесли на операционный стол. По толпе раненых волной прошла сочувственная тревога: выживет ли?

– В седьмой раз ранен...

Транспорта не хватало. Изредка приходили полуторки и увозили самых тяжелых. Другие раненые ждали своей очереди в палатке. Дятлов и Грибов прогулялись до недалекого бугра и посмотрели с него на Волхов. На левом берегу вроде бы шла перестрелка. Шлейф ползущего по реке дыма мешал разглядеть все детали, однако стало отчетливо ясно, что от второй роты не осталось почти никого...

– Да, – заметил, прикуривая папиросу, Грибов. – Полегли ребята ни за фиг собачий. Как же это так?

Дятлов снял шапку. И подумал, что на его голову выпало еще немного снега.

Они вернулись к санбату. Выдрин сидел на ящике и размазывал по лицу слезы.

– Кондрашин умер, – тихо сказал Глушков.

Только в пять вечера оставшихся раненых на крытой полуторке повезли в госпиталь.

6

Выдрин и Дятлов лежали в одной палате и сдружились до неразлучности. Вместе «костыльным транспортом» ходили на перевязки, в столовую, красный уголок, в город на почту. Они носили по сапогу на каждого и стали буквально «два сапога пара». В палате их раненые ноги одинаково висели над кроватями, спеленатые бинтами.

Если не считать неизбежного в больничном быте элемента скуки (с картишками и домино), в остальном жизнь была прекрасна. Зоревая радость в чириканье воробьев за окном будоражила молодую кровь офицеров и возбуждала мечты о мире, любви, счастье. Виктор представлял себя агрономом, идущим по пояс в колоссящихся хлебах, а на дороге в перелеске его ждет милая женщина – супруга. Михаил хотел устроиться в школу учителем рисования. Он не унывал. Жить можно и без пятки.

Осталась позади, ушла в вечность бойня на реке, но она не выходила из головы. Виктор думал и так и этак, пытался понять, во имя чего речная вода забрала столько жизней, став братской могилой для Калошина и Озерцова, Гриневича и Тимченко, Завьялова и Воробьева... Кто-то из артиллеристов рассказал, что слышал с берега последний крик Озерцова, падающего за борт: «Прощайте, товарищи!» А немцы орали свое: «Рюс буль-буль! Рюс буль-буль!» Так всё глупо и бесславно кончилось, а ведь сколько готовились! Учились садиться в лодки, грести, штурмовать берег... Вот тебе и тяжело в учении, легко в бою...

Как-то на ужине за столик к двоим друзьям подсел Загуменников.

– А вы знаете, что майор Артамонов лечится в соседнем госпитале?

На следующий день, запасшись увольнительными, друзья отправились в гости. Артамонов встретил их, тоже прыгая на костылях. Пожал руки и повел в фойе, под фикусы.

– Пойдемте посидим, подымим, поговорим...

Они устроились возле урны с окурками. Любезно угощая, Артамонов раскрыл портсигар. Поговорили о лечебных процедурах, уколах, кормежке и наконец перешли к сути.

– Да, действительно, снарядов было по три боекомплекта на ствол, – начал Артамонов. – И чет-

вертый на подходе. Цели были пристреляны, и я хотел показать матушке-пехоте, на что артиллеристы способны, а получилось... Хуже не придумаешь! За десять минут до артподготовки нас всех – командиров дивизионов, батарей и даже корректировщиков – соединили радиотелефоном с начальником артиллерии армии генерал-лейтенантом Большовым, который потребовал от нас через каждые три минуты докладывать обстановку. А позднее мы приняли телефонограмму: без его команды ни одного снаряда не расходовать! Огня не открывать! Нас поставили в дурацкое положение. Мы больше десяти дней готовились к наступлению и чем могли помогали пехоте. А тут? Неясности, огорчения, телефонограмма и контроль...

Майор задумался, затаился папиросой и выпустил изо рта клуб дыма. Потом вновь заговорил:

– В шесть ноль-ноль Кузедеев требует с нас обещанного нами огня, а армейское командование следит по связи за нарушениями телефонограммы. Кузедеев грозит мне пулю в лоб, да и сам я вижу кошмар на реке. И когда Кузедеев стал уже умолять меня своим хриплым голосом, я рискнул – решил дать одной батареей залп по минометной батарее противника. И сразу окрик генерала по телефону: «Вы арестованы! От командования отстранены! Передайте командование своему заместителю!» Спасен я от трибунала ранением. Но восемь суток ареста мне вписали в личное дело «за игнорирование приказа командования». И по партийной линии объявили выговор. Без занесения в учетную карточку...

Артамонов скакнул на костылях к урне и с сердитым замахом бросил в нее окурок. Вернулся к слушателям, поставил один костыль к стене, с удобством сел на подоконник. Откашлялся и опять продолжил:

– Оказывается, в районе озера Ильмень противник прорвал нашу оборону и врезался вглубь на восемь километров. Наш четвертый боекомплект с колес развернули на 180 градусов и направили под Ильмень. Нам была подана команда: отбой! Готовиться к маршу! Вот, пожалуй, и всё, что могу сообщить о нашем обещанном «огоньке». Да, а вы газету читали?

Майор удалился в палату и вернулся с дивизионной газетой.

– Читайте. «В середине марта часть полковника Кузедеева делала попытку форсировать Волхов, однако операция успеха не имела».

– Что-то скупо о нас написано, – обронил Выдрин.

Дятлов взял газету из рук майора и еще раз прочитал строчки. Сразу закружилась голова, стало дурно.

– Это предательство! – вырвался у него крик. – Такую молодежь, почти все добровольцы, стравили за два часа боя! Ну, раз отменили приказ об артподготовке, почему не отменить переправу? Где взаимодействие родов войск?!

– Всё спишут на войну, – заключил Выдрин.

– Жаль мне упущенного шанса, – горестно вздохнул, провожая гостей, Артамонов. – Такая возможность была помочь пехоте и выиграть операцию. У нас же украли эту возможность.

– Вы думаете, только под Пахотной Горкой такое случилось? – сказал Выдрин. – Вероятно, и в других местах недоразумений предостаточно!

Они выбрались на пьянящий свежестью воздух. Свет апрельского солнца резал глаза. Пряно пахло тающим снегом.

Виктору Дятлову предстояло еще дойти до Берлина и закончить войну капитаном, командиром артиллерийской батареи.



**Александр
САВЧЕНКО**

**В УСТАВШЕМ
ОТ ВОЙНЫ ЛЕСУ**



ПРОВОДЫ НА ВОЙНУ

*Взметнулась стрелка семафора,
Парами дунул паровоз.
Твоё лицо исчезнет скоро
За пеленой невольных слёз.*

*Ты мнёшь пилотку бестолково
И сам смятением измят.
Всё на прощанье ищешь слово,
От глаз моих отводишь взгляд.*

*На грудь твою я взор бросаю –
Тут будет орден боевой...
Прости меня за то, что знаю:
С ним не вернёшься ты домой...*

*Звучит гармошка на вокзале,
Солдатик пляшет – ай да ну!..
Так наши мамы провожали
Отцов когда-то на войну.*

ПТИЧКА

*Был тихий полдень. Солнце золотило
Лесную шевелюру на яру.
И сосны у дороги, как перила,
Струились сквозь июньскую жару.*

*Мы за столом сидели полукругом,
Меж нами время сладкое текло.
И тут комочком сереньким пичуга
Ударилась в оконное стекло. –*

*Ушиблась птаха не до смерти вроде, –
Но всё же мать перекрестилась, – вот
Примета иль поверье есть в народе:
Известие печальное придёт!*

*В углу томились жёлтые иконы,
На них косился из-под лапы кот.
Упала птичка замертво в пионы...
И проклят был тот сорок первый год.*

СВЯЗИСТКА

*Понятен был полученный приказ:
Огонь откроют завтра наши пушки,
Потом пехота встанет. А сейчас...
Как нескончаем провод на катушке...*

*Она спешит в осенней темноте
Почти по-детски, по привычке ловкой –
Наладить связь с «эмпэ» на высоте,
Чтоб артралёт прошёл с корректировкой.*

100

САВЧЕНКО Александр Карпович родился в 1937 году в рабочем посёлке Любино Омской области. Работал в Мариинске и Кемерове, три года занимался поиском подземных вод в пустыне Гоби (Монголия). Печатался в альманахах: «Литературный Омск», «Кузнецкая крепость», «Притяжение», в журналах: «Юность», «Крокодил», «Шмель», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», «Метаморфозы», «Страна Озарение», в «Литературной газете», участвовал в коллективных сборниках, изданных в Москве, Волгограде, Брянске, Орле, Кемерове, Омске, Новокузнецке. Автор книг «СОВ ПАДЕНИЕ», «В плену времен», романа «Двое из-за бугра». Лауреат журнала «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России. Живёт в Новокузнецке.

Вспорхнула птица прямо у виска,
Раздался писк испуганной полёвки...
И с каждым звуком тянется рука
К плечу, где давит спину ствол винтовки.

В глаза вползает жгучая трава –
Всё тут не наше в окруженье хмурым...
Как далеко Россия, и Москва,
И мудрый вождь с отеческим прищуром.

...Здесь танк прошёл – трава умята
в грязь,
Чернеет дно пустой немецкой фляжки.
К рассвету, кровь из носу, надо связь –
От страха б только не ползли мурашки...

Она ползёт напористо вперёд
И в сотый раз невольно представляет,
Как мама брата в детский сад ведёт
И нос ему подолом вытирает.

НАСТУПЛЕНИЕ

Здесь нет клочка невыжженной земли
И что ни шаг – везде осколки стали...
Мы через год опять сюда пришли –
Сюда, откуда раньше отступали.

На высоте в бетон вмурован ДОТ,
Расчет фашистский нагл и сверхуверен.
Как пёс поганный, лает пулемёт –
Им каждый метр здесь давно пристрелян.

Нас враг косил прицельно, по кольцу...
Сосед, схватив гранаты в исступленье,
Пополз вдруг к ДОТу... Он спешил к отцу,
Убитому во время отступленья.

Когда б не так, нам был бы всем конец,
Была бы кровью залита низина...
Но этот бой нам отыграл отец,
В подмогу взяв единственного сына.

КУКУШКА

Над миром солнышко вставало,
Сгоняя медленно росу...
Кукушка вдруг закуковала
В уставшем от войны лесу.

Забыв о смерти и о страхе,
Солдат издал с надеждой вздох
И обратился к вольной птахе:
– А ну-ка, досчитай до трёх!..

Цвели ромашки на поляне,
А возле них витала грусть...
– Тогда живым вернусь к мамане
И на Катюхе пожениюсь...

Но свет, пронзающий, как скальпель,
Блеснул и жаром грудь задел –
В секунду ту немецкий снайпер
Поймал солдата на прицел.

Под метроном далёкой птицы
Дыханье выровнял стрелок.
Айн – цвай – и драй – и рыжелицкий
Нажал на спусковой крючок.

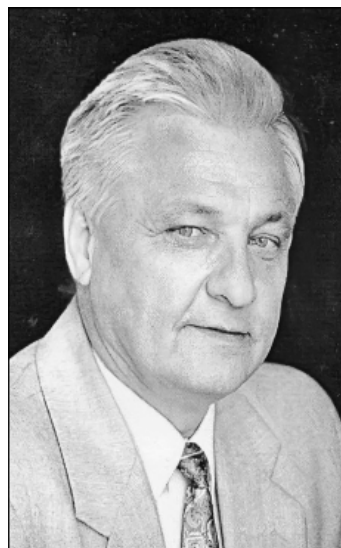
И всё... Вдали текла речушка,
А вдоль неё стелился лес...
И только видела кукушка,
Как мёртвый ангел пал с небес.



**Вольдемар
ГОРХ**

ПИСЬМОНОСКА

РАССКАЗ



Надо много пережить,
чтобы стать человеком.

Антуан де Сент-Экзюпери

Светало... Скрипнула калитка, на соседней улице блеснуло оконце дома. Горизонт засветился нежной красноватой полоской, и звездочки на небе стали гаснуть одна за другой. Варя ускорила шаг и за околицей села припустила с холма бегом. Ее огромная брезентовая сумка хлопала по ногам, горестно вздыхая в тишине утра.

Спуск закончился, и девушка перешла на быстрый шаг, поглядывая на восходящее солнце. Сегодня она припозднилась, потому что сосед Мишка никак не хотел ее отпускать. Всю ночь продержал в объятиях, но так и не поцеловал. Вспомнив это, Варя засмеялась и побежала еще быстрее.

Поезд вот-вот подойдет, и Фомич рассердится, если она не успеет к выгрузке почты из вагона. Он хотел казаться строгим начальником, покрикивая на почтальонов, но Варя-то знала, что он добрый. Перегрузят они сейчас почту на тележку, отвезут к себе, разложат по ячейкам и сядут за чаепитие. Для порядка Фомич поворчит на молодежь, не забывая подкладывать Варесиротке кусочки сахара побольше, и начнет фи-

лософствовать на житейские темы, обычно повторяя одно и то же.

Варя каждый раз терпеливо выслушивала старичка, загружала сумку, чмокала его в аккуратно выбритую щеку и убегала в свои Васильки. Летом отмахать три километра от станции до поселка ей, пятнадцатилетней и длинноногой, труда не составляло. Вот зимой иногда так задувает холодный ветер, что руки и ноги мигом коченеют. Хорошо, Фомич для нее шубейку где-то добыл да старые валенки подшил.

Прибежит она сейчас домой, перекусит наскоро и сразу начнет разносить письма односельчанам. Опять на завалинке возле своего дома будет поджидать Халтуруixa – в надежде получить весточку от единственного внука. Третий год письма нет. Прощмыгнуть мимо зловредной бабки было невозможно: та караулила с самого утра. Так что хочешь не хочешь, а надо показывать ей все конверты и выслушивать, что она, верхивостка, наверняка письмо от внука на почте забыла, и Бог ее за это накажет.

А Бог давно уже наказал Варю. Простудились папа и мама на колхозной работе и умерли оба от воспаления легких, оставив дочку одну. Не было у нее родни, полной сиротой стала. Хоть успела закончить шесть классов, да председатель сельсовета пристроил на почту. Полу-

ГОРХ Вольдемар Александрович родился 18 апреля 1941 года в с. Шталь Саратовской области. Был депортирован в Сибирь. Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, действительный член Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей России и Кузбасса. Награжден медалями «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За веру и добро», «За служение Кузбассу» и другими наградами. Автор многих книг, романов, рассказов, стихов и художественной публицистики. Живёт в п. Металлплощадка Кемеровского района.

чала, конечно, немного, но, если особо не тратиться, на жизнь хватало. Помогала картошка со своего огорода.

Халтуруху Варя заметила издали и заранее напряглась. Но сегодня как-то странно повела себя старушка. Тяжело кряхтя, поднялась с завалинки и шагнула навстречу. Протянула что-то в чистой тряпице и грустно проговорила:

– Я тут картофельных оладушек испекла, Варюша. Помяни моего погибшего на Перекопе сыночка – Андрюшу. Извещение тут наведни пришло. Раздели со мной горе, сиротинушка.

Девушка от этих слов оторопела, а поняв, что бабушка путает время, обняла и бережно посадила ее на привычное место. Отойдя подальше в переулок, Варя прислонилась к чьей-то ограде и расплакалась. Сын Халтурухи погиб еще в Гражданскую.

Разнеся почту по селу, Варя повернула на хутор, числившийся бригадой колхоза. Папа как-то рассказал, что сюда выселили из деревни кулаков. Здесь они и обустроились, но в колхоз вступили много позже других крестьян, да и то по принуждению. Жили затворниками, но письменно встречали приветливо и даже провожали назад, если было поздно. На хутор всегда приходило много писем и газет.

Идя домой, Варя подумала: надо написать Халтурухе письмо от внука! На следующий день с трудом уговорила Фомича на подлог, и, когда дело было сделано, помчалась в деревню. К ее удивлению, место бабуся на завалинке пустовало, а в ограде толпились люди. Варя вошла в дом. Халтуруха лежала на кровати, было видно, что она на последних вздохах. Варя вложила ей в руку конверт и, заикаясь, проговорила:

– Бабушка! А вам письмо пришло от внука!

Та дрожащей рукой поднесла конверт к губам, поцеловала и... затихла.

Притомилась в тот день Варя. Возвращаясь с хутора, присела под раскидистую березу передохнуть да и заснула. Снились ей улыбающиеся матушка с батюшкой и строгая Халтуруха.

Проснулась от какого-то внутреннего холода. Увидела над собой ветки березы и пронзительно чистое голубое небо. А на душе было беспокойно, появилось недоброе предчувствие.

За каждодневной беготней совсем забыла Варя про свое хозяйство, а тут как-то разом всё посыпалось: упал забор, завалился погреб, прохудилась крыша, закончились дрова. Попыталась что-то сделать сама, да ничего не получи-

лось. Поплакала тихонько и пошла просить помощи у Мишки.

Хоть Мишка и тюха-матюха, но рукастый. За неделю всё подлатал, наладил. Варя на радостях сварила свежей картошки, нарезала малосольных огурчиков и выставила бутылку водки. Мишка поест поел, а водку пить не стал. Обнял на прощанье Варю и неожиданно сказал:

– Мне, Варя, на днях в армию идти. Не хочу тебя, такую молодую, поганить. Ты жди меня! Вернусь – поженимся!

Выпалил он всё на одном дыхании и впервые поцеловал девушку в губы, жарко и нежно. И сразу ушел, топая сапожищами.

Хмурым показался Варе 1939 год. Только оттрещали крещенские морозы, как кругом завертело, завьюжило. Утром она откапывала выход из своей избенки, а до станции добиралась на лыжах.

Единственная радость – письма от Миши. Запрёт Варя вечером дверь на крючок, закрывает окно занавеской и начинает читать-перечитывать. Приходили письма каждую неделю. Но вдруг почему-то перестали. Четырежды писала она в военную часть, а ответа нет и нет.

Лишь весной следующего года пришло коротенькое письмецо: «Варя! Меня демобилизовали по здоровью. Скоро прибуду на радость и горе разом. Целую. Миша».

Встретила она его через месяц, когда зашла домой пообедать. Он сидел на крылечке, смоля папиросу. Увидел ее – обрадовался, подхватил костыли и зашепшил навстречу на одной ноге. А она прижалась к нему и прошептала:

– Ничего, ничего! Все будет хорошо, миленький ты мой!

– Принимай, Варенька, жениха-калеку. Если примешь такого, сегодня и поженимся.

– Дурачок ты, Миша! Я ведь ждала! Входи в дом хозяином, – торжественно распахнула она перед ним дверь.

Ранним утром, когда туман еще не ушел от озера, зашагали молодые в райцентр – регистрировать отношения. Домой супруги Семины вернулись к вечеру. Варя успела забежать на почту и выправить себе отпуск на три дня. Мишины родители поджидали у калитки дома с караваем на расписном рушнике. Молодые расцеловали их, отломали по кусочку хлеба, макнули в соль и с удовольствием съели. А потом посмотрели друг на друга и счастливо рассмеялись. Так началась их семейная жизнь.

Жили в доме Вари. По вечерам часто лежали, обнявшись. Варя положит голову на мужнину грудь и слушает его рассказы о войне с финнами.

– Тысячи наших солдат и командиров зазря полегли! – говорил Миша с горечью. – Да кому что скажешь?

Миша стал другим после войны. Отремонтировал завалившийся сарай и сварганил там слесарку. Паять, лудить, чинить замки, примусы – всё мог. И никому не отказывал. Крепко зауважали его на селе. Да и приработок у главы молодой семьи появился.

А как-то за ужином он с гордостью объявил:

– Я, Варенька, теперь колхозный кузнец! Буду получать на свои трудодни хлебушек. Заживем, как все!

– Миша! Тяжело ведь тебе работать на одной ноге!

– А я у председателя выпросил молотобойца. Завтра будем трудиться уже вдвоем. Мне, Варя, даже мешок муки сегодня привезли. Пеки, жена, блины да пироги!

Он дурашливо обхватил жену и стиснул в объятьях.

– Ой, Мишенька, меня теперь нельзя так жать! – сказала Варя строго. – Тяжелая я. В мае рожать буду, готовься, папаша!

Зимние дни коротки, а дел в той же кузнице всё больше. Теперь и Варя, и Миша на работу уходили раненько, а возвращались уже затемно. Хорошо, родители Мишины то дом протопят, то сварят чего, а то бы молодые и картошку в подполе заморозили, и голодными были бы оба.

К весне привезли Мише протез, и вскоре отставил он костыли, опирался только на тросточку. И у Вари походка изменилась, стала плавнее, осторожнее. А когда до родов осталось не больше пары недель, выдали ей двойную зарплату и предоставили отпуск. Свекровь нашла бумажных распашонок, носочков, нарезала пеленок. Свёкор за три мешка картошки выменял на рынке детское одеяльце и кружевную шапочку. А больше всех старался будущий папаша. Привез с хутора долбленое деревянное корыто купать младенца, к потолку подвесил зыбку и отковал красивую коечку.

Дочка родилась ясным апрельским днем 1941 года. Услышав от отца эту весть у себя в кузнице, Миша от радости даже расплакался. Сбросил фартук, кое-как обтер лицо и руки и бойко захромал домой. Отец еле поспевал за ним.

За все свои двадцать три года Миша второй раз выпил стакан водки. Первый раз – от боли в госпитале, когда отняли ногу. Сейчас Варя не могла наглядеться на счастливое лицо мужа и думала, что так будет всегда.

Урожай прошлого года позволил колхозу не только выполнить обязательства по хлебозаготовке перед государством, но и богато оплатить трудодни. А на общем собрании решили к майскому празднику радиофицировать деревню. Миша отковал крючья для крепления проводов к домам. Колхозники выкопали ямы под столбы. Специальная бригада устанавливала черные тарелки репродукторов. Специалисты из района монтировали в клубе радиорубку.

Наконец наступил день, когда включили репродукторы. Вначале в них что-то зашипело, а затем заиграла музыка, да так чисто и громко, что все кошки перепугались и, взъерошив шерсть, попрятались под лавки. Ликование было всеобщим, пацаны не жалея ног бегали от одного уличного репродуктора к другому, проверяя звучание. Старушки от страха крестились.

Май одарил колхозников щедрым солнцем и теплыми дождями. Сев закончили на диво быстро.

Варя, оставив дочку на догляд свекрови, вернулась к работе, наматывая за день по многу километров. По обрывкам фраз, которые слышались при сортировке писем, по отдельным словам начальника, по крикливым заголовкам газет она поняла, что надвигается война. Выгружая на станции почту, все чаще видела Варя на путях воинские эшелоны с зачехленной техникой. Да и в деревне мужики грамотней не раз упоминали это слово – война. Это страх, это гибель... И это никак не вязалось с нынешней жизнью, с жизнью ее мужа и ребенка.

Ранним июньским утром Варя, покормив дочку, отправилась с Мишей на озеро бросить невод. После прошедшего ночью теплого дождя в окрестных болотах гулко квакали лягушки. С озера потянуло туманом, который прикрыл береговую отмель. Издали, с хутора, доносилось пение петухов.

На лодке Семины переправились на другой берег реки, к старому мосту, а оттуда по камышовой прогалине легко перетащили лодку на озерную воду. Рыбные места здесь Миша знал с детства.

Туман начал редеть и открыл водную гладь, а на ней – чету лебедей. Те плыли, гордо поднося головы. Вот один вскрикнул и встрепенулся, мощно расплескал возле себя брызги, как бы

предупреждая людей: «Не мешайте нам быть вместе!» Отплыв подальше, лебеди широко расправили крылья, разбежались по воде и, вытянув шеи, полетели вдаль.

В это время неподалеку грохнул выстрел. Второй... Третий...

– Беда в деревне, Варя! – вскакивая в лодку, крикнул Миша. Усадил жену на весла, а сам спешно начал выбирать невод. Добравшись до своего берега, увидели на пеньке отца Миши Николая Александровича со старенькой берданкой, лицо его было мокрым от слез.

– Война, детки! Война с Германией! Горе! Опять горе!

Когда дошли до родной улицы, с репродуктора на столбе передавалось сообщение Молотова о вероломном нападении на СССР гитлеровской Германии. В толпе то здесь, то там метался и замирал без ответа вопрос: «А где Сталин?» Люди в одиночку и группами стали расходиться по домам со своими думками. Внезапно небо закрыла темная туча, и пошел ливень.

Следующий день начался с невообразимой суеты: на машинах и конными наехали военные; сельсоветчики разносили повестки о мобилизации резервистам и призывникам; на военный учет взяли трактора, автомобиль-полуполторку и лошадей. Машину, оба трактора и лучших лошадей забрали через два дня.

Варя теперь разносила кроме писем и повестки. Вой и стон стоял по всей округе. Мужики уходили воевать. Фронт проходил не так далеко от деревни.

Насколько можно было понять из радиосводок и газет, враг наступал сплошным фронтом от Балтийского до Черного моря. К осени шок от потери постепенно притупился, сотрудники НКВД начали формировать партизанские отряды, закладывая их базы. Ночами увозили мужчин, парней, девчат на станцию Сухиничи, там пока базировались партизаны.

Мишу, который тоже записался в отряд, увезли октябрьской ночью. Только и успел он поцеловать сонную дочку да плачущую жену.

Варю, хорошо знавшую местность, поселили на станции Локоть для связи между подпольщиками и отрядниками. Ревом редела она, прощаясь с дочкой и родителями мужа, ставшими ей родными.

Хромоногий мужик с увесистым мешком инструмента хорошо обосновался в оккупирован-

ном Смоленске: недалеко от железнодорожной станции появилась мастерская по мелкому ремонту. Мастер жил здесь же, в пристройке. Застать его на рабочем месте можно было в любое время суток. Захаживали сюда и немцы, и полицаи: обувку подшить, часы починить, а то и просто подальше от начальства выпить дешевой самогоночки.

Никто и не догадывался, что из пристройки подземный ход вел в подвал, где ремонтировалось оружие, изготавливались мины. Когда-то на этом месте стоял купеческий дом, но после пожара в 1812 году площадку заровняли и построили каретный двор. О подвале знали только чекисты.

Однажды зашла в мастерскую бойкая торговка из Рославля с целой корзиной барахла. Увидев ее, мастер побледнел и застыл на месте с дымящейся сигаретой в руке.

– Варечка, – невольно шепнули губы, и тут же он начал вытирать вроде как от табачного дыма выступившие слезы.

А торговка затараторила без устали:

– Мой поезд уходит через час, заказ срочный. Посмотрите у примусов золотники, заправьте их и отремонтируйте сапоги. За срочность я привезла сала и сигарет.

Потом осмотрелась и добавила:

– Как неопратно! Накурили, хоть топор вешай! Учти, миленький, заказик мой исполни, а то пожалуюсь на тебя вон тем! – И указала на лицаев.

Из сказанного Михаил понял: срочно нужны мины, в сапогах спрятаны листовки, в сигаретах – сообщение подпольщикам, а над ним самим нависла беда, нужно срочно уходить.

Торговка вернулась в оговоренное время, забрала товар и протянула мастеру пачку сигарет со словами:

– За все тебя благодарим!

Взглянула на Михаила увлажнившимися глазами и, подхватив потяжелевшую корзину, поспешно вышла.

После серии дерзких взрывов на железнодорожных станциях ненадолго удалось задержать продвижение фашистских войск, что помогло частям нашей 33-й армии выйти из окружения. Но дорого пришлось заплатить за эту операцию. Начались повальные аресты. При малейшем подозрении в причастности к взрывам – расстрел.

По всей линии железной дороги начались провалы явок. В цепочке подпольщиков появился предатель.

В пачке сигарет, принесенной Варей, находился приказ срочно закрыть точку и уходить по указанному адресу. Сделать это Михаил не успел. За ним пришли, когда он минировал подвал. Герой отстреливался до последнего патрона, а после выдернул чеку умело вмонтированной в деревянный протез гранаты. Жители соседних улиц вздрогнули от грохота, а некоторые и увидели, как метнулось из-под земли огромное пламя...

Варя об этом ничего не знала из-за приказа спешно выехать в Бобруйск и там осесть на явочной квартире. Долгим оказался переезд. Постоянные проверки, обыски, недоедание и страх измотали ее. На место прибыла больная, изможденная. На явку сразу не пошла. Сняла недорогое жилье и временами, пристроившись в укромном месте, наблюдала за домом с явочной квартирой. Вот вышел оттуда человек и, озираясь, нырнул в проем забора. Минут через десять из дверей появился юноша и быстрым шагом направился к центру. Интуиция подсказала, что за ним надо проследить. Когда тот вошёл в управление полиции, стало ясно: предатель!

Варя вернулась к наблюдательному пункту. Вновь показался тот же юноша, а следом в дом зашел полицейский. «Засада! Что делать?» – растерянно подумала она и вдруг увидела, что к дому уверенно приближается моложавый мужчина в гражданской одежде с докторским саквояжем в руке. Вопреки всем инструкциям, Варя решила на отчаянный шаг. Как только мужчина поравнялся с ней, бросилась ему на шею:

– Братишка! Родной! Как я рада встрече!

Обнимая и целуя мужчину, успела шепнуть:

– Там засада! Надо уходить!

Тот сразу подыграл: тоже поцеловал ее, обнял за плечи и бережно увел до ближайшего переулка.

– Встречаемся сегодня у кассы кинотеатра в шесть вечера, – сказал и исчез.

В назначенное время, ожидая за колонной, Варя увидела, как мужчина подошел к кассе и незаметно осмотрелся по сторонам. Она вышла из своего укрытия и, держа в кармане руку с пистолетом, назвала пароль. Незнакомец правильно назвал отзвук. После чего облегченно улыбнулся и увлек ее в глубину аллеи, подальше от лишних глаз. Там, прохаживаясь взад-перед, он сообщил:

– Разгромлено практически все подполье. Мы не смогли выйти на след предателя. Я ко-

мандир разведгруппы партизанского отряда «Чапаев» – Бырда Олег Николаевич. Сегодня вы спасли мне жизнь! И не только мне! Спасибо вам за прозорливость! Оставаться нельзя. Сегодня ночью уходим в отряд. Постарайтесь запастись теплой одеждой и провизией на два-три дня. Встречаемся у коновязи базара в десять вечера.

Время ожидания тянулось вечность. Зато не успела Варя подойти к коновязи, как тут же подъехала бричка, и ее куда-то повезли. Часа через три остановились за околицей села покормить и напоить лошадей. Тихо подъехали люди еще на двух подводах. И по чавкающим дорогам путь продолжился. Варя, утомленная всем пережитым, уснула и проснулась уже на утренней заре, когда остановились в густой роще на берегу реки.

– Всем отдыхать! Дальше пойдем пешком! –скомандовал Олег Николаевич и блаженно вытянулся на земле.

Солнце с трудом пробивалось сквозь ветки, рассекая лучами утренний туман и будоража лесных птиц. Люди выстроились цепочкой и пошли. Впереди шагал юркий мужичок в разбитых ичигах, с большой палкой в руке, а сзади двое на веревке вели избитого мужчину из явочного дома. Шли тихо, подчиняясь жестам проводника и командам Олега Николаевича. Миновали болото, остановились на небольшом островке и устроили привал. К вечеру вышли к охотничьей заимке, легли не раздеваясь, кто где, и тут же уснули.

Утром вытряхнули все припасы на плащ-палатку Олега Николаевича, разделили поровну и съели до крошки. Через час продолжили движение. Проводник остался в избушке, впереди теперь шел Олег Николаевич. Вскоре были уже в партизанском отряде.

Через трое суток Варю вызвали к командиру. Высокий черноволосый мужчина, похожий на грека, усадил ее напротив себя и спросил:

– Дорогу назад найдешь?

– Только после избушки до рощи за болотом.

– Слушай приказ! – Командир дважды затянулся папироской. И медленно, с ударением на каждом слове продолжил: – Разоблаченный с твоей помощью провокатор признался, что в полицейском комиссариате Смоленска находится главный предатель – Охлопкин Николай Николаевич. Он действует от имени штаба партизанского движения округа. На его совести сотни смертей наших людей. Его нужно ликвидиро-

вать во что бы то ни стало! Вместе с тобой пойдет Олег Николаевич. Задание понятно?

– Так точно! – по-военному ответила Варя и направилась к выходу. Остановилась. Повернулась к командиру и просяще заглянула ему в глаза: – Я оставляю адрес дочери. Если погибну, вы уж побеспокойтесь о ней!

– Что ты, что ты, доченька! – обняв Варю, командир по-отцовски поцеловал на прощанье в щеку и подтолкнул вперед.

В Смоленск прибыли только на пятый день. Задержались в хижине рыбака на берегу реки. Он-то и поведал о гибели Миши и передислокации полицейского комиссариата в Минск.

Лишь через месяц с трудом добрались до Минска. Целый день хоронились в развалинах большого здания, а затем перебрались на чудом уцелевшую явочную квартиру. Хозяин сообщил, что минское подполье разгромлено почти полностью. И здесь постарался опытный предатель.

Два дня кружили разведчики около управы, и наконец по фотографии удалось узнать Охлопкина в одном выходящем из здания мужчине. Когда подпольщику указали на него, тот уверенно заявил, что это господин переводчик, и живет он совсем рядом, у своей любовницы.

Ближе к вечеру устроили засаду в доме любовницы. Женщину связали и, заткнув ей рот кляпом, засунули в большой комод. Варя переоделась в ее одежду и стала ждать в прихожей, приглушив свет. Около восьми вечера за дверью раздались одинокие шаги и дзинкнул звонок. Варя очень спокойно открыла дверь и впустила любовника. Остальное доделали мужчины.

Охлопкина долго допрашивали в ванной... Варя не слышала, как приговор привели в исполнение. Очнувшись от того, что кто-то брызнул в лицо холодной водой.

От всего пережитого начался у нее нервный срыв. Она то билась в корчах, то затихала в забытьи. Обнаружила себя только на явочной квартире с головной болью и распухшим, кровоточащим языком. Дальнейшее Варя тоже помнила смутно. Она плыла на лодке, потом долго ехала на телеге...

Окончательно проснулась от стога лежащего рядом человека. По унылому завыванию двигателя поняла, что они в самолете.

– Пить... – чуть слышно проговорила она, и тут же над ней склонился человек в белом халате.

– Жива! Слава Богу! Будем жить, героиня ты наша! – с чувством заявил доктор, поднеся к ее губам фляжку с водой. – Скоро Москва, там и подлечим!

Майским днем 1944 года сошла Варя с поезда на своей станции с одним легким чемоданчиком в руке. Заглянула в полуразрушенное вокзальное помещение. Рядом повсюду следы войны: остовы сгоревших вагонов, скрюченные рельсы, руины зданий, раны воронок. А вот в уцелевшем зальчике вокзала стоял всё тот же довоенный бачок с холодной водой и кружкой на цепочке. Везде, где можно было приткнуться, спали, сидели, лежали уставшие, грязные люди, то и дело поглядывавшие на окошко кассы: когда откроется?

Глотнула Варя водицы и бегом по памятной тропе – в село, к доченьке, свёкру и милой свекровке. Еще издали увидела места пожарищ с одиноко торчащими печными трубами, пустые окопы около дороги, а у реки – обгоревшие немецкие танки. Лишь кое-где, небольшими островками, домишки уцелели, убереглись от огня, осталось подобие улиц.

Подбежала к месту, где стоял родной дом, а дома-то и нет. Ничего нет. Поникла Варя головой и зашпешила на улочку Мишиных родителей. А там жилище и все надворные постройки тоже сгорели до земли. «Как будто жгли специально, – мелькнула мысль. – Где искать теперь?»

Так бы и стояла она долго в оцепенении, да увидела, что к ней торопится свекровь, ведя за руку подростковую девочку. Кинулась Варя навстречу, упала на колени, судорожно обнимая обеих, и зарыдала в голос...

Не успела она умыться и заплести дочке в косички купленные в Москве цветные ленточки, как начали приходить сельчане, неся всё, что у кого было: соленые огурцы, картошку, грибы, даже самогон.

– Немцы появились неожиданно, – рассказывала свекровь. – Наши старики разрушили мост, и фашисты из танков стреляли с того берега. Прилетели самолеты, бомбили всё подряд. Фашистам нужна была станция. Нашим тоже. И бились за нее целую неделю. Кругом горело всё: дома, лес, танки. Наши отошли, и следом поперли немцы. Заняли село и в тот же день трех баб изнасиловали. Так мальчишки, сыновья тех несчастных, в отместку подожгли немецкую маши-

ну с горючим. Стояла она у нас во дворе. Шофер спал в горнице и огня не увидел. А я увидела. Быстро завернула внучку в одеяло и выпрыгнула в окно. Лишь отбежала, как взрыв – и огонь до неба! Сгорел дотла дом, сгорели немцы и... мой Николай... – свекровь вытерла платочком слезы. – Приютили нас добрые люди. А когда немцев турнули, отдали нам дом старосты. Его и сына-полицая расстреляли...

Видели гости, что сидит сейчас за столом с дочкой на руках и слушает свекровь не прежняя словоохотливая Варя, а поседевшая взрослая женщина с печалью в глазах. Выпили по глотку... Долго молча сидели за столом. Слышен был только голос Машеньки:

– Мама. Папа. Мама.

Тишину нарушила старенькая учительница:

– Варя, я тебя учила с малых лет, ты выросла на моих глазах. Теперь вот всего навидалась, опыта набралась... Кому, как не тебе, стать председателем колхоза? Ты сейчас ничего не говори, а приходи завтра вечером на берег реки. Там всем селом и решать будем...

В тот вечер бурлил народ на берегу. Многие говорили, что надо своими силами восстановить колхоз под руководством Вари. В конце концов она согласилась. Под контору определила часть дома свекрови с отдельным входом.

Через два дня на своем тарантасе приехал секретарь райкома. Молча выслушал Варю, пристально рассматривая ее, поздравил с избранием и пообещал помочь семенами.

Варя и представить не могла, как трудно на голом месте силами одних женщин и подростков что-то сделать. Начали собирать оставшийся инвентарь да хромоногих лошадей, а из десяти самых работоспособных женщин сформировали рыболовецкую бригаду. Соорудили на озере причал, сколотили навес, инвентарную, и дело пошло. Рыбу продавали на станции, солили впрок, выдавали на трудодни.

Однажды невод зацепился донником, долго мучились, но отцепить не смогли. Послали в село за отчаянной ныряльщицей Ульяной, прозванной Тиной. Та любила доставать до дна на любой глубине и доказывать это, демонстрируя донную тину. Первый раз нырнула Тина, чтобы отцепить невод, второй раз – безуспешно. А на третий, вынырнув и с шумом хватая ртом воздух, прохрипела:

– Трактор там! Целенький, с зацепленным тросом. Невод я освободила!

Пока Тина отогревалась горячим настоем трав, рыбачки вынули невод с хорошим уловом и отправили вестовую в контору. Варя прибыла на берег не одна, а со старым дедом Никифором, первым трактористом еще в начале коллективизации.

Он быстро смекнул, что к чему, и преобразился: молодецкато сдвинул на затылок засаженный треух, взобрался на пригорок и присел на пень, заухмылявшись. Повел речь:

– Сюда нужно вбить железный штырь. На него надеть колесо от сеялки и закрепить трос. Второй конец зацепить за трос трактора и оглоблями колесо крутить. По воде трактор пойдет легко. Из воды появится – подтащите ближе к берегу и остановитесь. Сварганьте настил и только потом тащите на берег. А как вытащите, дайте двух помощниц да бутылку самогона для азарта, и я его, родненького, представлю в лучшем виде.

Все получилось довольно-таки легко. Целую неделю, колдуя над двигателем, старый тракторист требовал у помощниц то ветошь подать, то керосин, то заставлял драить какую-то чугуняку. Когда же трактор запыхтел, и дед Никифор проехал по селу, коммунист Варвара Семина, вытирая слезы радости, впервые перекрестилась.

Дед Никифор преуспел и как педагог, учил женщин управлять машиной. Через неделю они сами пахали землю. Отсеялись вовремя. На деньги от продажи рыбы наняли шабашников, те отстроили свинарник. После Нового года там уже блаженствовали хрюшки. Дела потихоньку налаживались, и война шла к концу. Это чувствовалось во всем, даже в звонком смехе колхозниц.

А Варя, недоедая, недосыпая, изо дня в день крутилась на работе. Боль печали по мужу постепенно отступала, а тело порой просило мужских ласк. От таких снов она даже просыпалась ночью.

Однажды за ужином свекровка выдала:

– Ты, Варя, днями вкалываешь и забыла, что ты женщина. И колхозники все почитай женщины. Кончится война, придут домой солдаты. Забрюхатятся бабы разом, детей нарожают. А куда их определить? Можешь одна оказаться в колхозе, только с мужиками, без женщин!

– Мама, а что же мне делать?

– Начинай строить ясли и детсад.

– Мама, как?

– Решать тебе, но я подскажу. Дом Халтурихи крепкий, теплый. Внук ее освободился из ла-

геря в конце сорок второго, но скоро от чахотки умер. Давай туда переберемся, а в нашем доме оборудуй ясли и сад.

Так и сделали. К весне своими силами отремонтировали коровник и под кредит банка через заготконтору закупили сто племенных нетелей. Колхозное производство росло и крепло.

Теплым майским днем прибежала, запыхавшись, со станции девчушка и как закричит на всю улицу:

– Победа! Победа! Люди! Победа!

Мелькнула косичками – и бегом к работающим в поле. Вторило ей эхо лесное да гладь водная:

– Победа-а-а-а!

Побросали все работу – и в село. А там уже собрались на митинг веселые, плачущие, смеющиеся. Два дня радовались. Два дня бегали на станцию за новостями. Два дня то там, то тут спрашивали у Вари:

– Когда мужиков домой отпустят?

А она, улыбаясь, всем отвечала:

– Скоро, мои хорошие! Скоро!

В июле-августе начали прибывать мужчины. Кто искалеченный войной, прямо из госпиталя, а кто и целехонький. Трофейного барахла приволокли уйму. Долго еще возвращение отмечали. Некоторые вообще изо дня в день пили, при этом выговаривая председателю: то она делает неправильно, это неправильно... Терпела-терпела Варя, да и лопнуло терпение. Собрала однажды всех воинов-крикунов и выдала всё, что о них думает.

– И завтра же чтобы все были на работе трезвыми! – так закончила она речь.

И назавтра не все, конечно, но многие вышли на работу.

Так, в общих заботах и хлопотах, проходила жизнь председательши. В сорок седьмом проводила она дочку Машу в первый класс и, наверное, впервые взглянула на себя со стороны. Где оно, счастье? Будет ли еще?

А в конце 1959 года приехал к ней в гости бывший партизан-разведчик Олег Бырда. Как она обрадовалась! Кинулась ему на шею, целовала, плакала, снова обнимала. Наконец, успокоившись, сели вместе со свекровью за стол.

– Отряд наш, Варя, уничтожили полностью, – начал рассказывать гость. – Успел предатель перед смертью сообщить его месторасположение. В живых осталось двое: я и проводник. Переправил я тебя в Москву и вернулся в лагерь. Похоронили останки партизан в общей могиле, да и пошел я навстречу нашим наступающим войскам. Победу встретил в Берлине. Потом искал тебя. Долго. Твою настоящую фамилию узнал только из указа Президиума Верховного Совета о присвоении тебе звания Героя Советского Союза посмертно. В каких там бумагах тебя похоронили, не знаю, но окольными путями я тебя разыскал.

Олег Николаевич достал из саквояжа бутылку коньяка, шоколад и два лимона. Нарезал лимон, наломал шоколад и, налив понемногу в три рюмки, продолжил:

– Я ведь, Варя, до войны был директором школы. Преподавал математику. На войну ушел добровольцем. Вся моя семья и родители погибли. Единственный родной и любимый мне человек – ты, Варя. Примешь мужем – буду рад, примешь другом – огорчусь, но не обижусь. Прибыл я сюда поближе к тебе директором школы. Решай, Варя!

...Рано утром из дома Вари вышли, обнимаясь, двое: он и она.

Свадьбу сыграли скромно, в кругу самых близких друзей, чем обидели сельчан. Пришлось потом повторить уже по-настоящему.

Через три месяца пригласили Варю в Москву для награждения Звездой Героя. На церемонии почувствовала она головокружение и тошноту. Сперва списала на волнение. Но когда за праздничным столом потянуло на соленую рыбу, поняла, что беременна.

Сынок родился здоровеньким, голосистым, и грудь матери принял сразу.



СТИХИ КУЗБАССОВЦЕВ- ФРОНТОВИКОВ

Евгений БУРАВЛЁВ

ПОДСНЕЖНИК

*На краю воронки от разрыва бомбы
Утром я подснежник голубой сорвал.
Мне бы его бросить, позабыть о нём бы, –
Но о чём-то близком он напоминал.
Положил его я в воду у пневматика.
– Береги, – механику своему сказал. –
Дам после полётов любопытным: нате-ка,
Вот какого цвета милые глаза.*

ПОБЕДИТЬ!

*В этом слове народная воля.
Сталевар с этим словом на вахту встаёт,
Трактористка в груди это слово несёт,
Выезжая в колхозное поле.*

*С этим словом бойцы рядовые
И седой командир, партизанский отряд,
Не жалея ни крови, ни жизни, творят
Для отчизны дела боевые.*

*Победить! И не будет другого.
Победить! И вперёд, и ни шагу назад.
Победить! Потому что сегодня сказал
Сталин это зовущее слово!*

*Кто проводит меня за околицу,
Кто в дорогу согреет словом,
Кто о счастье моём помолится,
Если в бой уйду я снова?*

*Видно, так уж один останешься
На распутье тяжёлых дней.
Ни приветов тебе, ни пристанища
Без любимой и без друзей.*

*На судьбу обижаться надо ли?
Не согнёте её, не распрямите...
День за днём, словно листья падают,
Засыпая аллею памяти.*

БЕЗ КРАСОК

*Ночь темнотою нас укрыла.
Мы шли с трудом, почти без строя.
И ливень ледяным порывом
Стремился горе смыть людское.*

*От блеска молний иногда
Срывалась тёмная завеса,
Тревожа сон немого леса,
За воротник текла вода...*

*Мы шли. Лицо стегали ветви.
Шли в темноту, за лес туманный,
Чтоб завтра рано на рассвете
Дать бой, стремительный, неожиданный.*

*Солдатских шуток острота
Нам кровь на время согревала;
Порой мы делали привалы,
Посуше выискав места.*

*И враз клонила в сон усталость,
В мозгу бессвязных мыслей нить,
Что где-то девушка осталась...
Что хорошо бы покурить...*

*Но вновь команда. Снова в путь.
Вплотную подошли к окопам.
И залегли, чтоб раньше срока
Соседей-немцев не спугнуть.*

*А в мыслях смутная тревога,
Но сон теперь уже не шёл.
Сейчас согреться бы немного,
Вина бы выпить хорошо...*

*А через час, наверно, бой...
А дома ласковая мать,
Письмо бы надо написать
И попрощаться бы с тобой...*

*Но почему же неприступным
Считают немцы свой рубеж?
А может так? Здесь запах трупный,
Здесь след от прежней битвы свеж.*

Но мы пришли сюда опять,
И каждый в ненависти страшен;
За нами будущее наше
И рубежу не устоять!

У пня раздробленная каска,
Трава помятая какая...
Со смертью кто-то здесь напрасно
Боролся, кровью истекая...

Да, счастье, данное судьбой,
И мне придётся испытать...
Уж начинало рассветать,
А через час, наверно, бой.

От ветра капельки на листьях,
Как слёзы горькие дрожали.
И тучи рваные повисли,
И мы промокшие лежали.

Да где-то ворон каркал глупо, –
Здесь птицы песен не поют,
Лишь вороньё себе уют
Нашло, расклёвывая трупы.

Я тень усталости сознал,
Прильнув щекой к холодной стали,
Скорее, что ли, бы сигнал,
Чтоб мысли глупые отстали.

Ракета огненным хвостом
Во мглу рассветную метнулась.
И вдруг всё ожило, проснулось
В лесу, казалось бы, пустом.

Взлетев фонтанами разрывов,
Земля шаталась под ногами.
Воспламенённые порывом,
Мы грудь на грудь сошлись с врагами.

И в стогах, в скрежете металла
Одно стремленье – убивать!
Казалось, что существовать
Всё остальное перестало.

Да разве в битве штыковой
Отчёт своим поступкам дашь?
Одну гранату за другой
Метнул – и в воздухе блиндаж.

Обезображенное страхом,
Передо мной лицо врага –
Почти не целясь, наугад
Прикладом бью в него с размаху.

Другой, поверженный штыком,
Обмяк весь как-то и без крика
Осел безжизненным мешком,
Припав к земле, от крови липкой.

По сторонам, куда ни глядь,
Сошлись враги в единоборстве.
Нет, против храбрости упорством
Вам, немцы, здесь не устоять.

И на штыках неся победу,
Врага теснили мы к реке.
От сожаленья нет и следа.
А брызги крови на руке,

И немцы в страхе перед смертью
Бросались в панике в реку.
– Ага, не выдержали, черти!
– А ну, поддай им огоньку!

В руках откуда-то, не знаю, –
Смертельным ливнем пулемёт
На дно плывущих немцев шлёт.
Но пуля, видимо, шальная

Срывает каску с головы,
По шее кровь на грудь стекает...
В сознание смятый вид травы,
И пень... и каска – та, другая...

Очнулся вечером. Не верю,
Щипнул себя, да нет, не сонный.
Гляжу, как будто вновь рождённый,
На простынь, окна, пол, на двери.

В окно вечерняя прохлада
Струилась далёкой песней.
Хотел подняться. Нет, не надо –
Лежать и слушать интересней.

То зазвенеет, то смолкнув вновь,
Та песнь души моей коснулась,
И с новой силою проснулась
К далёкой девушке любовь.

Далёкой... Нет, с тобой я жил,
Чтоб в этой битве победить.
Я в ненависть свою вложил
Своё желание любить.

Умолкла песня, только листья
О чём-то шепчут меж собою...
Темнеет небо голубое,
И звёзды над окном повисли...

ЕЩЁ ОДИН ГОД

Свой двадцать третий встретил я
 Не так, чтоб очень плохо –
 Хоть и не в шумном блеске дня,
 Но без печальных вздохов.

В тот день стакан мой поднят был
 С вином, дополненным слезой.
 Его до дна я осушил.
 Один, забытый и чужой
 Для всех.
 В кругу своей мечты,
 Прослушав собственный свой спич,
 Без шума, громкой суеты,
 Не приняв, и не бросив клоч

К веселью, радости и смеху,
 У ёлки не деля потеху
 Друзей и шуток маскарада,
 Как то бывает на балах.
 И мне, по совести, не надо
 Менять покой свой на размах.

Портрет поставив пред собой
 Той, что в душе моей живёт,
 Один, забытый и чужой
 Для всех, – я встретил Новый год.

Я не пишу о войне:
 Трудно писать о войне.
 А уж кому, как не мне,
 Строчку не бросить на круг?
 Лётчику и стрелку,
 Сапёру и штрафнику,
 Взводному в энском полку
 Есть что сказать, мой друг.

Только не до строки
 Там, где легли полки,
 Там, где взята в штыки
 Последняя высота.
 Не срифмовать мне, друг,
 Оторванных ног и рук,
 Не срифмовать всех мук
 И всех оставшихся там...
 Хотя идти на редут –
 Это ведь тоже труд.
 Страшный, но всё-таки труд
 Ради жизни, мой друг.
 Смерти самой вопреки

Безусые пареньки
 Бросали вместо строки
 Сами себя на круг.

Но умели молчать
 Там, где нельзя кричать,
 И попадали в печать
 Только посмертно, друг.

г. Кемерово

Анатолий КОЗЛОВ

Они мгновенны были, встречи,
 На той губительной войне.
 С земли сметало всё картечью,
 Был холм в дыму и лес в огне.

Дышали мы землёй и смрадом,
 Горячим сжатые кольцом.
 Сестричка хлопотала рядом,
 Склонясь над раненым бойцом.

У ней была одна, знать, думка:
 У смерти вырвать паренька.
 И вдруг на красный крестик сумки
 Упала девичья рука.

А мы – вперёд...
 Промчались годы
 Со дня той встречи роковой.
 Текут, текут земные воды,
 И я белею головой.

И, как родного человека,
 А почему, не знаю сам,
 Её ищу уже полвека
 Во сне по разным адресам.

ПОРТНИХА

В углу – шинели. Сбиты, смяты.
 На них огня и пуль следы.
 Она их штопает средь хаты,
 Но тех, с кого шинели сняты,
 Уже не вырвать из беды.
 «А может быть, – и сердце стынет
 От страшной мысли у швеи, –
 Вон та шинель – родного сына,
 А эта – мужа. Вся в крови?..»

Продольный след,
Сквозной и рваный.
Знать, от штыка. Он вкось идёт.
И, словно бинт, она на рану
Заплату бережно кладёт.

А по щекам, что сына грели
И мужа чуяли тепло,
Что раньше срока постарели,
Слезами горе потекло.

Пришёл рассвет.
Он сине-матов.
Как непроглядный дым в окне.
Строчит машинка автоматом
Здесь – в сиротливой тишине.

НА ВИСЛЕ

Ёлка в инее, в гроздьях огней
Среди праздничного хоровода.
Здесь, на площади, вспомнилась мне
Встреча давнего нового года.

...Падал крупными хлопьями снег.
За окопом, у бруствера, – рядом
Озарялася светом ракет
Ель, израненная снарядом.

Но теплело в солдатской груди
От совсем невоинственной мысли:
Отчий дом и любовь впереди...
Так встречал сорок пятый на Висле.

Тихо льётся ручей на камни.
Машет, машет твоя рука мне, –
Словно лебедя взлёт прощальный.
Ты – как в непогодь день печальный.
Провожая меня на битву,
Заслоняешь от бед молитвой...

Где ты, милая? В смертной буре
Я помилован вражьей пулей.
Где ты, где ты? Я жду ответа...
Ни ответа и ни привета.
...Светлый памятник над могилой.
Вспыхнул в памяти образ милый:
Льётся, льётся ручей на камни,
Машет, машет твоя рука мне...

г. Кемерово

Владимир ЗУЛИН

Заря, что в июне вставала,
У рек и полей на виду,
Для многих последнею стала
Тогда, в сорок первом году.
Коварная, тёмная сила
Дымами, что смрадно черны,
Зарю молодую затмила,
С закатной придя стороны.
Четыре мучительных года,
Когда была жизнь на кону,
Мы шли на закат от восхода,
Собой заслоняя страну.

И дорог, и троп извилины,
По горам, по целине,
Друг, с тобою исходили мы,
Испытали на войне.
И опушками, и пашнями
Шли за танками впритык.
Были схватки рукопашные –
Выручал нас острый штык.
Ну а если «фриц» с разведкою
Лез из ДЗОТа своего,
Мы встречали пулей меткою
Каску чёрную его...
Всё прошли, Победу встретили,
Всем невзгодам вопреки.
Только здесь друзья заметили,
Что у нас в снегу виски.

Всё кругом горело и дымилось.
Я лежал средь выжженной степи.
Вижу: надо мною ты склонилась:
– Потерпи, братишка, потерпи.
Ловко руку мне перевязала,
Спиртом обожгла из фляжки рот,
Улыбнулась, ласково сказала:
– Вот и всё. До свадьбы заживёт.
С той поры в мою запала душу.
В медсанбате вёл минутам счёт.
В полк вернулся, встретил вновь Катюшу,
Жил, боялся – вдруг тебя убьёт.
Хоть судьба крутая нам досталась,
Обошла нас гибель стороной.
Свадьба наша вправду состоялась:

Я назвал тебя своей женой...
 Жизнь в трудах, в заботах пролетела.
 Вдруг – болезнь, страшной которой нет.
 В «скорую» звоню я то и дело.
 – Чем же мы поможем? – мне в ответ.
 Приезжают, делают уколы,
 От души стараются помочь.
 Ты всегда была такой весёлой!
 А сейчас в беспамятстве всю ночь...
 Думал ли расстаться я с тобою?
 Что случилось так – прости, прости.
 Ты меня спасла на поле боя,
 А вот я не мог тебя спасти.

г. Кемерово

Владимир ИЗМАЙЛОВ

«МЁРТВЫМ НЕ БОЛЬНО...»

Ах, мудрости стёртые –
 С ними легко
 Быть ни в чём неповинным!
 Нас-то ведь нет
 Ни с живыми,
 Ни с мёртвыми,
 Нам-то ни памяти нет,
 Ни поминок.
 Были мы стойкими,
 Пали мы честными,
 Тяжко нам с той поры
 Зваться безвестными.
 Тяжко с забвением
 В почве срастаться
 И безымянно
 В грядущем остаться.
 Тяжко нам ваше
 Над прахом молчание –
 С тягостным страхом
 Сравнимо отчаянье.
 Тяжко – могилы черней
 Безмогильность...
 Как бы верней
 Отыскать вы могли нас?
 Вы, кто над нами
 Живёте и дышите,
 Вы ли нас слышите?
 Нас ли вы слышите?
 Словно звеня цепочки,
 Я памятью перебираю

117

Раскалённые дни –
 Ни один не погас, не остыл...
 Мне всю жизнь проходить
 По былому переднему краю.
 Я уйти не могу
 Ни в запас.
 Ни в отставку,
 Ни в тыл.

г. Кемерово

Владимир МАМАЕВ

Мне о любви бы о весне,
 Да вот беда, не пишется.
 Я на войне, большой войне,
 Под деревенькой Лишица.
 Живой ли, мёртвый – не понять,
 Накрыло миной-шанежкой.
 И чудится мне, будто мать
 Тихонько кличет:
 «Ванюшка...»
 И голос трепетный, грудной
 Журчит, как заклинание:
 «Вставай, Иванушка, родной!
 Вставай, ты только раненый».
 Но мне не сдвинуться, не встать.
 Земля сырая, липкая...
 И надо мной Россия-мать
 Качает дымку зыбкую.

ТИШИНА

Ещё вчера была война.
 Ещё вчера смерть лютовала,
 А нынче зыбкая волна
 Баркас качает у причала.
 Как лист опавший, шелестит
 И мирно лижет серый берег...
 У моря человек сидит,
 И человек ещё не верит,
 Что всё прошло, что нет войны.
 Что он живой,
 что он вернётся.
 От непривычной тишины
 Он тихо плачет и смеётся.
 А море ласково шумит,
 И волны плещутся о берег...
 У моря человек сидит...
 И в тишину ещё не верит.

В КИНО

Ю. Бондареву

За кадром кадр, как вал
девятый,
С экрана катят на меня.
Здесь всё про нас,
про нас, ребята,
Про те три ночи и три дня,
Когда в степи, под Сталинградом,
Решалось: быть или не быть!
А танки прут, как на параде,
И надо их остановить.
«Горячий снег...» Он был
горячим.
От нашей крови красным был...
Девчушка рядом тихо плачет,
Старик глаза рукой прикрыл...
И снова, будто мёртвой хваткой,
Сдавило горло – как дышать?
Где ты теперь, комбат Горбатко,
И ты, наводчик, Костя Надь?
А танки, словно вал девятый,
С экрана катят на меня,
И на броню идут ребята,
А у ребят... шинель – броня.

Мих. Борисову

Мы с тобой из-за парты
На войну уходили.
Не в вагоне плацкартном
Мы по жизни катили.
За отцовскими спинами
Мы не прятались, нет.
Становились мужчинами
Мы в четырнадцать лет.
Жили – грудь
нараспашку, –
Себя не щадили.
Говорят, мол, в рубашке
Нас мамы родили.
Может быть, и в рубашке,
Но она – не броня.
На могилах ромашки,
А в могилах друзья...

МАКИ

Был кончен яростный и жаркий
Бой на пригорке, у реки.

На хрупких ножках маки яркие
Тянули к солнцу лепестки.
Каких людей кругом косила
Коса безумия и зла...
Но не было у смерти силы,
Чтоб эти маки сжечь дотла!

РОДИНЕ РОССИИ

Не на китах, а на Иванах
Стояла и стоит она!
Как мать, к могиле безымянной
Щекой прильнула тишина.
А чуть поодаль – две берёзы,
Как вдовы скорбные стоят,
И не роса – земные слёзы
На листьях, на ветвях дрожат.
О, сколько их, немых курганов,
Понаворочала война!
А в тех курганах спят Иваны.
И матерям их – не до сна.

г. Кемерово

Владимир ЧУГУНОВ**СВЕТЛАНА**

Я друзей обманывать не стану,
Сердце не грубеет на войне;
Часто дочь трёхлетняя Светлана
Мысленно является ко мне.

Тёплая и нежная ручонка
Норовит схватиться за рукав.
Что скажу я в этот миг, ребёнка
На коленях нежно приласкав?

Что нескоро я вернусь обратно,
А возможно вовсе не вернусь...
Так закон диктует в деле ратном:
«Умирая, всё-таки не трусь!»
Может быть, в журнале или газете,
Жёлтых от событий и времён,
Дочь моя, читая строки эти,
Гордо скажет: «Храбро умер он!»

А ещё приятней, с нею вместе
Этот стих короткий прочитай,
Говорить о долге, славе, чести,
Чувствуя, что был тогда ты прав.

Я друзей обманывать не стану,
Сердце не грубеет на войне:
Часто дочь трёхлетняя Светлана
Мысленно является ко мне...

КУКУШКА

Над головою пуля просвистела;
Шальная иль прицельная она?
Но, как струна натянутая, пела
Пронизанная ею тишина.

Меня сегодня пуля миновала,
Сердцебиенье успокоив мне,
И тот же час в лесу закуковала
Весёлая кукушка на сосне.

Хорошая народная примета:
Нам жить сто лет, напополам деля
Всю ярость бурь и солнечного света,
Чем так богата русская земля.

Все распри сводятся на нет
Артиллерийской перестрелкой.
Сияет ярче дружбы свет,
И места нет корысти мелкой.

Мы в дни войны сошлись втроём –
Равно бедны, равно богаты, –
Грустим, смеёмся и поём
Под потолком крестьянской хаты.

А завтра в бой!
Быть может, смерть
Свершит над кем-нибудь расправу.
Он упадёт на землю, в травы,
Но жаворонок будет петь...

ПОСЛЕ БОЯ

После грома взрывов, после боя,
Выдыхая дым пороховой,
Смотрим мы на небо голубое –
Облака плывут над головой.

А в затихшем орудийном гуле,
Что в ушах ещё моих звенит,
Вся страна в почётном карауле
Над убитым воином стоит.

г. Анжеро-Судженск

Георгий ДОРОНИН

Страна родимая – Россия!
Цветами убранный шатёр.
Неописуемо красивый
Полей и рек твоих простор.

Твоей с вином янтарной чаши
Не расплескал никто вовек.
Живёт среди лесов и пашен
Здесь русский гордый человек.

Объятый жаждой созиданья,
Он строит сёла, города.
Своей страны на поруганье
Врагу не выдаст никогда.

Он биться с недругами будет,
Пока в глазах горят лучи.
Вот о таких, о русских людях,
Строка, металлом зазвучи!

Над голубой поляной рея,
Снижался тихо белый снег.
На одинокой батарее
Их было двадцать человек.

Они пришли и на закате
Здесь стали – воины в строю,
Чтоб защитить на этом скате
Свой край и родину свою.

И, разгребая снег лопатой,
Установили пушки тут.
И замполит сказал ребятам:
– Здесь мы. Здесь немцы
не пройдут!

САША СИБИРЯКОВ У МИНОМЁТЧИКОВ

Саша час затратил целый,
Наблюдая мин полёт,
Метко бьёт в руках умелых
Наш советский миномёт.

Говорят бойцы, разведав
Место, мина где легла:
– Нам оружие победы
В руки Родина дала.

Мина вражью бьёт пехоту,
Рвёт на тысячи кусков.
Подползает к миномёту
Сам Григорий Костяков.

Угломер он точно ставит,
Чтобы миной в цель попасть.
Он явился с гор Алтая
В нашу воинскую часть.

Где Катунь-река струится,
Он оставил дом, семью,
Чтобы насмерть с немцем биться
За отчизну за свою.

Вот, не дрогнув, опустила
Мину в ствол его рука.
Мина птицей быстроскрылой
Улетела в облака.

И, упав на сопке мшистой,
Разнесла мишень в куски...
Так на фронте по фашистам
Будут бить сибиряки.

Чтобы минами без счёта
Поражать в бою врагов,
Бить учись из миномёта,
Как товарищ Костяков.

Миномёт – оружие смелых,
Миномёт – орёл в бою.
Миномёт в руках умелых –
Смерть фашистскому зверю.

г. Новокузнецк

Глеб ХОЛОДЕНИН

Я ПРИДУ!

За дни боёв я стал намного старше,
Сам у себя я на глазах старел,
Когда в снегу по пояс шёл на марше,
О жаркий ствол винтовки руки грел.
Когда штыком я пробивал дорогу
К победе, к свету золотых зарниц,
Тебя я видел и читал тревогу
В твоих глазах и в трепете ресниц.
Наш путь тяжёл. Но мы близки к победе.
И каждый час мне хочется сильней

Прийти к тебе, обнять, тебе поведать
Печаль и радость этих бурных дней.
И я приду! Дым пороха, махорки,
Пыль городов и огневую даль
Внесу на пожелтевшей гимнастёрке,
Где орденов багрянится эмаль.

г. Новокузнецк

Михаил БОРИСОВ

Сорок третий
Горечью полынной
На меня пахнул издалика –
Чёрною,
Обугленной равниной
Видится мне Курская дуга.

«Тигры» прут,
По-дикому упрямы,
Но со мною
В трудный этот миг
Прямо к окуляру панорамы
Весь мой полк
Уверенно приник.
Громыкнуло
Сразу на полсвета.
Танки,
Словно факелы, горят...

Нет, не зря живёт во мне
Всё это
Три десятилетия подряд!
Те бои –
Как мера нашей силы.
Потому
Она и дорога,
Насмерть прикипевшая
К России
Курская великая дуга...

ВСЁ ЭТО ОНА

Взбесившимся чёртом
Металась война,
Поштучно и оптом
Платила она.
Хватая в объятья,
Швыряла «на щит...»
Был дважды распят я

И трижды убит.
 Но двадцать медалей
 И все ордена,
 Что мне перепали,
 Сковала война.
 Не с ней ли дороги
 Мы брали в штыки
 От матушки Волги
 До Шпреи-реки?
 Закат без рассвета.
 Как гром – тишина.
 Любовь, что не спета.
 Всё это – она!

ПУСТЬ

Представь себе хотя бы на мгновенье –
 Матросов жив!..
 Он без пустых обид
 Простит живым и робость, и сомненья,
 Но подлости и мёртвым не простит.
 А тот, кому сейчас пришла охота –
 Из доброты-де! –
 Всё и вся простить,
 Пусть сам себя поднимет к жерлу дота
 И с той горы попробует судить.

ОГНИ НА ВЫСОТАХ

Горят огни.
 Горят вокруг
 На много сотен вёрст.
 Горят,
 Захватывая дух,
 Как россыпь близких звёзд.
 И подступают не спеша,
 И бьют под самый дых,
 И нет такого блиндажа,
 Чтоб спрятаться от них!
 Пусть времена давно не те,
 Но там, где пал Солдат,
 С тех пор
 На каждой высоте
 Огни вот так горят.
 Мне не уйти от этих мест,
 Не встать спокойно
 В рост.
 Горят огни,
 Горят окрест
 На много сотен вёрст...

Отпусти меня, Боль,
 Опоздай ко мне, Смерть,
 Дайте песню допеть.
 Только песню допеть.
 Пусть не знает никто,
 Что я навзничь упал, –
 Это просто привал,
 Мой последний привал.
 Я смогу и теперь
 Свой рубеж удержать,
 Славя Родину-мать,
 Нашу Родину-мать.
 Отпусти меня, Боль,
 Опоздай ко мне, Смерть,
 Дайте песню допеть.
 Только песню допеть.
 В ней опять прозвучит,
 По-земному груба,
 Боевая труба,
 Боевая труба!..

г. Новокузнецк

Михаил НЕБОГАТОВ

Не обойдёшь сторонкою в беседе
 Год сорок первый, горестные дни.
 Как ни светлы раздумья о победе,
 В них не одни салютные огни...

На быстроту прорывов, окружений
 Был мастер враг коварный, что скрывать.
 И на уроках наших поражений
 Мы на ходу учились воевать.
 Когда врага по гатям, перевалам
 Погнали мы лесами, среди долин,
 Его же салом били по мусалам,
 По-русски вышибая клином клин!..

Пути войны – вначале к Подмоскovie,
 Потом к Берлину в холод, слякоть, зной –
 Обагрены великой нашей кровью,
 Оплачены огромною ценой.

Не счесть героев – будь земля им пухом,
 Что полегли под холмики, холмы...
 Броня – бронёй. Но кто сильнее духом,
 Тот победил. А победили мы!

Пусть много лет сияет мир весёлый,
 Нам не забыть, какая битва шла,
 Какой из сорок первого тяжёлой
 Дорога в сорок пятый год была.

ВОЗДУШНЫЙ ОБСТРЕЛ

Когда, прижимаясь к земле
 Щекою, беспомощным телом,
 Зажмуренный, словно во мгле,
 Лежишь под воздушным обстрелом, –

Вся память твоя и душа
 Пронизаны тем ощущеньем,
 Тем чувством, что жизнь хороша
 Любым своим кратким мгновеньем.

Любым, даже этим, когда
 Вдыхаешь ты запах землицы,
 И все, что прожиты, года –
 Не зори, а только зарницы.

Так краток их издали блеск,
 Мелькнули – не видно их боле.
 А с неба – стремительный треск,
 Он слит с ожиданием боли.

А может, не будет её,
 Всё будет гораздо короче –
 Кольнёт только сердце твоё,
 И весь ты – в бездонности ночи?

Мгновенна и жалость к себе,
 И грусть о живущем мгновенна...
 – Отбой! – донесётся к тебе,
 Приходишь в себя постепенно.

Колонна опять на ногах.
 И «мессеров» как не бывало.
 Всё стихло. И только в висках
 Гул крови, как после обвала.

И рад, несказанно ты рад,
 Что смерть обошла стороною,
 Что видишь чуть дымный закат,
 Чуть тронутый страшной войною...

В ПОЛДЕНЬ

Если надоест тебе в палате
 Спать, читать, валяться на кровати,
 Выходи во двор. Ты можешь там
 Побродить по травам и цветам.

Если любишь солнце – скинь рубашку.
 Или – просто ворот нараспашку.
 Можешь, где ромашки, лопухи,
 О природе сочинять стихи.

Скоро будет вновь не до неё –
 Карандаш ты сменишь на ружьё...

Хорошо лежать в траве полевой,
 Облака глазами провожать,
 Чтобы этот полдень –
 Знойный, длинный –
 В зимний день в окопе вспоминать...

ПИСЬМО

Письмо. Держу его в руке.
 Что в этом маленьком конверте?
 Конечно, грусть в любой строке,
 А вдруг и весть о чьей-то смерти?
 Вскрываю, Родиной дыша,
 Слова мелькают предо мною.
 И наливается душа
 Желаньем встречи и тоскою.
 Люблю такие письма я,
 В которых пишут – все здоровы.
 Опять все дома ждут меня
 И встретить с радостью готовы.
 Родные! Жалко очень вас –
 Сейчас ещё я не отвечаю,
 Когда пробьёт победный час,
 Который нам объявит встречу.
 Как жаль старушку-мать мою, –
 Она о сыне часто плачет.
 Чем успокоить мне родню?
 Мол, жизнь моя немного значит?
 Нет! Тем, что буду жив-здоров
 И обязательно приеду.
 И уж тогда без лишних слов
 Мы все отпразднуем победу!

В НОЧЬ НА 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Я представляю это до сих пор...
 Был сладок сон. Тиха была казарма.
 Алел восток, и на него в упор
 Смотрел фашист с открытого плацдарма.
 Смотрел в бинокль, высок, изящен, свеж,
 Красив своею статностью спортивной...
 Был берег тот не берег, а рубеж,
 Простор полей – простор оперативный...
 Уже мосты – места для переправ,

Для гусениц, колёс, бегущих ног ли...
 Мир черепиц, садов, соборных глав, –
 Всё чётко, близко замерло в бинокле.
 Мы спали. И дышалось так легко.
 И нам, юнцам, ничто не подсказало,
 Что за рекой – совсем недалеко –
 Уже война к прыжку ждала сигнала.

Всю жизнь перед глазами, как живой,
 Увиденный впервой солдат убитый.
 Кругом движенье, гул, моторов вой,
 А он у дома – всеми позабытый...

Был первый день войны. И первый он,
 Ничком лежащий, весь в дорожной пыли.
 И чувство в сердце жуткое, как стон:
 Уйдя, мы разбудить его забыли...

ДНЕВНИК

Когда в Россию вал войны проник,
 Немецкий генштабист – педант
 он строгий! –

Всё чаще, чаще заносил в дневник:
 «Нет продвиженья». «Трудные дороги...»

Похожи эти записи на крик
 Душевного отчаянья, тревоги.
 Надеялись фашисты на блицкриг –
 Не тут-то было: протянули ноги...

Затем опять цепочка грустных строк:
 «Войска упали духом – злые зимы...»
 Да, истинно, в Россию, на восток,
 Дороги для врагов непроходимы.

Но суть отнюдь не в трудности дорог,
 А в том, что люди здесь непобедимы!

Случайно в мемуарах генерала
 Прочёл и вздрогнул: «Зайцева гора»!
 Ведь наша часть её атаковала...
 Всё вспомнил я. Всё было, как вчера...

Поляну мокрым снегом укрывало.
 А там, в селе, на взгорье, немчура.
 Бил пулемёт. Свинцом нас поливало.
 Бежали и кричали мы: – Ура-а!

Стучало сердце. Гром его ударов –
 В висках. И вдруг – всё тело обожгло.
 Померк вдали багровый дым пожаров,
 День снегопадом чёрным замело...

Я лишь теперь узнал из мемуаров:
 Под вечер наши заняли село!

Покидают тихо жизни праздник
 Те, чьё имя: бывший фронтовик.
 Самый молодой войны участник –
 Сын полка – и тот уже старик...

Вот газета. Там, где про осадки,
 Про театр и фильмы строчек строй,
 Траурные рамки – как оградки
 Над могилой, над землёй сырой...

г. Кемерово

Ст. лейтенант ЗАМАЛЕЕВ

На войне о смерти мало говорят,
 В день её встречают много раз подряд.
 Слишком даже много этих смертных дней,
 Так чего же ради говорить о ней?

На войне о жизни любят говорить,
 Благо жизнь солдата тонкая, как нить.
 Тонкая, но как бы ни была тонка,
 Как бы ни рвалась – всё равно крепка.

Прошипела мина, пролетел снаряд,
 И опять о жизни люди говорят.
 Курят папироски, пряча их в ладонь,
 Говорят о девушках, вспоминают дом.

На войне танцуют, на войне поют.
 Есть одна надежда: может, не убьют.

«Это стихотворение мне рассказал во время войны на передовой линии старший лейтенант Замалеев. Наверно, убит. Я был солдат. Фамилия моя Поручиков Михаил Григорьевич».

Записал С. Донбай

80 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ!



Дрозд А. Н., член Союза художников России. Колодец. 2020. Холст, масло. 75x75



Демаков Ю. П., член Союза художников России. Атака. 2015. Холст, масло. 110x200





Боброва Н. О., член Союза художников России. Неизвестному солдату. 2023. Холст, масло. 103x180



Демаков Ю. П., член Союза художников России. После войны. 2013. Холст, масло. 95x120



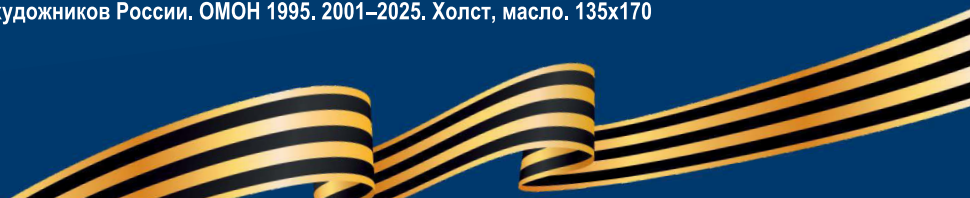
Осипов А. М., член Союза художников России. Ротный запевала. Портрет отца. 2013. Холст, масло. 77x89

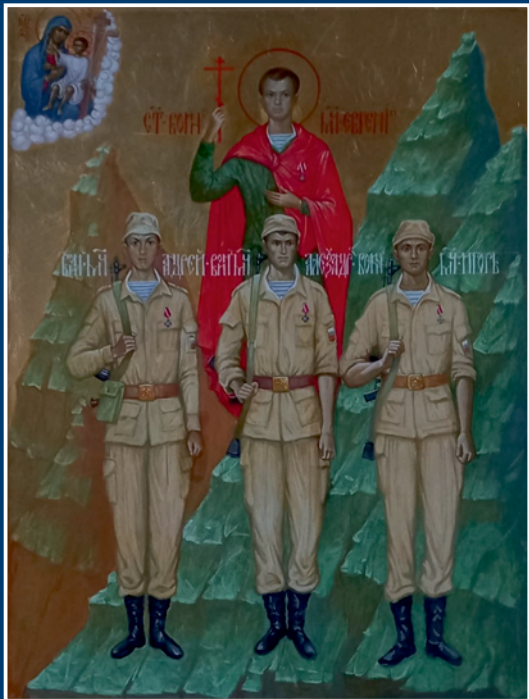


Коробейников В. Н., член Союза художников России. Спасибо деду. 2015. Холст, масло. 110x120



Юманова Е. Н., член Союза художников России. ОМОН 1995. 2001–2025. Холст, масло. 135x170





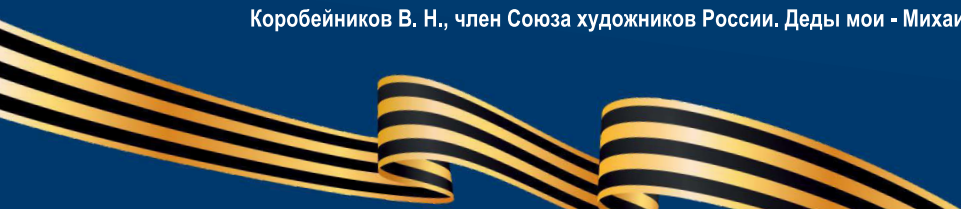
Ключников Л. И., член Союза художников России.
Икона «Образ русских Воинов-мучеников». 2023.
Доска, левкас, темпера, сусальное золото



Белокриницкий Ю. А., член Союза художников России.
Напутствие. 1996. Холст, масло. 140x150



Коробейников В. Н., член Союза художников России. Деды мои - Михаил и Василий. 2020. Холст, масло. 120x95



Сергей ЧЕРЕМНОВ И КУЗБАССКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ ПРИБЛИЖАЛИ ПОБЕДУ

Более трехсот тысяч кузбассовцев воевали на фронтах Великой Отечественной. Были среди них и журналисты, печатники, корректоры, режиссеры, дикторы, фотографы, сотрудники иных профессий из редакций газет, радио, издательств. Они стали пехотинцами и артиллеристами, летчиками и связистами, разведчиками и танкистами.

С войны пришли не все. Но многие из тех, кто вернулись домой, снова приступили к творческой работе по своей специальности. А некоторые фронтовики занялись журналистикой уже в мирной жизни.

Установлено, что около 240 работников СМИ Кузбасса участвовало в боях Великой Отечественной. Их имена можно увидеть на сайте **слово-сочетание.рф**, посвященном изучению истории журналистики Кемеровской области. Сегодня расскажем о некоторых из них.

Михаил Попрядухин: бился до последнего патрона

Биография этого журналиста прокопьевской городской газеты «Ударник Кузбасса» (ныне «Шахтерская правда») типична для представителей поколения, в жизни которого слились воедино подвиг трудовой и подвиг ратный.

Михаил Степанович Попрядухин – сын шахтера. Год рождения – 1912-й, место рождения – село Прокопьевское (ныне город Прокопьевск). Выпускник городского промышленного училища. Недолгое время – студент Сибирского металлургического института. Служил в армии. Участвовал в советско-финской войне 1939–1940 годов. После армейской службы работал литсотрудником, заведующим промышленным отделом редакции городской газеты.

«Ему, младшему лейтенанту запаса, прошедшему дорогами финской войны, был всего 29-й год. И потому, наверно, когда он устроился в редакцию, никому не приходило в голову называть его по имени-отчеству, для всех он был просто Миша, – такие слова ветерана газеты «Шахтерская правда» Екатерины Митрофановны Белокопытовой приводятся в книге «Журналистика Кузбасса: строки исто-

рии». – Я работала вместе с Михаилом Попрядухиным всего два месяца – май и июнь 1941 года. Но и такого короткого срока хватило, чтобы увидеть, как много сочеталось в нем хороших качеств, необходимых журналисту».

Похоже, сама насыщенная энергией редакционная атмосфера подходила его натуре как нельзя лучше. Он весь светился радостью и весельем, любил хорошую шутку, никогда не жаловался на усталость.

– Как это можно устать, – говорил он, – если работа в удовольствие?!

Уже на пятый день войны, 26 июня, Прокопьевский горвоенкомат призвал Попрядухина на фронт. Накануне Михаил сдал в секретариат редакции последний свой газетный материал.

Местом его службы стал 894-й стрелковый полк (куда его – в звании лейтенанта – назначили политруком пулеметной роты) 211-й стрелковой дивизии 43-й армии Резервного фронта РККА, дислоцируемого в Московском военном округе.

В июле 1941-го эта дивизия размещается в Загорске (ныне город Сергиев Посад Московской области) и формируется из мобилизованных призывников Новосибирской (куда в те годы входил Прокопьевск), Запорожской, Ростовской, Ивановской, Ярославской областей и Ставропольского края. В документах отмечается, что личный состав дивизии, в основном, не имел боевого опыта. Тем не менее, в условиях войны с этим не считались.

По всем фронтам тогда шли кровопролитные бои. Красная армия отступала на восток. Однако советское командование скрыто готовило контрнаступление силами 43-й армии, получившего для этого свежее, необстрелянное подкрепление.

Михаил проработал в прокопьевской городской газете менее полутора лет. Но все, кто знал журналиста Попрядухина, отмечали, как искренне он был предан этой профессии. Хотя с детства мечтал о другой. Хотел стать инженером. Но судьба распорядилась по-иному. Вскоре после того, как он поступил в Сибирский металлургический институт, умер его отец...

И прежде не знавший легкой жизни, неизбалованный шахтерский сын сам мог бы прожить и на свою стипендию. Однако надо было думать о семье: помочь младшему брату окончить школу, встать на ноги. И недавний студент пошел работать в редакцию, не особо надеясь, что репортажничество ему понравится и вообще окажется по плечу.

Но сомнения были напрасными. Общительного, деятельного молодого человека такая работа захватила по-настоящему.

«Его часто хвалили за оперативность, за живость изложения материалов, а главное – за их действенность, – отмечала Е. М. Белокопытова. – Это очень нелегко – поспевать за быстротечными событиями, добиваться нужной отдачи от того, что ты написал. Но помогали его неистощимая энергия, умение работать с людьми. Трудно назвать в Прокопьевске такой рабочей коллектив, в котором бы его не знали. На шахте «Центральной», именовавшейся тогда № 3–3-бис, его считали своим собственным корреспондентом. На шахтах имени Ворошилова, имени Калинина тоже говорили: «Наш Миша».

Часто к Попрядухину приходили шахтеры, строители, специалисты горного дела. Это были, как говорил сам Михаил Степанович, его ребята, то есть выращенные им рабочие корреспонденты.

Утром 30 августа, после артиллерийской подготовки, войска 24-й и 43-й армий перешли в наступление на Ельню. 894-й стрелковый полк, где служил Попрядухин, прикрывал один из флангов дивизии. Михаил с пулеметными расчетами находился в самом пекле и умело направлял огонь своей роты.

Неожиданность нашего удара сыграла свою роль. В первый день наступления части Красной армии прорвали оборону немцев и продвинулись вперед на 12 километров. Но дальше развить наступление не удалось. Утром 31 августа 1941-го враг нанес контрудар. И уже 1 сентября наши войска были вынуждены снова отойти к Десне.

Положение 43-й армии обеспокоило штаб Резервного фронта. 1 сентября на командный пункт 211-й дивизии прибыл командующий Резервным фронтом Георгий Жуков и до 9 сентября сам руководил боями.

Битвы были настолько жаркими, что оружие не успевало остывать. Политрук Попрядухин помогал бойцам заливать воду в кожух перегревшихся «Максимов» (в стрелковых наставлениях по этому пулемету советовалось охлаждать ствол через каждые две расстрелянные ленты, иначе оружие может выйти из строя).

Благодаря толковой тактике Жукова и героизму наших частей в начале сентября удалось отбросить гитлеровцев к реке Стряне. Но при этом советские войска были очень измотаны. А противник предпринял ряд контратак при поддержке артиллерии и авиации. И продвижение вперед 211-й дивизии опять застопорилось.

13 сентября немцам удалось занять западный берег реки Стряны. Наши части несли большие потери. Боевое состояние 211-й дивизии на конец сентября таково: по штату положено 14500 человек,

фактически – 9673 человека. Немецкие войска превосходили силы 43-й армии в людях в 3,2 раза, в орудиях и минометах – в 7 раз, в танках – в 8,5 раз.

Отдельные части 43-й армии попали в окружение. Весь сентябрь рота политрука Попрядухина вместе со всей дивизией не выходила из тяжелых боев. Удивительно, что в этой обстановке под постоянным ураганным огнем сам Михаил не получил даже царапины. Затишья между боями были такими короткими, что он не всегда успевал написать письмо домой. Поэтому научился мысленно общаться со своими родными и коллегами из редакции, как бы «пересказывая» им итог каждого боевого дня. Это напоминало ему чтение книги, но не вслух, а «про себя».

Попрядухин к тому времени был уже семейным человеком, воспитывал двух дочек. И, наверное, общался с ними не так часто, как хотелось бы, постоянно задерживаясь на работе допоздна. Но дома на него не обижались.

– У Миши было много благодарностей за хорошую работу, – подчеркивала жена Попрядухина Муза Владимировна. – Но и мы ему всегда были благодарны, потому что он очень заботился о семье. В каждом письме с фронта просил меня: береги дочек, береги себя.

«Я всегда представляю Мишу Попрядухина только молодым, полным сил и неистощимой энергии, каким впервые увидела его. В ту пору он заведовал промышленным отделом редакции, а я была всего-навсего практиканткой, которой надо было учиться да учиться у старших, – отмечала прокопьевская журналистка Е. М. Белокопытова. – У Попрядухина научиться можно было многому, и прежде всего – умению работать с людьми, находить нужные контакты, источники самой свежей информации.

Человек очень общительный, он поразительно быстро сходилась и с рядовыми рабочими, и с теми, кто возглавлял коллективы шахт и заводов, имел техническое образование. Ему то и дело звонили с угледобывающих предприятий, к нему приходили в редакцию, приносили заметки, статьи, обращались за советом, за помощью. Обращались не официально, а как к близкому и понимающему человеку, которому можно всё без утайки рассказать и доверить.

Работая в газете, Михаил не имел привычки просиживать рабочий день в кабинете: это претило его характеру, противоречило его понятию о журналистской деятельности. Поговорка «Журналиста ноги кормят» – это о нем. Он бывал в трудовых коллективах очень часто, особенно там, где не справлялись с планом, где не решались как следует какие-то важные вопросы производства.

И если уж в газете появлялся его большой материал, то он был глубоко обоснованным, бил в нужную точку и помогал улучшить дело. Работал Михаил Попрядухин всегда увлеченно, с удовольствием, и со стороны казалось, что именно для этой работы он и рожден, что никогда ни о какой другой не мечтал и не думал».

Немцы рвались к Москве. И перед нашими войсками стояла одна задача – удержать врага любой ценой.

2 октября 1941 года на участке фронта длиной 60 километров, который удерживала 43-я армия, фашисты начали операцию «Тайфун». Превосходящими силами – пятью танковыми и двумя пехотными дивизиями – перешли в наступление, стремясь выйти на Варшавское шоссе. И им удалось прорвать нашу оборону.

События развивались стремительно и драматично. В октябре остаткам 43-й армии, включенной в состав Западного фронта, был дан такой приказ: «Не допустить дальнейшего прорыва противника в направлении Заболотье, Малиново, Воробьевка, собрать и привести в порядок отошедшие разрозненные группы и мелкие подразделения».

Остановить наступление немецких войск не удалось. Но бойцы и командиры 43-й армии, самоотверженно сражаясь на Деснянском рубеже, до конца выполнили свой долг и задержали продвижение врага на дальних подступах к Москве. Тем самым они дали возможность подходящим из тыловых районов частям Красной армии организовать оборону под Можайском и Малоярославцем.

Именно в тех изматывающих, смертельных боях пропал без вести политрук М. С. Попрядухин. Через три месяца после ухода на фронт от нашего земляка уже не было ни одного письма...

Вот фрагмент воспоминаний журналиста Андрея Петровича Ханова, который вместе с Михаилом Степановичем работал в редакции прокопьевской городской газеты и вместе с ним начинал боевой путь:

«Политрук пулеметной роты Попрядухин мужественно преодолел всё страшное и ужасное, что было на фронте, был смелым и решительным в бою. Как родных братьев, берёг солдат, в критические моменты сам поднимал их в атаку на врага. Погиб отважный политрук, наш товарищ по перу, коммунист Попрядухин в тот момент, когда у бойцов и командиров, удерживавших рубеж, кончились все патроны...»

В одном из писем с фронта Михаил Степанович признался: «Когда пригласили в редакцию, не ду-

мал, что задержусь здесь. А взялся за газетную работу, и сам не заметил, как отдал ей руку и сердце».

Таким вот влюбленным в свое дело он и расстался с коллективом газеты, с семьей, родным городом. Родина призвала его на защиту своих рубежей, на бой святой и правый. Михаил Попрядухин погиб за Родину.

Но его гибель, как и гибель тысяч и тысяч солдат Великой Отечественной, не была напрасной. Ценой своей жизни они задержали продвижение врага на подступах к столице. Именно с этих рубежей 5 декабря 1941 года войска Западного фронта начали разгром немецко-фашистских захватчиков под Москвой. Отсюда начиналась наша Великая Победа.

Владлен Анчишкин: «Прошлое всегда подернуто дымкой грусти...»

Закончив войну в звании капитана артиллерии, Владлен Анчишкин решил учиться на журналиста. Получив диплом, он затем несколько лет работал собственным корреспондентом центральной газеты «Комсомольская правда» по Кузбассу.

Родился он 29 марта 1924 года в городе Покровске (на тот момент город Гришино) Донецкой области Украинской ССР. В 1941 году окончил среднюю школу. Ему было всего 17 лет, когда 8 августа он добровольцем ушел в армию.

Воевал на Украинском фронте. В феврале 1943 года был ранен. Участвовал в освобождении от фашистских захватчиков Украины, Польши. Вместе с передовыми танковыми батальонами вошел в Прагу, штурмовал Берлин.

Командир минометной батареи Владлен Николаевич Анчишкин сражался с немцами смело и умело. Об этом свидетельствуют его награды – пять боевых орденов.

Так, например, в сентябре 1943 года под его командованием 6-я батарея 2-го дивизиона 616-го отдельного минометного Львовского полка в бою за важную высоту уничтожила до взвода противника, а также – пушку, бившую прямой наводкой по позициям наших войск, и танк. За решительные действия в этом бою Анчишкин был награжден орденом Красной Звезды.

В период боевых действий у станции Лычково в Новгородской области с 17 по 26 сентября 1942 года командир взвода управления батареи лейтенант Анчишкин с разведчиком и телефонистом корректировали огонь трех наших батарей. Немцы засекли корректировщиков, товарищи Анчишкина были убиты. Он один продолжал выполнять поставленную задачу, его корректировки помогли подавить пулеметные точки противника. За это и за другие боевые успехи он в феврале 1944 года награжден орденом Отечественной войны II степени.

29 января 1945 года в бою в районе села Буковина противник силами до двух рот пехоты и двух танков перешел в контратаку против наступающих частей нашей армии. Батарея Анчишкина выдвинулась вперед и повела точный огонь по противнику, сорвав его атаку. В этом бою минометчики уничтожили до взвода вражеских пехотинцев и несколько огневых точек гитлеровцев, обеспечили успешное продвижение наших бойцов вперед. За мужество, инициативу и отвагу в этом бою Анчишкина наградили орденом Александра Невского.

В его книгах о войне написано о том, что он знал, видел и пережил сам. Вот строки из его произведения «Арктический роман»:

«Танковые батальоны рвались к Воронежу, к Дону. Взрывы, выстрелы, удары «болванок» в броню и мучительный холод. И последний, сотрясающий кости, толчок – огненные брызги, угар... А потом тяжелый и мучительный выход из забытья, – рычание моторов и первая, раскраивающая душу мысль: «Неужели это последняя минута?!»

Словно бы не было тела, раскалывалась голова, перед глазами, как за стеклом, омываемым ливнем, – родной дом, «тридцатьчетверка». Окутанная перепуганными языками пламени и клубами смолисто-черного дыма, в какую-то из рядом стоящих секунд она должна взорваться: в ней полный боекомплект снарядов...

«Жить...» – он не хотел уходить.

«Жить!.. Жить!!» – он не может уйти. Не может!!!

Залепленные грязью и снегом глаза заплывали слезами...».

После войны Анчишкин вышел в отставку в звании капитана. Поступил учиться на журналиста и, окончив вуз, несколько лет работал собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» по Кузбассу.

С удостоверением собкора «КП» Владлен Николаевич объехал немало сибирских строек, побывал в шахтах и на разрезах угольного Кузнецкого края, на строительстве Транссибирской магистрали.

Пожив здесь, он влюбился в наш суровый край. «Сколько поселений сошлось к берегам Оби – пить ее голубовато-зеленую воду; сколько – к Транссибирской магистрали, пересекающей Обь, – слушать гудки пробегающих по ней поездов и мечтать о неведомых городах, землях. Он не видел раньше Сибири. Знал лишь – догадывался: на этом трансперекрестке, видном, наверное, и с Луны, миллионы людей по утрам, еще затемно, выкатываются из своих жилищ и отправляются в каждодневный путь по улицам и проселкам – обгоняют друг друга, разминаются, а вечером возвращаются под свои крыши – до глубокой ночи идут, оставляя усталые следы-поскребыши на земле. Миллионы!», – однажды восторженно напишет Владлен Анчишкин.

Его репортажи и статьи о развитии экономики Кемеровской области, о появлении новых городов и производств, о социальной, культурной и спортивной жизни Кузбасса регулярно публиковались на страницах центральной газеты.

Основательно поработав в Кузбассе, набравшись журналистского и житейского опыта, он затем на два года уехал на Шпицберген, архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане. Жил и трудился среди заполярных шахтеров.

Принадлежит Шпицберген Норвегии, но хозяйственную деятельность здесь, согласно особому статусу архипелага, осуществлял и СССР (теперь Россия). На острове Западный Шпицберген имелись наши населенные пункты – поселки Баренцбург, Пирамида и Грумант, где велась добыча угля на самых северных шахтах мира.

Первое крупное художественное произведение Владлена Николаевича «Арктический роман» – как раз о шахтерах Заполярья – было опубликовано в «Роман-газете» в 1969 году. Его сразу хорошо приняли и читатели, и критика. «Книга, вместившая в себя лучшие образцы советского производственного романа», – такова была, по сути, общая оценка.

А вот строки из более поздней рецензии: «Понятное дело, что раз действие происходит в период существования Советского Союза (действие романа начинается в военные годы и заканчивается в конце 1950-х), то пару раз звучат зловещее слово «план» и не менее зловещая аббревиатура «ВЛКСМ». А в остальном всё развивается по законам обычного неплохого производственного романа. Неплохого потому, что, помимо производства, в романе имеются люди, которые это самое производство крутят и вертят на все лады. И, собственно, вся интрига состоит в отношениях между разными людьми по самым разным поводам.

Тут и чисто производственные конфликты, и война личных амбиций, и соперничество старого и нового стилей управления, и просто соперничество между старым закаленным матерым Директором и новыми поколениями Управленцев и Инженеров. И не без любовных треугольников. А кроме того, как водится, непременно борьба Добра со Злом, но только не в высокопарном смысле, а вполне в земном: есть сволочи и негодяи, и есть простые нормальные люди, вот и стукаются друг об дружку, высекая искры...».

Герои «Арктического романа» – люди разных судеб и поколений. Например, начальник Грумантского рудника Батурин начал свой трудовой путь после Гражданской войны, Инженер – после Великой Отечественной, а юный Владимир Афанасьев только вступает в самостоятельную жизнь. В «треугольнике» этих персонажей писатель решает основную

проблему своего произведения – о месте человека в обществе и государстве. В романе немало образов инженеров, техников, рядовых шахтеров.

«Арктический роман» много раз переиздавался, переводился на разные языки народов нашей страны.

Еще одним заметным произведением В. Н. Анчишкина стал роман «Встречный бой» (1980) – о войне, о непростой судьбе солдата-артиллериста. Также им написаны рассказы, пьесы, сделаны переводы произведений других авторов на русский язык. Многие его работы публиковались в газетах, журналах и альманахах СССР.

Владлен Николаевич Анчишкин скончался 8 апреля 2003 года, на 80-м году жизни. Похоронен в Москве.

Думаю, что его книгам уготована долгая судьба. В них явственно ощущается и жестокая сложность жизни, и ее мощь, перемалывающая характеры. «Да, всё другое – идеалы, образцы для подражания, всё, не как в наше время. Так тем и интересно!», – подмечает один вдумчивый читатель.

«Прошлое всегда подернуто дымкой грусти, прошлое всегда похоже на песнь», – в этом был уверен писатель и журналист Владлен Николаевич Анчишкин.

Иван Баташов – редактор заводского радио

Многие годы он возглавлял редакцию радиовещания на одном из крупнейших предприятий Кузбасса – машиностроительном заводе в городе Юрге. В 1970–1980-е годы здесь трудилось более 20 тысяч человек.

ЮМЗ был градообразующим промпредприятием. Его мощности были задействованы для выпуска продукции военного назначения. Поэтому специалистов сюда принимали только после тщательной проверки. К биографии Ивана Баташова у проверяющих претензий не было: участник Великой Отечественной войны, герой-орденоносец, не раз проявивший храбрость в боях за Родину.

Родился Иван Григорьевич 17 декабря 1918 года в деревне Васильево Ковернинского района, который в те времена числился за Костромской губернией, а ныне – в Нижегородской области. С раннего детства познал непростую деревенскую жизнь, приобщился к труду. Полюбил красивую природу своего края с его густыми лесами, где собирал грибы и ягоды, с полноводной речкой, носящей необычное название Малая Ведомость, где удил с мальчишками рыбу.

Первые слова учился писать в деревенской школе. Учителям нравился любознательный и целеустремленный юноша, который жадно впитывал в себя новые знания.

На срочную службу в Красной армии Ивана призвали в двадцатилетнем возрасте. В сентябре 1939

года, когда гитлеровская Германия уже развязала Вторую мировую войну, вторгшись в Польшу, он попал в военно-политическое училище – начал осваивать специальность военного политруководителя, учился «вести работу по политическому воспитанию и поддержанию морально-психологической боеготовности личного состава подразделений».

Иван Григорьевич прошел все ступени этой непростой военной профессии: служил сначала младшим политруком, потом политруком, позже стал старшим политруком (что приравнялось соответственно к офицерским званиям «лейтенант», «старший лейтенант» и «капитан»).

Вероломное нападение агрессора на нашу Родину в июне 1941-го не застало уже закаленного воина Баташова врасплох. В отличие от немалой части сослуживцев, он не поддался растерянности и унынию. Принимал самое непосредственное участие в боях с врагом, нередко увлекая бойцов за собой личным примером.

Умелого политрука и смелого командира назначают комиссаром 153-го гвардейского артиллерийского полка, входящего в состав 73-й гвардейской стрелковой Сталинградско-Дунайской Краснознаменной дивизии. О подвигах своих однополчан Иван Григорьевич не раз потом рассказывал молодому послевоенному поколению. Вот один из фрагментов его воспоминаний:

«Август 1941 года. Враг, ворвавшись в Днепр-петровск и с ходу форсировав Днепр, лавиной обрушился на наши боевые порядки. Здесь мне, выпускнику военно-политического училища, пришлось пройти боевое крещение.

Мы, кучка бойцов, вступили в рукопашную схватку и пытались опрокинуть врага в реку. Но враг оказался сильнее, и мы вынуждены отступить с боями.

В Полтаве на батарее, где я был комиссаром, обрушилось 17 немецких танков, а самолеты сбрасывали на нас смертоносный груз. Смерч огня бушевал вокруг, только никто из бойцов не дрогнул. В этом бою подбили 8 танков. Более 20 наших товарищей пали смертью храбрых. Мы поклялись над их могилой мстить и уничтожать беспощадно фашистских палачей...

В районе станции Воропоново (недалеко от Сталинграда. – С. Ч.) немцы оказывали сильное сопротивление нашим наступающим подразделениям, не раз переходили в контратаки. С наблюдательного пункта невозможно было обнаружить вражеские батареи в глубине немецкой обороны. Тогда коммунист Васюнин вместе с радистом садится на один из наших танков, устремившихся на прорыв, и по рации корректирует огонь по вражеским батареям, что существенно помогло нашей пехоте продвигаться вперед и прорваться на станцию. В этом бою Федор Васильевич Васютин погиб...

Вспоминаю, как в начале октября 1943 года немцы в который раз попытались сбросить части полка в Днепр. Лавина до 50 танков, прорвавшись через порядки стрелковых подразделений, обрушила огонь на батареи нашего полка. Коммунисты и здесь показывали пример выдержки и стойкости...».

За свои подвиги Иван Баташов получил немало боевых наград. Так, первый орден Красной Звезды ему был вручен 18 декабря 1942 года, а второй такой же – 12 августа 1943-го. В декабре 1943-го он был удостоен ордена Отечественной войны I степени, а в апреле 1944-го – ордена Отечественной войны II степени. В январе 1945 года Иван Григорьевич стал кавалером ордена Красного Знамени.

После Победы он еще долго служил в рядах Советской армии. В отставку подполковник, парторг полка вышел только 28 января 1959-го, отдав Вооруженным Силам страны без малого 20 лет.

Оставив ратную службу, бывший воин-артиллерист Баташов выбрал жизнь в Сибири, в небольшом городе под названием Юрга. Здесь его приняли на огромный завод ЮМЗ, который и после войны выпускал артиллерийское оружие, поддерживая и укрепляя боевую мощь Советского Союза.

И участок работы для полкового парторга нашелся не самый простой – редакция заводского радиовещания. Иван Григорьевич со свойственным ему умением разбираться в людях, организовывать их на работу, быстро сумел сколотить небольшой, но очень дружный и активный творческий коллектив. Юргинские старожилы до сих пор вспоминают душевные передачи заводского радио о тружениках машзавода, о лучших цехах и бригадах, выпуски новостей, программы-поздравления для передовиков производства или юбиляров.

А ведь не всё было так просто. На заводе изготавливали серьезную, секретную по тем временам продукцию. И далеко не обо всем можно было рассказывать в проводном эфире. В 1960-е годы, к примеру, ЮМЗ производил корпуса ядерных головных частей для ракет комплекса «Луна» и для противолодочного ракетного комплекса «Вихрь», пусковые установки для ракетных установок противоздушного комплекса С-75. В 1980-е изготавливал морские артустановки АК-130 и пусковые для стратегических ракетных комплексов «Молодец». А также наземное стартовое оборудование для многоразовой транспортной космической системы «Энергия – Буран».

Но заводчане не виноваты, что заняты в секретной сфере производства. И Баташов уверен, что их тоже нужно благодарить за добросовестную работу,

стимулировать на качественный производительный труд.

Вот что вспоминает известный журналист и редактор Светлана Ивановна Деменкова (Погорелова). Ее путь в профессию начался в 1981 году, когда она стала корреспондентом радио Юргинского машзавода:

«Всё это благодаря Ивану Григорьевичу Баташову. Он принял меня на работу корреспондентом, разглядел во мне способности, вложил свои знания, опыт и научил азам профессии. Ведь я на тот момент только окончила культпросветучилище. Работа в редакции для меня была новым делом, и осваивать эту специальность, признаюсь, было нелегко. И если бы не стремление редактора сделать из меня профи в этой области, я бы одна, возможно, не справилась с навалившимися на меня новыми обязанностями. Он предпринял всё от него зависящее, чтобы я смогла научиться журналистскому мастерству. И это ему удалось! Я вместе с ним радовалась успехам работы на радио, выходу в эфир первых моих материалов».

Баташов требовал от своих подчиненных, чтобы они чаще бывали в цехах, проникались настоящей рабочей атмосферой предприятия. Чтобы умели разговаривать с людьми. Тогда заводчане поделаются с журналистом проблемами, которые мешают им жить и трудиться. И работники редакции помогут рабочим коллективам в решении этих проблем. «Так, совместными усилиями, мы в конце концов добивались положительного исхода дела».

«В середине 80-х наша редакция, наряду со всеми подразделениями завода, была в полном подчинении парткомитета, – продолжает С. И. Деменкова. – Но никогда мы не ощущали давления с его стороны. Наоборот, смело могли критиковать руководителей цехов или отделов за какие-либо промахи, а парткомитет брал эти факты на заметку и контролировал исполнение, помогая таким образом людям в решении вопросов».

На первый план выходили не только деловые отношения, строящиеся на тесном сотрудничестве, доверии, уважении друг к другу, но и человеческие, где царили взаимовыручка и желание оказать помощь (любую) человеку, нуждающемуся в ней.

В общем, жить и работать в те времена было одно удовольствие. А завод для нас был единой семьей, где тебя обогреют и помогут. Иван Григорьевич был строг и требователен, но при этом окружал заботой и вниманием работников коллектива, стараясь помочь каждому, даже в житейских вопросах».

А вот отклик бывшего юрмашевца:

«Сколько замечательных передач вышло благодаря прекрасному творческому коллективу. Молодцы! Огромное спасибо за благородный и очень нуж-

ный для нас труд! Заводчане с удовольствием слушали обзор событий завода и города. Классные специалисты освещали происходящие события. В моей памяти вы навсегда, люблю вас, помню!»

Согласитесь, такие оценки дорогого стоят.

На перекрестке у цеха № 70 – бывшего автотранспортного цеха Юргинского машзавода – на постаменте стоит «ЗИС-5» военного образца (выпуск 1942 года). Это не просто машина, это машина-солдат, которая была незаменима в годы Великой Отечественной войны.

У этого памятника интересная история. Он был установлен накануне Дня Победы 1987 года по инициативе бывшего начальника 70-го цеха машзавода Эвальда Петровича Петкау. А идею такого необычного монумента ему подсказал Иван Григорьевич Баташов. «Полуторку» автотранспортники ЮМЗ искали чуть ли не по всему СССР. А нашли подходящую машину совсем рядом – в деревне Александровка, что в 20 километрах от города Болотное Новосибирской области. Выкупили ее у хозяина частного подворья.

Кстати, несколько лет подряд эту машину на 9 Мая снимали с постамента, и она своим ходом двигалась по улицам города, украшая праздничные колонны в честь Дня Победы. Теперь же легендарный грузовичок стоит «на приколе» у юргинского перекрестка дорог на Томск, Новосибирск и Кемерово...

Редактор Иван Григорьевич Баташов отмечен и трудовыми наградами: орденом Октябрьской Революции, медалью «Трудовая доблесть». Ему присвоили звание ветерана труда, почетного ветерана труда завода.

Умер он 13 августа 1988 года, за нескольких месяцев до своего 70-летия...

«Мой дед, Баташов Иван Григорьевич... Мои родители, мой дядя и большая дружная семья Баташовых–Евтюшкиных составили золотую славу Юргинского машиностроительного завода, – читаем мы в сочинении внучки ветерана Светланы Зарубиной, опубликованном в книге «Между адом и адом...». (Эта книга воспоминаний посвящена жителю Юрги – и бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, и тем, кто приехал сюда в годы войны создавать завод и строить город). – Я горжусь тем, что нашу семью знают и уважают в городе. В городском краеведческом музее есть портрет моего деда и родителей, а мои краеведческие и исследовательские работы занимают отдельную полку в хранилище».

Авторы этой книги, в основном, школьники. Они бережно собирали рассказы людей, переживших страшную войну. «И хочется верить, – пишет Светлана Зарубина, – что не прервется ниточка, связывающая нас, молодое и беспокойное поколение, и их, умудренных жизненным опытом людей».

Красноармеец, актер, режиссер Александр Кузнецов

Все испытания, выпавшие на его долю в молодые годы, Александр Арефьевич Кузнецов выдержал с честью: бесстрашно бился на фронте с немецко-фашистскими захватчиками, вынес плен, сражался потом с врагом в партизанском отряде.

Родился он 1 января 1922 года в большом селе Черёмное Павловского района Алтайского края. Родители его были простыми крестьянами. Всей семьей они переехали в поселок Салаир (ныне одноименный город в Кузбассе), жили на улице Фабричная, дом 16. Отец Саши работал заведующим магазином, мать была домохозяйкой.

В 1939 году Александр окончил Салаирскую среднюю школу. Работал на местном руднике. Здесь же вступил в ряды ВЛКСМ. 22 февраля 1940 года Гурьевский райвоенкомат призвал парня на срочную службу в Красную армию. В то время всюду говорили о войне, которую в Европе ведет Германия. А вскоре война пришла и на советскую землю.

226-й отдельный батальон связи 146-й стрелковой дивизии, где Александр Кузнецов был телефонистом, бросили в самое пекло – в район города Кременец Тернопольской области Украины. Наша армия несла большие потери и отступала. Часть, в которой воевал Кузнецов, попала в окружение. 10 июля 1941 года красноармеец оказался в немецком плену.

Фашисты издевались над пленными, били, заставляли возводить оборонительные сооружения, почти не кормили. Но Александра сломить не удалось. Он мечтал вернуться на фронт, чтобы снова сражаться с врагом. Сделать это было крайне сложно, любые попытки бежать карались смертной казнью. Тогда Александр и его товарищи по несчастью решились на хитрый шаг: будто бы искренне согласились с предложением вступить в «Русскую национальную народную армию», которую немецкое командование создавало из военнопленных для борьбы с Красной армией. Им выдали оружие, обмундирование. Отправили на передовую в Белоруссии. Но воевать со своими «Русская национальная народная армия» не стала – 16 августа 1943 года в полном составе перешла на сторону белорусских партизан.

Из ее частей сформировали 1-ю Антифашистскую партизанскую бригаду. Были созданы пять стрелковых отрядов, рота автоматчиков, рота связи, артиллерийская батарея, саперно-подрывной отряд. Бойцы этих подразделений – в их числе и Александр Кузнецов – воевали с фашистами бесстрашно, дерзко, «наверстывая упущенное» в неволе.

Бригада действовала в Минской и Витебской областях. О героизме новых партизан, стремящихся «своей кровью смыть позор немецкого плена», ходили легенды. Бойцы бригады наносили врагу огромный урон, не давая ему покоя ни днем, ни ночью.

Фашисты бросали против 1-й Антифашистской свои лучшие силы. В апреле-мае 1944 года в тяжелых боях с карателями бригада понесла большие потери. Наконец, в июле 1944-го оставшиеся отряды (в них числилось всего 422 партизана) соединились с частями Красной армии.

Нашему земляку был выдан следующий документ (хранящийся ныне в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации): «Кузнецов Александр Арефьевич, 1922 года рождения, Новосибирской обл., – состоял на службе в 1-й Антифашистской партизанской бригаде полковника Гиль-Родионова В. В. с 16 августа 1943 года по 24 июля 1944 года в должности стрелка ПТР (противотанкового ружья). Участвовал в штурме девяти немецких гарнизонов, четырех засадах, трех операциях по подрыву рельс на жел. дороге и 10-дневных оборонительных боях.

Командир бригады
Герой Советского Союза Тимчук,
Комиссар бригады Евмененко,
Начальник штаба бригады капитан Пономаренко.
24 июля 1944 г.»

Для проверки Кузнецова направили в военно-пересыльный пункт 176-го армейского запасного стрелкового полка. Здесь с ним беседовали представители военной контрразведки и других органов, которые интересовались временем, проведенным в плену, и разными подробностями его мирной и военной жизни. И Александр Арефьевич эту проверку выдержал. Более того, стрелок ПТР 6-го отряда 1-й Антифашистской партизанской бригады был представлен к награде – медали «Партизану Отечественной войны» I степени. В кратком изложении подвига А. А. Кузнецова записано: «1 октября 1943 года в засаде на дороге Плещеницы–Логойск выстрелом из ПТР сжег автомашину, убил 2 немцев и захватил 2 винтовки. Участвовал во всех боях, проведенных отрядом».

1 сентября 1944 года бывшего партизана откомандировали для продолжения воинской службы в 219-й гвардейский стрелковый полк 71-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Здесь ефрейтора А. А. Кузнецова назначили помощником командира взвода связи. Он участвует в освобождении Белорусской, Латвийской, Литовской ССР. Бои снова были тяжелые, но моральный дух нашего воина подпитывало то, что Красная армия теперь уверен-

но наступала, вытесняя врага с советской земли.

Тем обиднее было полученное тяжелое ранение. 27 октября 1944 года Александра доставили в хирургическое отделение эвакогоспиталя № 3167, разместившегося в здании школы № 7 на улице Ленина в городе Слободской Кировской области. В палаты к раненым приходили ученики этой школы, рассказывали о том, как помогают матерям, пока их отцы на фронте. Читали стихи, пели. Вместе с врачами госпиталя дети стремились помочь бойцам преодолеть боль, поскорее выздороветь. На втором этаже в актовом зале показывали кино, «тяжелых» сюда доставляли на носилках. Приезжали в госпиталь и артисты с концертами.

В госпитале Кузнецов узнал, что за проявленную смелость награжден орденом Славы III степени (приказ по 71-й стрелковой дивизии № 195/н от 31 марта 1945 года). И буквально следом новая приятная весть – о награждении орденом Отечественной войны I степени (приказ по 6-й гвардейской армии № 401/н тоже от 31 марта 1945 года).

Из госпиталя Александра Кузнецова выписали в августе 1945-го, когда страна уже отпраздновала Победу над фашизмом. Ему было всего 23 года. После демобилизации он вернулся в Кузбасс. Погостил на малой родине – в Салаире, где его мама жила теперь одна. Уехал учиться актерскому и режиссерскому мастерству. И, получив соответствующее образование, был принят на работу артистом в труппу Кемеровского областного драматического театра имени А. В. Луначарского.

А в 1961 году Александра Арефьевича пригласили на Кемеровскую студию областного телевидения в качестве режиссера. Ему уже шел сороковой год, и его профессионализм подкреплялся опытом работы в театре.

Начало 1960-х для Кемеровской телестудии, созданной в январе 1958-го, было периодом становления. Директором студии ТВ тогда был Дмитрий Иванович Култаев. Как вспоминал бывший главный режиссер КСТ Федор Мефодиевич Ягунов, в то время было много желающих познать новое дело, были и вакансии, на которые люди шли по объявлению: «Приходили актеры, фотографы, газетчики, художники, киномеханики, школьные учителя. Среди них не было ни одного, кто бы раньше имел хоть какое-то отношение к телевидению. Однако они считали, что опыт их прежней профессии может пригодиться новому виду искусства. И они не ошиблись, многие нашли здесь себя и составили потом ядро молодого коллектива».

С таким примерно настроением оказался на областном ТВ и А. А. Кузнецов. Новое давалось трудно. На КСТ еще продолжали выработать правила, по ко-

торым следовало снимать передачи, пытались освоить и использовать разные возможности телевидения. «Это была учеба, в которой не было учителей и не было учебников. Всё постигалось в процессе работы», – отмечал Ф. М. Ягунов.

Вот в эту «кипучую бучу» и окунулся с головой Александр Кузнецов. Его закрепили за редакцией художественного вещания, где режиссурой руководил Аркадий Айзикович Блехман, тоже участник Великой Отечественной войны. Кузнецова привлекали к работе над регулярно выходящими передачами: литературными, музыкальными, детскими и научно-познавательными. Но, помимо «текучки», одной из его главных задач было участие в создании телеспектаклей.

Первые телевизионные спектакли Кемеровской студии ТВ «Орлиная степь» и «Гранатовый браслет» вышли в эфир в 1960 году. В марте 1961-го был показан спектакль «Горное гнездо».

По словам специалистов, жанр телеспектакля возник на КСТ как вынужденная мера заполнения эфира в эпоху, когда Центральное ТВ до региона еще не доходило, а собственных передач не хватало. Зато к концу 1950-х годов в Кемерове уже сформировалась своя театральная культура, публика с удовольствием заполняла залы театров драмы и музыкальной комедии. А перенос готовой постановки с театральной сцены в павильон ТВ занимал существенно меньше времени и сил, чем создание подобного зрелища «с нуля». Поэтому на КСТ вплоть до 1980-х ставили по несколько телеспектаклей в год. Размер съемочной площадки в павильоне позволял размещать готовые театральные декорации, профессиональный свет и звук здесь были изначально. Спектакли тщательно репетировали и в означенное в программе время выдавали из студии телезрителям в режиме «прямого эфира». Недостатком такой схемы была невозможность записать и повторить постановку, поскольку видеозаписи у КСТ на начальном этапе не было.

Александр Арефьевич поставил на нашей студии несколько телеспектаклей. Одним из них стала драма «Лубянка» (1961), где и сам режиссер Кузнецов сыграл роль, перевоплотившись в Феликса Дзержинского. Постановка была об Октябрьской революции, Гражданской войне, непростых первых годах жизни Страны Советов...

Другой важной творческой составляющей в работе А. А. Кузнецова стали киноочерки, создававшиеся на литературной основе с использованием кадров реальных событий. Ясно, что роль режиссера тут была важна не менее, чем при производстве телеспектакля. Его особый взгляд, его присутствие требовались на всех этапах – от написания сценария до съемки материала, записи звука на пленку, монтажа. Создание киноочерка занимало много

времени, поэтому на КСТ ежегодно их снимали не больше трех-пяти.

Первое время работы на телевидении Кузнецов присматривался к этому жанру, помогал коллегам в создании очерков. И вот, наконец, сам взялся за режиссуру подходящего материала. Выпущенный им киноочерк назывался «Друг Серёга» (1966) – по рассказу Гария Немченко, который писатели-новокузнецчане Г. Л. Немченко и Г. А. Емельянов опубликовали в 1964 году в совместной книге рассказов «Когда друзья рядом».

Киноочерк получился замечательным. В нем рассказывалось о молодежи, работающей на строительстве Западно-Сибирского металлургического завода. Главными героями стали простые рабочие люди – веселые, энергичные, оптимистичные, для которых возведение сталелитейного гиганта стало смыслом жизни. И будто бы эпиграфом к тому давнему видеоматериалу режиссера Александра Кузнецова звучат сегодня строки, написанные позднее Геннадием Емельяновым: «Новокузнецк кинул гирию немалого веса на чашу исторических весов, и чаша та медленно, но и верно склонилась в нашу пользу. У города особая, неповторимая судьба, отмеченная массовым самопожертвованием и массовым героизмом, поэтому нам есть кого вспомнить и чтить добрым тихим словом, есть кого отметить, запечатлеть в мраморе и бронзе». Хочется добавить: запечатлеть и в кадрах хроники, кино- и телеочерках, в художественных фильмах...

Между тем, подорванное тяжелым ранением здоровье Александра Арефьевича стало серьезно сдавать. И уже в 1971 году его не стало. Опытному телевизионному режиссеру было всего 49 лет.

Иван Сокол победил на войне и отдал жизнь областному радио

«Внешне он очень соответствовал своей фамилии, – вспоминает коллегу бывший директор областного Дома радио Тамара Владимировна Алиева. – Широкоплечий, длинноногий, всегда с прямой спиной и умным пронзительным взглядом из-под очков в роговой оправе. Настоящий Сокол!

И в поведении он был таким – основательным, умеющим рационально распределять время. Потому казался неторопливым, всегда спокойным и внимательным. Особенно в отношениях с молодыми коллегами.

Идешь, бывало, к нему в кабинет сдавать текст передачи (так называемую микрофонную папку) – а по спине холодок. Всё ли правильно сделала? А он, главный редактор Облрадио, усадит тебя напротив и давай для начала расспрашивать. Про мужа спросит, про детей, здоровье, про последнюю командировку... И делает это так заинтересованно и просто, что поход к начальству не выглядит пыткой.

Поговорит и отправит в редакцию ждать результата. Причем, прочитав всё и поправив, не вызывает к себе, а заходит к тебе в кабинет сам. Сначала обязательно похвалит (всегда находил, за что), а уж после спокойно и рассудительно, с высоты своего огромного журналистского и житейского опыта объяснит, что, где и как надо дописать или вообще переделать. Мы, молодежь областного радио, Ивана Андреевича нисколько не боялись. Наоборот, уважали и любили. Понимали: профессионал, мастер слова».

Родился И. А. Сокол 19 января 1923 года в уездном городке Славгороде Алтайской губернии (ныне Алтайский край). Его родители – переселенцы из центральной России – прибыли туда по реформе, проводимой еще в 1910-е годы председателем Совета министров П. А. Столыпиным. Как и большое количество других жителей страны, они устремились в Западную Сибирь, где всем желающим предоставляли землю для ведения сельского хозяйства.

Однако на Алтае семье не пожилась, и вскоре они обосновались в Щегловске, который в 1932 году был переименован в Кемерово. Ваня учился в средней школе № 16, расположенной в Рудничном районе. Известно, что еще в юношеские годы он начал сочинять стихи, даже посылал свои творения в газеты. Окончив школу в 1941 году, сначала поработал сплавщиком на Томи, потом разнорабочим.

Но шла война – фронту требовались солдаты. И в переломном 1943 году, 10 апреля, Ивана призвали в Красную армию. Воевал он рядовым 677-го стрелкового полка 409-й стрелковой дивизии в составе 46-й армии Степного фронта, затем была ратная служба на Юго-Западном (57-я армия) и 2-м Украинском (7-я Гвардейская армия) фронтах. По военной должности И. А. Сокол числился оружейным мастером мастерской боепитания своего полка. Участвовал в битвах за освобождение Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии.

За умелые, инициативные и смелые действия, сопряженные с риском для жизни, Иван Сокол был награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». А уже в мирное время – орденом Отечественной войны II степени и другими наградами.

После демобилизации Иван Андреевич вернулся в Кузбасс. Здесь с новой силой проявились его творческие наклонности. Желание работать со словом однажды привело его на областную радиостудию.

С середины 1940-х годов радиовещание в молодой Кемеровской области развивается быстрыми темпами. В крупных городах Кузбасса организуют местное вещание, при котором работали соб-

ственные корреспонденты областного радио. Так, Иван Сокол стал собкором в Анжеро-Судженске. При этом он не забывает и про поэтическое творчество. Тогда же его стихотворные произведения впервые печатает областная газета «Кузбасс». А вскоре И. А. Сокол становится литературным сотрудником непосредственно в кемеровской редакции областного радио.

В 1952 году Иван Андреевич успешно окончил отделение русского языка и литературы историко-филологического факультета Томского педагогического института. К тому времени его стихи уже печатаются в литературном альманахе «Огни Кузбасса». А сам он не оставляет работу «радийца». Старейший журналист областного радио и телевидения Федор Мефодиевич Ягунов в своих мемуарах писал, что основным содержанием передач тогда были последние известия о производственных и спортивных успехах, о ходе выполнения планов пятилеток, сводки погоды, концерты, выступления писателей, поэтов, политические беседы. Иван Сокол готовил для слушателей передачи на темы экономики и промышленности – они ему особенно удавались.

«При этом, – пишет Ф. М. Ягунов, – процесс производства передач был непростым. В 1950-х радио Кузбасса кочевало по разным зданиям. Одно время часть редакции была в доме, где сейчас Союз писателей Кузбасса, – на Советском проспекте, 40, часть – на Красноармейской, 128. А наши крохотные радиостудии, центральная аппаратная, мастерские техников по ремонту оборудования располагались во Дворце труда, который стоял на пересечении кольцевого бульвара и Вокзальной улицы (сейчас там находится областной колледж культуры и искусств. – С. Ч.). Запись передач производилась и во Дворце труда, и на Красноармейской, и на Советском. Дикторов и начальника отдела доставляли туда на машине».

Впрочем, эти трудности не останавливали творческого роста Ивана Андреевича и многих его коллег. Радиослушатели узнавали их не только по звучанию в эфире голосам, но и по присущему каждому из них особому стилю работы, умению интересно рассказать о важных событиях региона.

С появлением в Кузбассе собственного телевидения было решено объединить в общую организацию Областной отдел радиоинформации (Облрадио) и только что образованную Кемеровскую студию телевидения (КСТ). Кемеровский областной комитет по РВ и ТВ создали 14 января 1958 года по распоряжению Кемеровского облисполкома Совета депутатов трудящихся. А первая телепередача в Кузбассе вышла в эфир 22 апреля 1958-го.

Областное телевидение стремительно росло, а готовых кадров для его развития не хватало. Решили позаимствовать специалистов из радиовеща-

ния. В результате в 1959 году 34-летний Иван Сокол оказался на должности ответственного редактора Кемеровской студии телевидения.

Как подчеркивает Ф. М. Ягунов, важно было отладить процесс, создать коллектив и организовать его работу. А когда эти задачи были решены, Иван Андреевич попросил вернуть его на любимое радио. Его просьба была услышана. И в 1962 году председатель областного комитета по радиовещанию и телевидению Петр Михайлович Попов издал приказ: «Назначить И. А. Сокола главным редактором областного радио...».

А вскоре последовало и долгожданное решение Кемеровского обкома КПСС и облисполкома о строительстве в столице Кузбасса Дома радио. «Пробивала» этот проект Мария Михайловна Лапшина – на тот момент заместитель по радио председателя областного комитета по РВ и ТВ. Возведение объекта началось в 1965 году на улице Красноармейской. Строительство шло долго, с остановками, задержками, срывами графиков. Коллектив Облрадио участвовал в субботниках, помогал строителям чем мог. И вот в 1972 году начали понемногу заселяться в новое здание. Окончательный переезд в Дом радио состоялся в марте 1973-го.

Специализированное здание было оснащено всем необходимым для профессиональной работы. Здесь имелись студии записи программ и прямого эфира, большая фонотека, большая концертная студия, где записывали или в прямом эфире шли концерты. В Доме радио было собрано самое современное оборудование (пульта, магнитофоны, звукопоглощающие ковры и прочее). Сотрудники теперь не теснились на своих рабочих местах, отдельный светлый кабинет выделили и главному редактору.

Как и все в коллективе, Иван Андреевич радовался этим замечательным переменам. Условия труда «радийцев» улучшились значительно. Выросло и качество передач. А по оперативности и степени воздействия на аудиторию Облрадио даже опережало КСТ.

В должности главного редактора Облрадио И. А. Сокол проработал до 1984 года. Наверное, дольше него здесь никто больше не «главредствовал». Десятки молодых журналистов получили от него первые профессиональные наставления, многие его ученики работали в городских, областных и даже республиканских СМИ. Об одном из уроков от И. А. Сокола, полученном в свои первые дни работы на Облрадио, рассказала Тамара Алиева:

«После переезда из Томска в Кемерово кое-как устроилась воспитателем дошкольного комбината № 56 при кемеровском заводе «Химмаш». Однажды случайно зашла в Дом радио. Директором областного радиовещания тогда работал Юрий Софронович Тотыш. Он не обрадовал молодого специалиста:

мест на радио нет. Но он же предложил «не исчезать, трудиться внештатно и ждать». Так я и сделала. Несколько месяцев исправно внештатно сотрудничала с Домом радио, пока у них не появилась вакансия. И вот с 1980 года, наконец, началась моя журналистская доля.

До сих пор помню свой старательно написанный репортаж про комсомольско-молодежную бригаду на «Химпроме», руководимую вожаком с не очень благозвучной фамилией. Главный редактор кузбасского радио, ветеран войны, мастодонт в журналистике Иван Андреевич Сокол к эфиру репортаж сначала не подписал. Мол, соображаешь, как это звучать в эфире будет: «бригадир Воняйкина»? Я рыдала, как ненормальная. Зато потом училась, как можно и нужно исправлять ситуацию. Иван Андреевич так всё мастерски выправил, столько слов-заменителей нашел, что мой репортаж на редакционной летучке потом назвали в числе лучших».

Был он и хорошим семьянином. Другой ветеран радио Кузбасса Татьяна Павловна Микельсон припомнила, что еще до знакомства с Иваном Андреевичем подружилась в летнем пионерском лагере с его дочерью Любой: «Мельком видела и ее родителей, когда они приезжали в выходной день навестить своих детей, Любу и ее брата Сергея. А позже в нашем родительском доме появились книги Ивана Андреевича с его автографами моему отцу Павлу Ивановичу Антипову.

С самим же Иваном Андреевичем я познакомилась в 1985 году, когда влилась в коллектив Областного радио. Незадолго до этого он сдал пост главного редактора пришедшему к нам телевизионщику Валентину Ивановичу Масленникову. Однако и после выхода на пенсию Иван Андреевич часто приходил к коллегам в областной Дом радио».

Татьяна Микельсон с удовольствием вспоминает те встречи:

«На втором этаже Дома радио – рядом с кабинетами нашей редакции последних известий – была свободная комната. Она становилась многолюдной с приходом Ивана Андреевича. Он заваривал чай по своему рецепту («щепотками», как он выражался). И все дружно спешили сюда не только попить чаю. Иван Андреевич и на пенсии продолжал слушать наши передачи. И иногда здесь проходили своего рода вторые летучки. Неофициальные. С ним делились и своими творческими планами. С его мнением мы считались.

Нам были интересны и его воспоминания о войне. Фронтовик, как говорится, прошел пол-Европы, освобождая ее от фашизма. Он рассказывал про тяжелые бои, героизм солдат. Увлекательны были и его повествования об известных людях, с которыми творческая судьба сводила Ивана Андреевича во время подготовки передач.

С другим ветераном нашего радио, тоже фронтовиком Василием Федоровичем Холодком, который в 1970-х возглавил редакцию последних известий, Иван Андреевич любил играть в шашки. При этом оба нещадно курили. Бывало, дым валил до потолка!»

К слову, о встречах в редакции и курении. И. А. Сокол всегда приходил в родной коллектив в День Победы. И 9 мая, когда чествовали победителей, Иван Андреевич курил не сигареты, как обычно, а исключительно махорку, как во фронтовые времена...

Возможно, еще и эта вредная привычка сказалась: здоровье ветерана становилось всё хуже.

«Через несколько лет выяснилось, что Иван Андреевич неизлечимо болен, – продолжает Т. П. Микельсон. – Наш тогдашний директор Облрадио Алексей Николаевич Калинин подошел как-то ко мне: «Давай, я, ты и Нина Леонидовна Букарева (работала выпускающей на Облрадио) навестим Ивана Андреевича».

Поехали по адресу: Телецентр, 1, в этом доме проживало немало работников телевидения и радио. Дверь открыла жена Ивана Андреевича Анна Михайловна. Мы ее знали не только по телеэкрану (она вела на ТВ передачи о кино), но и по работе в одном комитете по телевидению и радиовещанию. Она пригласила нас в квартиру: «Ваня лежит в своей комнате. Выйти уже не может. Проходите к нему».

Алексей Николаевич вошел первым, потом и мы. Поприветствовали хозяина. Но разговора уже не получилось. Пожелали Ивану Андреевичу сил, терпения и надежды на выздоровление. Которому, к сожалению, не суждено было сбыться».

20 апреля 1990 года ветерана не стало.

Но очерк об И. А. Соколе был бы неполным без рассказа о его литературном творчестве. Вся жизнь Иван Андреевич писал стихи, прозу. Многие из его произведений были адресованы детям. Так, в 1966 году Кемеровское книжное издательство выпустило томик его сказок «Волшебная бусинка», в 1971-м – книжку «Про девочку, которая ничего не хотела уметь», а в 1974-м вышел в свет сборник его стихов для детей «Лесной стадион».

Бывший руководитель редакции последних известий Облрадио Геннадий Леонидович Мызин добавил к этому, что Иван Андреевич писал также пьесы для Кемеровского театра кукол имени Аркадия Гайдара.

Писал он и для взрослых.

«Мы все знали, что он пишет прекрасные стихи, но стесняется их публиковать, – подтверждает Тамара Алиева. – Когда были коллективные праздники, просили его почитать. Иван Андреевич всегда читал про войну, которую знал не по книгам. И делал это мастерски! Но потом обязательно заводил разговор про то, как «важно беречь жизнь».

Его стихи о войне – просты, но очень искренни. Одно из таких стихотворений называется «Фронтовому другу»:

*Нас сроднили военные тропы,
Мы с тобой, как родные братья,
Рядом рыли свои окопы:
Насмерть было с тобой стоять нам.
Заметалась свинцовая вьюга.
Сибиряк дал южанину руку...
Кто теплей фронтового друга
Мог в траншеях согреть разлуку?
Мы последний сухарь делили,
Котелок на двоих имели,
И о доме вместе грустили
В час ночной под сукном шинели.
Незнакомые матери наши
Нас домой одинаково ждали.
Каждой не было сына краше –
Мы пред ними в письме оживали.
Все окопные тяготы, нужды
Мы сносили в жару и морозы,
И великую эту дружбу
Не сломали военные грозы.
Мы вернулись к родному дому:
Ты – распахать пашен просторы,
Я – в излучины улиц знакомых,
В молодой мой сибирский город.
Хлебопашцы и рудокопы,
Мы – строители новой жизни.
И в бою за расцвет Отчизны
Снова рядом наши окопы.*

(Газета «Кузбасс», 9 мая 1948 г.)

Еще один интересный факт из творческой биографии нашего героя. Песню «Гуси-лебеди» на слова И. А. Сокола и музыку кузбасского композитора Владимира Михайловича Пипекина до сих пор распевают хоровые коллективы во многих регионах России. Сколько души, сколько лиризма вложил Иван Андреевич в эти, казалось бы, бесхитростные, но очень напевные строки:

*Был он ласковым и добрым, мой Иванушка,
Да умчался с вражьей силой воевать,
И осталась я Алёнушкой на камушке
Друга милого с войны жестокой ждать.
Гуси-лебеди – птицы белые,
Где летаете, в каком краю?
Гуси-лебеди – птицы добрые,
Сохранили вы любовь мою.
Говорят: «Пропал мой милый друг без весточки».
Нет войны, а горе вдове не унять.
Вот и снова на берёзках в листьях веточки,
Перелётных птиц мне снова окликать.
Гуси-лебеди, птицы верные,*

*Где летаете, в каком краю?
Гуси-лебеди, птицы добрые,
Может, встретили любовь мою?
На висках моих уж иней поздней осенью,
Только в сердце не утихла боль моя,
И летят, летят, летят в небесной просини
Гуси-лебеди в далекие края.
Гуси-лебеди, птицы белые,
Где летаете, в каком краю?
Гуси-лебеди, птицы добрые
Возвратите мне любовь мою.*

«Эта песня помогает находить контакт с любой аудиторией в любом месте России. Она часто звучит. Всюду, где есть женский ансамбль, ее поют. И на радио она исполняется. Эта песня помогает мне жить», – признаётся композитор Пипекин.

А ведь он сочинил не одну песню на стихи Ивана Андреевича. Есть у их творческого тандема и такие совместные произведения, как «Судьба моя про-

стая», «Ой ты, вьюга, вьюга», «Провожая зимушку». В 1992 году фирмой «Мелодия» выпущена большая пластинка под общим названием «Сибирячка-речка» с песнями композитора Пипекина на стихи кузбасских поэтов, в том числе на стихи Ивана Сокола.

Что ж, недаром говорят: песни так же, как и дети, рождаются от любви. Любви к красоте. К женщине. К своей родной земле, которая питает и помогает стать светлее и сильнее.

Поэт Иван Сокол однажды написал:

*А надо мной берёзок косы
Весенний ветер шевелит.
Бежит тропинка в чистых росах,
Судьба моя по ней бежит...*

Судьба ему и впрямь выпала светлая.

г. Кемерово



Павел КОНЦЕВОЙ

ИЗ ЗАХОЛУСТЬЯ – В ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Как появилась на свет Кемеровская область

Кемеровская область была образована 26 января 1943 года, в самый разгар Великой Отечественной войны. Зачем же Верховный Совет РСФСР затеял изменение границ своих регионов именно в такое тяжелейшее для страны время? Попробуем ответить на этот вопрос. Но сначала вспомним о том, как вообще менялось административно-территориальное устройство Кузбасса, кому он в разные годы подчинялся, и что способствовало его превращению из богом забытого сибирского «медвежьего угла» в мощный индустриальный район.

До революции территория будущей Кемеровской области делилась между Томским, Мариинским и Кузнецким уездами Томской губернии. Земли первых двух уездов принадлежали Казне, то есть государству, а Кузнецкий проходил по ведомству Кабинета Его Императорского Величества. Это означало, что добывать здесь полезные ископаемые и строить заводы по их переработке мог только царствующий император. Частному же бизнесу вход на Кабинетские земли был заказан.

Царские чиновники оказались крайне неэффективными менеджерами. Принадлежащие им заводы – Томский и Гурьевский железодобывающие, а также Гавриловский сереброплавильный – до 1861 года еще худо-бедно работали за счет использования принудительного труда горнозаводских мастеровых, но после отмены крепостного права пришли в полный упадок. Томский завод вообще не смог приспособиться к новым условиям и в 1864-м закрылся. А Гурьевский и Гавриловский заводы только в 1880-х годах, после вынужденной глубокой модернизации и реконструкции, смогли, наконец, восстановить производство и увеличить объемы выплавки чугуна, железа и серебра.

Не лучше обстояло в Кузбассе дело и с добычей угля. Еще в 1842 году русский геолог и путешественник П. А. Чихачёв выяснил, что земли нашего региона скрывают в себе огромное богатство – один из крупнейших в мире каменноугольных бас-

сейнов. Для снабжения Гурьевского и Гавриловского заводов топливом чиновники Кабинета в 1851 году заложили Бачатские копи, а когда те истощились, основную добычу перенесли на открывшиеся в 1883 году Кольчугинские копи. Для их развития требовалось построить железнодорожную ветку от Кольчугино до Юрги, чтобы вывозить добываемый уголь по Транссибу. Но Николай II не хотел тратить на эти цели собственные деньги, а пускать в свой огород сторонних инвесторов он тоже не собирался. В результате, когда в 1909-м не выдержавший конкуренции с производителями из центральной России Гурьевский завод остановился (Гавриловский закрылся на десятилетие раньше), прекратили работу и Кольчугинские копи, а всё их имущество было продано с молотка. В 1907 году Кабинет заложил еще одни копи – Кемеровские, но добыча там не превышала всего лишь двух тысяч тонн в год.

Хотя в то же самое время Судженские копи адвоката Л. А. Михельсона, расположенные на государственных, то есть свободных для частного предпринимательства землях, выдавали на-гора по 200 тысяч тонн угля в год, принося своему владельцу огромные прибыли. Еще больше «черного золота» добывалось на казенных Анжерских копиях, принадлежащих управлению Томской железной дороги. И только кабинетские чиновники, словно собаки на сене, и сами не разрабатывали «подведомственные» недра, и не разрешали это делать никому другому. В результате Кузнецкий бассейн фактически оказался разделен на две неравные части. Север его бурно развивался (благодаря Транссибу и Анжеро-Судженскому угольному району), а центр и юг оставались глубоким захолустьем.

Всё изменилось в 1911 году, когда отправленный в отставку член Государственного совета В. Ф. Трепов узнал от бывшего управляющего Кемеровским рудником В. Н. Мамонтова о несметных богатствах Кузбасса и решил прибрать этот лакомый кусочек к своим рукам. Пользуясь личным расположением императора, отставной сановник добился привилегии добывать уголь на Кабинетских землях Кузнецкого уезда.

Вместе с консорциумом нескольких банков Трепов создал акционерное общество «Копикуз», возглавил которое горный инженер из Донбасса Иосиф Иосифович Федорович. И летом 1913 года вместе с притоком частного капитала в Кузбасс пришла настоящая промышленная революция. Федорович вдохнул новую жизнь в Кольчугинские и Кемеровские копи, связал их железнодорожной веткой с Юргой, а также начал строить Прокопьевский рудник и коксохимический завод в Щегловске.

В 1914 году «Копикуз» добыл 48 тысяч тонн угля, а в 1917-м – уже 290 тысяч! При этом вокруг шахт общества, как грибы после дождя, росли рабочие

поселки, скоро ставшие городами (Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Прокопьевск). Но Федорович не собирался ограничиваться только добычей угля. Он ратовал за комплексное использование богатейших местных недр и решил построить на юге Кузбасса большой металлургический комбинат. Иосиф Иосифович пригласил к себе известного донецкого инженера М. К. Курако и поручил ему проектирование нового предприятия. В соответствии с планами «Копикуза», уже в 1921 году комбинат должен был выплавить свой первый чугун.

Но Октябрьская революция и последовавшая за ней Гражданская война не позволили претворить в жизнь грандиозные замыслы Федоровича. К 1920 году промышленность Кузбасса оказалась в полнейшей разрухе, и несколько лет ушло только на ее восстановление до прежнего, дореволюционного уровня. Огромная заслуга в этом принадлежит созданной в 1921 году по личной инициативе В. И. Ленина Автономной индустриальной колонии (АИК) «Кузбасс» во главе с ее директором, голландским инженером Себальдом Рутгерсом. Именно он с группой иностранных коммунистов в кратчайшие сроки наладил добычу на Кемеровском, Кольчугинском и Прокопьевском рудниках, а также сумел запустить крайне необходимый уральским металлургам коксохимический завод, недостроенный «Копикузом». Впрочем, «американский» стиль работы Рутгерса постоянно вступал в резкое противоречие с огромным количеством советских законов и уложений. Поэтому в 1926 году голландца просто-напросто «съели», вынудив его написать заявление об отставке. А восстановленные им предприятия перевели на советскую (читай – неуклюжую и бюрократическую) систему хозяйствования.

Первые годы после революции правительство РСФСР и СССР почти не меняло принятое при царе административно-территориальное устройство страны. В России так и продолжили мирно существовать старорежимные губернии и уезды. А земли будущей Кемеровской области, как и раньше, делились между Кузнецким, Томским и Мариинским уездами Томской губернии, к которым в 1918 году добавился Щегловский уезд, выделенный из Кузнецкого в связи с рождением города Щегловска (Кемерово). Но уже в 1923-м в только что образованном СССР начала реализовываться реформа административно-экономического районирования страны, разработанная Госпланом. Ее смысл состоял в полной замене дореволюционных губерний на советские области-гиганты, руководство которых должно было нести не только административно-хозяйственные, но еще и планово-экономические функции. По сути, это был некий аналог государства в государстве.

В рамках подготовки к этой реформе власти заехали укрупнение волостей и уездов. Поэтому в октябре 1924 года Кузнецкий и Щегловский уезды вновь объединили в один – Кольчугинский, с центром в селе Ленино (бывшем Кольчугино).

А в мае 1925-го на базе Томской, Алтайской, Ново-Николаевской, Енисейской, Омской и Иркутской губерний был создан Сибирский край с центром в Ново-Николаевске. Разумеется, столица нового советского субъекта не могла носить имя последнего российского императора, поэтому ее спешно переименовали в Ново-Сибирск. Впрочем, дефис в названии как-то не прижился, и вскоре город приобрел свое современное, слитное имя.

В ходе реформы в мае 1925 года уезды стали округами, а их названия и границы перетрясли еще раз. Мариинский уезд вообще упразднили, а его территорию поделили между Томским и Ачинским округами. Ну, а Кольчугинский уезд стал Кузнецким округом, с центром в образованном по такому случаю городе Ленинске-Кузнецком. Впрочем, тот недолго щеголял своим столичным статусом, ведь уже в марте 1926-го центр округа перенесли в Щегловск. Причина оказалась до обидного простой: в Ленинске не нашлось необходимого количества зданий для размещения органов власти. И он навсегда упустил реальный шанс стать будущей столицей Кемеровской области...

135

Новый край получился воистину монструозным! Его площадь составила 4,4 миллиона квадратных километров, а население – 8,2 миллиона человек. На занимаемой им территории спокойно разместился бы весь современный Евросоюз на пару с отколовшейся от него Великобританией. В состав Сибирского края вошли 19 округов, Ойротская автономная область (республика Алтай) и отдаленный Туруханский край.

Но очень скоро всем стало ясно, что нормально управлять такими гигантскими субъектами, придуманными в тиши московских кабинетов, физически невозможно. Да и их планово-экономические функции в рамках грядущей индустриализации нужно было срочно передавать в столицу, в отраслевые наркоматы. Поэтому началась кампания по укрупнению краев и переводу их исключительно на хозяйственные функции. Попутно ликвидировали округ, напрямую подчинив входящие в их состав районы краевым органам власти. В июле 1930 года Сибирский край разделился на Восточно-Сибирский (с центром в Иркутске) и Западно-Сибирский (со столицей в Новосибирске). А территорию будущей Кемеровской области поделили теперь не на три округа, как раньше, а на два десятка районов.

Впрочем, и такого укрупнения вскоре оказалось недостаточно, ведь в те годы промышленность

Сибири развивалась стремительными темпами, а еще быстрее росло ее население. Поэтому уже в 1934 году от Западно-Сибирского края отпочковалась Омская область, а в 1937-м его вообще упразднили, разделив на Новосибирскую область и Алтайский край.

Поясним попутно, почему Новосибирская область не стала краем. Края создавались на территориях с национальными автономиями. Например, в Красноярский край входила Хакасская автономная область, а также Таймырский и Эвенкийский национальные округа. В состав Алтайского края вошла Ойротская автономная область. Коренной же народ Кузбасса – шорцы – вследствие своей малочисленности так и не обзавелся полноценной автономией, довольствуясь лишь Горно-Шорским национальным районом. Ну, а к концу 1930-х годов, после начала активного промышленного освоения недр южной части Кузбасса, шорцы практически полностью растворились в пришлом населении и, к огромному сожалению, почти утратили свой этнос. Поэтому вновь образованная Новосибирская область статус края не получила.

Именно Кузбасс стал локомотивом развития всей Новосибирской области. По темпам роста населения он значительно опережал как другие регионы Сибири, так и СССР в целом. Хотя, по большому счету, вплоть до начала 30-х годов прошлого века советская власть в Кузбассе всего лишь претворяла в жизнь грандиозные замыслы Федоровича, реализовывая проекты «Копикуза». Но в любом случае, показатели развития нашего региона в то время вызывают неподдельное восхищение. С 1926-го по 1939 год население СССР увеличилось на 15%, Сибири в целом – на 28%, а Кузбасса – на 143%, с 0,71 до 1,69 миллиона человек!

Стране требовалось все больше угля, кокса и металла, поэтому в Кузбассе ударными темпами строились новые шахты и заводы, а население молодых городов росло в геометрической прогрессии. Только за тринадцать лет (с 1926-го по 1939 год) число жителей Щегловска (Кемерово) выросло с 22 до 133 тысяч человек, Прокопьевска – с 11 до 107 тысяч, Ленинска-Кузнецкого – с 20 до 82 тысяч. Но безусловным лидером стал, конечно, Сталинск (Новокузнецк), появившийся на свет благодаря строительству Кузнецкого металлургического комбината. Его население за тот же период увеличилось с четырех до 170 тысяч человек!

Откуда же в Кузбассе взялось столько новых людей? Дело в том, что значительная их часть была так называемыми спецпереселенцами, или, попростому, раскулаченными в ходе сплошной коллективизации крестьянами из европейских районов СССР. Только с 1930-го по 1933 год в Кузбасс со-

слали 102 тысячи человек. Да и многие местные крестьяне сами, не дожидаясь раскулачивания, бросали свое хозяйство и перебирались в города.

Другую часть рабочей силы исправно поставлял Сиблаг. Из 28 лагерей, расположенных в Новосибирской области, 20 находилось в нашем регионе. И до 10 тысяч ежегодно выходивших на свободу заключенных оставалось в Кузбассе. Впрочем, было немало и энтузиастов, приехавших сюда по комсомольским путевкам на строительство новых предприятий, а также завербованных по всей стране рабочих, подавшихся в Кузбасс в поисках лучшей жизни.

Разумеется, о создании нормальных бытовых условий для такой огромной массы людей поначалу можно было только мечтать. По данным на 1937 год, 89% всего жилого фонда шахтеров Кузбасса составляли дощатые, бревенчатые и саманные бараки, а также землянки (в Прокопьевске их количество достигало двух с половиной тысяч). В Сталинске, Кемерове и Анжеро-Судженске на одного человека приходилось 3,1 квадратных метра жилой площади при норме 8! А на строительстве КМК землянки вообще стали практически единственным видом жилья для десятков тысяч людей.

Но, как бы то ни было, мощнейшая накачка Кузбасса трудовыми и материальными ресурсами дала свои результаты, и он быстро превратился в промышленный центр Сибири. В 1939 году добыча угля в Кузбассе составила 13% от общесоюзной (18,6 миллиона тонн против 1,7 миллиона в 1926-м), а количество шахт увеличилось втрое. КМК произвел десятую часть всего советского проката, а Кемеровский коксохимический комбинат выпустил 17% кокса (1 миллион тонн против 128 тысяч тонн в 1926 году). И хотя территория Кузбасса составляла всего 17% от площади Новосибирской области, здесь находились 9 из 12 городов областного подчинения и проживало 42% населения (1,69 из 4,05 миллиона человек).

Правительство страны и в дальнейшем не собиралось снижать темпы развития Кузбасса. По плану третьей пятилетки, к 1942 году в нем должны были появиться второй металлургический завод, ферросплавный, алюминиевый, трубопрокатный, цементный заводы, а также два оборонных предприятия.

Но, несмотря на такой бурный рост нашего региона, вопрос о выделении его в отдельный субъект даже не рассматривался. А после 1937 года в Сибири вообще не проводилось никаких административно-территориальных преобразований. Правда, на одном из бюро Новосибирского обкома ВКП(б) в 1939 году выдвигалось предложение о создании Кемеровской области, но оно не получило поддержки. Судя по всему, в годы «большого террора» местным властям было совсем не до этого.

Разумеется, рано или поздно Кузбасс все равно бы стал самостоятельным субъектом РСФСР. Но начавшаяся Великая Отечественная война ускорила процесс рождения Кемеровской области...

На оккупированной гитлеровцами территории оказались почти 32 тысячи предприятий, где выплавлялось 70% чугуна, 60% стали и проката, добывалось 60% угля и производилась большая часть всей оборонной продукции страны. Но еще с началом войны в СССР была развернута массовая эвакуация промышленности и населения с запада на восток.

В Новосибирскую область эвакуировали более двухсот заводов. А 79 из них полностью или частично оказались в Кузбассе. Некоторые предприятия даже не восстанавливали в своем изначальном виде – их оборудование использовалось для расширения уже действующих производств. Так, на площадке КМК разместилось 9 заводов, а на территории Кемеровского коксохима – целых 16. Но появилось и 33 полностью новых предприятия, как, например, «Карболит» и «Кузбассэлектромотор» в Кемерове, «Красный Октябрь» и «Кузбассэлемент» в Ленинске-Кузнецком, алюминевый и ферросплавный заводы в Сталинске.

Огромное количество разнообразного и далеко не всегда комплектного оборудования нужно было срочно принять, разместить, обеспечить электроэнергией, теплом, водой и в кратчайшие сроки наладить на нем выпуск продукции для фронта. Эта поистине героическая работа не останавливалась ни на секунду, невзирая на невероятно тяжелые условия труда и дефицит квалифицированных кадров.

Вместе с предприятиями из оккупированных районов эвакуировались и люди. К апрелю 1943 года в Кузбасс прибыло в общей сложности 212 тысяч человек. Число жителей в городах увеличилось на 10–20% процентов. Своеобразный рекорд поставили Осинники – там каждый второй был эвакуированным. А обеспечение этих людей жильем и продуктами стало отдельным и очень большим вопросом, который решался с огромным трудом.

Параллельно шла срочная перестройка всех производств для военных нужд. На спичечных фабриках делали бутылки с зажигательной смесью, на кондитерских – пищевые концентраты, а на швейных шили гимнастерки. В Прокопьевске на базе двух эвакуированных табачных фабрик ежедневно выпускали по два миллиона папирос для бойцов. А количество заводов, производящих взрывчатые вещества и боеприпасы, исчислялось десятками.

Огромная нагрузка легла на угледобывающие и металлургические предприятия региона. После оккупации Донбасса угля и металла в стране стало катастрофически не хватать. Ситуацию усугубил

еще и тот факт, что многие шахтеры и металлурги ушли на фронт, а на производстве их заменили женщины и подростки. Кузнецкому металлургическому комбинату, до войны гнавшему рядовой прокат, пришлось срочно осваивать выпуск легированных сталей, снарядных заготовок, броневых листов и сложных профилей. Неудивительно, что в 1942 году запланированные объемы добычи угля и выплавки металла выполнить не удалось.

Очень тяжело обстояло дело с транспортными перевозками. Возникли перебои с доставкой руды на КМК, две трети которой привозили с Урала; со складов шахт своевременно не отгружался уже добытый уголь; вагоны с эвакуированными станками терялись по дороге, а железнодорожники не успевали чинить испытывавший бешеные перегрузки подвижной состав и рельсовый путь. Ежесуточный пробег паровозов резко снизился, а оборот вагонов увеличился в два раза, что в военное время было недопустимо.

В итоге руководству Новосибирской области приходилось ежедневно решать множество самых разных вопросов, связанных с Кузбассом: по размещению и запуску новых заводов, по расселению и обеспечению эвакуированных, по увеличению добычи угля и выплавки металла, по бесперебойному снабжению транспортом, и еще тысячи других. А в условиях отсутствия нормальных дорог, свободного транспорта и несовершенства средств связи об оперативном решении местных проблем из Новосибирска (где и своих сложностей хватало) не могло быть и речи. Поэтому остро назрел вопрос о выделении Кузбасса в самостоятельный субъект РСФСР, и 26 января 1943 года появился соответствующий Указ.

Справедливости ради следует сказать, что к концу 1942 года многие из описанных выше проблем уже удалось решить: эвакуация практически завершилась, и все перемещенные предприятия заработали на полную мощность, объемы добычи угля и выплавки металла вернулись на довоенный уровень, КМК успешно освоил выпуск новой для себя продукции. И не совсем понятно, почему Президиум Верховного Совета РСФСР тянул с Указом об образовании Кемеровской области до января 1943-го. Почему он не издал его годом ранее, когда в Кузбассе сложилась самая напряженная обстановка?

Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Почти до конца 1942 года спрогнозировать исход Великой Отечественной войны было невозможно. Гитлеровцы активно наступали, захватывая все новые и новые советские территории, а в июле 1942-го началось одно из главнейших сражений войны – Сталинградская битва. В случае победы в ней Германии на нашу землю вторглись бы еще и Япония с Турцией, и под угрозой оказалось бы само суще-

ствование СССР в его изначальном виде. Затевать в этих условиях какие-либо административно-территориальные преобразования было бессмысленно, поэтому в 1941–1942 годах их и не проводили. Но в январе 1943-го стало ясно, что Советский Союз победил в Сталинградской битве, а значит, враг в конце концов будет изгнан с оккупированных территорий и уничтожен.

Однако для осуществления коренного перелома в войне недостаточно было просто вернуть объемы промышленного производства на довоенный уровень. Их требовалось увеличить, причем кратно! А при исчерпавшей себя централизованной системе управления сделать это было очень сложно. Точнее, практически невозможно.

И руководство страны, получив уверенность в завтрашнем дне, начало претворять в жизнь назревшие еще год назад реформы. Буквально за пару недель появились на свет сразу три новые области, принявшие значительный объем эвакуированных предприятий: 19 января – Ульяновская, 26 января – Кемеровская, 6 февраля – Курганская. Всего же в 1943–1944 годах было образовано 14 новых областей, в том числе и Томская, вышедшая из состава Новосибирской 13 августа 1944 года.

Главной задачей, стоящей перед новорожденной Кемеровской областью, стало дальнейшее увеличение объемов выпуска промышленной продукции. И жители региона с честью выполнили эту сложнейшую задачу. Добыча угля за годы войны выросла с 25 до 29 миллионов тонн, а производство кокса – с 8 до 13 миллионов тонн. Объемы выплавки стали на КМК увеличились на 10%, выпуск проката – на 18%. Но что самое главное, резко возрос технологический уровень производимой комбинации продукции. Новокузнецкие металлурги освоили 70 новых марок стали, вслед за Магниткой научились варить броневую сталь в обычных мартеновских печах, а вместо простого проката начали выпускать сложный, пригодный для изготовления военной техники.

В 1943 году КМК произвел треть всей металлургической продукции страны, а шахты области добыли четверть всего советского угля! Каждый второй танк и боевой самолет, каждый третий снаряд, произведенный во время войны, был сделан из кузбас-

ского металла.

С 1941-го по 1945 год в семь раз увеличился объем химического производства в Кузбассе. Кемеровский азотно-туковый завод (будущий «Химпром») выпускал до 40% всей азотной продукции страны – аммиака, нашатырного спирта, аккумуляторной кислоты и многих других веществ. Вступили в строй «Карболит», анилиноокрасочный завод, а также предприятия по выпуску лекарственных препаратов. А кемеровский завод № 392 (будущий «Прогресс») производил четверть всего советского пороха.

В годы войны труженики тыла из Кемеровской области совершили настоящий подвиг, в сложнейших условиях добившись резкого увеличения промышленного потенциала региона. Объем выпускаемой здесь продукции в стоимостном выражении вырос почти в три раза, с 680 до 1850 миллионов рублей! По сути дела, за четыре военных года Кузбасс прошел путь, на который в мирное время ему потребовалось бы не менее 10–15 лет. Хотя победа над врагом ковалась кузбассовцами не только в тылу: 330 тысяч жителей региона ушли на фронт, и 120 тысяч из них погибли в боях. Общий вклад наших земляков в дело борьбы с фашистской Германией невозможно переоценить!

Итак, появление на свет Кемеровской области именно в январе 1943 года было вызвано совокупностью сразу нескольких объективных факторов, главным из которых стала Великая Отечественная война. И уже на протяжении многих десятилетий рожденная войной область продолжает жить и развиваться. В Кузбассе добывается половина всего российского угля и выплавляется 10% металла. Кемеровский «Азот» занимает 2-е место по производству капролактама и 5-е место по выпуску азотных удобрений в России. А по потреблению электроэнергии (которое напрямую зависит от уровня промышленного развития региона) Кузбасская энергосистема стала одной из наиболее крупных в стране и третьей по величине в Сибири. Таким образом, Кемеровская область по праву входит в число крупнейших индустриальных центров страны.

г. Ленинск-Кузнецкий



Александр СМЫШЛЯЕВ

ВОЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ ПАУСТОВСКИЙ*

Удивительные рассказы Константина Паустовского, датированные годами Великой Отечественной войны, сегодня читаются по-особенному. Они стали ближе и понятнее. Невольно сравниваешь события и характеры, описанные в тех произведениях, с нынешней ситуацией на Украине. Военная проза Паустовского «заиграла» ярче, хотя она и без того была яркая, просто воспринималась иначе, только как историческая.

Наверное, так умел только Паустовский: рассказы его простые и короткие, но емкие по содержанию и очень красивые. Штрих, другой, третий – и готов удивительный характер. Природа, пейзажи, бытовые картинки описаны сочно, красочно, их сразу видишь внутренним зрением.

«Во всех домах было очень чисто, тихо, а в садиках пахло нагретыми листьями помидоров и полыню» (рассказ «Робкое сердце»).

«Ночью в горах Ала-Тау глухо гремела гроза. Испуганный громом, большой зеленый кузнечик прыгнул в окно госпиталя и сел на кружевную занавеску» («Кружевница Настя»).

«Потом над домом, над лесами начали летать самолеты. На них блесло солнце, и звон был такой, что шмели в саду перевернулись на спины и прикинулись мертвыми со страха, – Маша знала эту их шмелиную хитрость» («Бабушкин сад»).

Какие тонкие наблюдения, перенесенные на бумагу! И описанные всего-то несколькими словами. Ничего не проходило мимо пытливого, любопытного взгляда Константина Георгиевича.

А еще обратите внимание на названия: по ним не догадаешься, что речь пойдет о войне. А я хочу поговорить именно об этих рассказах, и в первую очередь о «Робком сердце». В одиннадцатистраничный рассказ уместился целый роман. В нем три главных героя: фельдшерица туберкулезного санатория старушка Варвара Яковлевна, ее любимый племянник Ванечка и сосед, бывший преподаватель естественных наук, а теперь пенсионер Егор Петрович Введенский.

* Пока готовился номер, пришло трагическое известие: на 73-м году Александр Александрович Смышляев, камчатский литератор, родившийся в Кузбассе и живший в Петропавловске-Камчатском, ушел из жизни.

Ванечку вырастила и воспитала Варвара Яковлевна, он ей достался после смерти сестры. Был славным мальчиком, послушным и трудолюбивым, прекрасно рисовал и сдружился с соседом Егором Петровичем. Когда Ванечка вырос, стал летчиком. После этого Варвара Яковлевна долго его не видела.

И вдруг началась война. Вот как Паустовский пишет об этом: «Война началась так странно, что Варвара Яковлевна сразу ничего и не поняла. В воскресенье она пошла за город, чтобы нарвать мяты, а когда вернулась, то только ахнула. Около своего дома стоял на табурете Егор Петрович и мазал белую стенку жидкой грязью, разведенной в ведре. Сначала Варвара Яковлевна подумала, что Егор Петрович совсем зачудил (чужачества у него были и раньше), но тут же увидела и всех остальных соседей. Они тоже торопливо замазывали коричневой грязью – под цвет окружающей земли – стены своих домов. А вечером впервые не зажглись маяки... Всё было неожиданно, страшно. Варвара Яковлевна сидела до утра на пороге дома, прислушивалась и думала о Ване».

Действие рассказа происходит в Крыму. «Осенью немцы заняли город. Варвара Яковлевна осталась в своем домике на Карантине, не успела уйти. Остался и Егор Петрович».

За спокойным по тональности, неспешным повествованием кроется высокое напряжение большой душевной трагедии людей, попавших в оккупацию. Их жизнь изменилась. Немецкие солдаты нещадно грабили жителей, и «это они делали так, будто в домах никого не было, даже ни разу не взглянув на хозяев. Во рву за Ближним мысом почти каждый день расстреливали евреев...»

Варвара Яковлевна и без того имела робкое сердце, а тут окончательно сникла. Жила тихо и одиноко. И постоянно думала о племяннике Ване: как он, где он? Наверняка воюет...

Недалеко от домика Варвары Яковлевны немцы поставили тяжелую артиллерийскую батарею. И еще несколько не только в районе Карантин, но и в других частях города Феодосии.

Однажды зимой налетели с моря советские самолеты и разбомбили немецкие батареи. Невольно досталось и мирным жителям: «убита какая-то молодая женщина около базара и больной старичок провизор».

Один самолет немцам удалось сбить. Летчик выбросился на парашюте, но был схвачен. Немцы расклеили по городку листовки, в которых сообщалось, что «советские летчики произвели бомбардирование мирного населения, вызвав жертвы, пожары квартир и разрушения. Один из летчиков, виновных в этом, взят в плен. Его зовут Иван Герасимов».

Это был племянник Варвары Яковлевны. Его должны были расстрелять, и горожанам приказали

обязательно присутствовать на казни. Немцы полагают, что народ озлобится на советского летчика и всю Красную армию за убийства и разрушения.

Варвара Яковлевна испугалась за Ваню. Но ей вдруг стало и совестно перед людьми, потому что «они не простят ей эту убитую женщину и несчастного старика-провизора и разбитые в мусор дома, где они жили столько лет... Ведь все знают, что Ваня – ее воспитанник, а многие даже уверены, что он ее сын».

Пожилая женщина спряталась от людей. Но на казнь всё же пришлось идти. Да, собственно, она пошла сама. «Всё внутри словно выжгло слезами, и ничего уже ее не пугало. Пусть убьют немцы, пусть ее возненавидят свои – все равно. Лишь бы увидеть Ваню...»

Что же произошло дальше? Люди узнали Варвару Яковлевну и неожиданно почтительно расступились перед ней. Почтительно! «А потом Варвара Яковлевна увидела, как на мокрую от дождя мостовую неизвестно откуда упала и рассыпалась охапка сухих крымских цветов. Немцы пошли быстрее. Ваня улыбнулся кому-то, и Варвара Яковлевна вся расцвела сквозь слезы. Так до сих пор он улыбался только ей одной».

Неожиданные коллизии, повороты сюжета – сила рассказов Константина Паустовского. В начале рассказа «Робкое сердце» про Ваню говорится лишь мимоходом. Затем он из повествования исчезает, как будто больше уже и не нужен автору. Но вдруг именно он становится главным героем. И вообще – Героем. Ведь к вечеру того дня, когда расстреляли Ваню, город заняли советские войска. Это стало возможно только благодаря летчикам, разбомбившим вражеские артиллерийские батареи. В том числе и благодаря Ивану Герасимову. «Ваня – святой человек, – сказал Егор Петрович. – Теперь в нашем городе все дети – ваши внуки, Варвара Яковлевна. Большая семья! Ведь это Ваня спас их от смерти».

Удивительное умение Паустовского поднять обычный, локальный эпизод до эпоса. Рассказ написан в 1943 году, писатель уже тогда был уверен, что его герои (они, конечно же, имели прототипы) станут историческими личностями – пусть и под другими именами. Он описывал их по свежим следам, но создавал образы на все времена! Дошел рассказ и до нашего времени, когда русская земля вновь обогрелась кровью. И снова появились герои-Вани! И опять мы мучаемся чистоплотностью, боясь осуждения за невольно причиненный ущерб, а то и жертвы мирных жителей – даже не наших, а врага. Мы до сих пор не знаем, как проскочить между этих двух огней. Паустовский дает ответ, когда пишет о том, как под ноги сомневающейся женщины «неизвестно откуда упала и рассыпалась

охапка сухих крымских цветов». Невзирая на жертвы среди своих, люди поняли и приняли главное: летчиками и ее Ваней всё сделано правильно. И во время, иначе жертв стало бы больше.

Тяжело говорить о необходимости подобного, даже боязно перед людьми, но Константин Паустовский нашел способ сказать. Он и в других своих рассказах точно так же поднимает повествование до эпических нот. То есть до трудной, мучительной и поучительной большой правды. И само повествование любого рассказа Паустовского остается не только историческим, но и злободневным для любого времени. Разве не о том же самом думают сегодня наши бойцы на передовой, как думает герой Паустовского из рассказа «Приказ по военной школе» курсант Михайлов: «Достаточно беглого взгляда на заштопанную гимнастерку, чтобы с новой любовью вспоминать материнские маленькие пальцы, ее опущенную голову, ее наперсток, ее робкие просьбы беречь себя и помнить, что она будет ждать сына, что бы с ним ни случилось, ждать до последнего своего вдоха». Мама, жена, дети, любимая девушка – главные люди во внутренней, потаенной личной жизни солдата, они занимают его мысли, его самые теплые и спасительные воспоминания.

Или вот о вере в справедливость нынешней Специальной военной операции. До сих пор есть те, кто ее осуждает: «Гибнут молодые мальчишки, а генералам хоть бы хны, гонят и гонят». И в рассказах Паустовского есть такие персонажи. Проводница в поезде усомнилась в том, что даже собаки чуют и ненавидят врага. Ее осадил голос: «У тебя одно занятие – никому ничем не верить. Билеты по десять минут в руках вертишь, всё тебе мстит, что они фальшивые». Вроде совсем не о том, не о вере в справедливость, а ведь об этом тоже.

Нет у Константина Паустовского в его рассказах батальных сцен, а если и есть, то пересказы, слышанные от других. Но это не делает эти удивительные произведения невоенными. Встречи в поездах, госпиталях, в командировках – то в Средней Азии, то в средней полосе России, а то и совсем рядом с фронтом – всё у писателя идет в дело. Батальи описаны другими. Паустовским описаны сердца и души людей того времени. И они так похожи на сердца и души нынешних людей, нынешних бойцов, нынешних переживающих и ждущих женщин.

2024, август,

когда камчатские морпехи на мотоциклах ворвались в Урожайное и взяли его после многомесячного штурма, а могли бы покончить разом еще осенью 2022 года, но не хотели мирных жертв.

Екатерина Полянская

ПОЧТОВЫЙ ГОЛУБЬ № 48

*Письмо в грязи и в крови запеклось,
И человек разорвал его вкось.*

Н. Тихонов «Баллада о синем пакете»

*Меж сосен едва розовеет рассвет.
Рация разбита. Связи нет.
Из окружения нет пути,
Только шифровка должна дойти.
А иначе всё это будет зазря.
Человек из клетки достаёт сизаря,
Заскорузлой ладонью ведёт по спине:
«На войне, дружище, – как на войне.
Понимаешь, шансы у нас – не ахти.
Долети. Пожалуйста, долети!»
Человек спокойно глядит вокруг:
«Будем прорываться. А вдруг!..»
Лицо его в ссадинах и в пыли.
А птица уже далеко от земли.*

*Голубь поднимается высоко,
Воздух держит его легко,
Пусть на земле всё дымит и горит,
У птицы точный компас внутри –
Компас, который не подведёт.
Голубь летит на восток. Вперёд.
Воздух обманчиво-плотен, упруг.
Он – не такой уж надёжный друг.
Трубы печные... Пятна полей...
С каждым взмахом – всё тяжелей.
Но почему-то нельзя назад...
И ястреб – тенью – наперехват.
Пули надёжнее, ветра быстрее,
Хищник натаскан на почтарей.
Он заходит сверху и бьёт,
Его задача – прервать полёт.
Птица камнем падает вниз.
Кажется – ни за что не спасётся.
Воздух свистит. Но не подвели
Крылья – раскрылись у самой земли.
Голубь так беззащитен и мал.
Голубь изранен, голубь устал.
Он не хочет уже ничего.
Но нечто сильнее и больше его
Изнутри подстёгивает, словно плоть:
«Надо лететь! Надо лететь!»*

*Бьётся – колотится в тесной груди:
«Долети. Пожалуйста, долети!»*

*Крыши домов, деревья, забор,
И – на последнем дыхании – двор.
У голубятни – дежурный бог:
Пилотка, винтовка, пара сапог.
И голубь падает к его ногам –
К время отсчитывающим шагам.*

*Дежурный сообщает в отдел:
«С весточкой сорок восьмой прилетел».
Тонкую ленту держа в руках,
Человек с неё считит весь пух и прах
И спокойно шифровку прочтёт:
Цифры и факты. Сухой отчёт.*

*Солнце садится за облачный край.
Разведгруппа, отстреливаясь, уходит
в рай.*

*И где-то там, в голубиной дали,
Крылья возносят всех от земли.*

г. Санкт-Петербург

177

Священник Сергей Адодин

*На непаханом поле замшелом
В землю намертво врыт целый полк.
Бесконечны под зорким прицелом
Три минуты, прожитые в долг.*

*В сонных жилах – осенняя дрожь.
Сорным травам не терпится в печь.
Из припасов – махорки на грош,
Из сокровищ – зазубренный меч.*

*Сверху падают смерть и вода,
В небо рвутся герои и сны.
Три недели как длится среда,
А четверг обещают с весны.*

*Третий Ангел играет зарю...
Тонок лёд, да повсюду полынь.
И под солнцем, куда ни смотрю:
Ни людей, ни твердынь, ни святынь.*

Мы потеряли одного
 В бою жестоком на чужбине.
 Пилот про Бога своего
 Сквозь зубы пел, горя в кабине.
 За ним, порхая и крутясь,
 Стальных ракет летела стая.
 Он уводил их, торопясь,
 В полнеба золотом блистая.
 А где-то детская душа
 Ждала, не веря некрологу,
 Смотрела в небо не дыша
 И за отца молилась Богу.

г. Кемерово

Нина Инякина

Юная девочка в платьице белом
 Тихо и скромно у стенки стоит.
 Ждёт, ну когда ж, этот мальчик несмелый
 В вальсе кружиться её пригласит...

Музыка звонкая мчится по кругу.
 Пары красивые в танце плывут.
 Девочка тонкая верному другу
 Руку и сердце доверила тут.

Тут, в этом зале большом танцевальном,
 Этих двоих повенчала судьба.
 Стал этот танец их первый

прощальным –

Парню на фронт протрубила труба.

Девочка стойко его проводила.
 В пору военную верно ждала.
 Эта любовь ему жизнь сохранила
 И от ранения уберегла.

...

Так и пришёл – без единой царапины –
 В мае победном в родимый свой дом.
 Эту легенду из жизни (из папиной)
 Мама не раз повторяла потом...

г. Кемерово

Андрей Степанов

ЗА МИНУТУ ДО ВЕЧНОСТИ

За минуту до вечности, чтобы ты
не обжёгся,
 На небе выключают звёзды.
 Наливают дождь сквозь оконную раму.
 И все ушедшие ранее друзья выходят
тебя встречать.
 Ты улыбаешься смущённо и говоришь:
«К вам я».
 Друзья обнимают, целуют, регистрируют
в местный чат.

Деление на праведников и грешников
довольно условно.
 Грешники делают то, что не хотели
делать на земле.
 Праведники излучают слово.
 А ты привыкаешь пить чай без сахара
 И узнаешь, каким сладким бывает чёрный
хлеб.

172

Время тянется медленно.
 А куда ему спешить? Время – оно
бесконечно.
 Ты становишься настойчивым, въедливым
 И постоянно ходишь смотреть,
 Что делают на земле те,
 Которые ещё не знают, что существует
вечность.

Ты смотришь за тем, как они ведут себя,
 Слушаешь, о чём говорят, о чём мечтают.
 Проверяешь по календарю, сколько
им осталось жить.
 А потом идёшь и звёзды выключаешь,
 Наливаешь дождь сквозь оконную раму
 И придумываешь ник для очередной души.

Всё это, возможно, несерьёзно,
 Но как же безостановочно пополняется
 местный чат.
 Знаешь, как это классно – не выключать
звёзды
 И никого не встречать.

ЗА ЛИНИЕЙ МАННЕРГЕЙМА

А за линией Маннергейма не рождаются
Гегели.

А за линией Маннергейма не осталось
гениев.

Только воют тоскливо овцы серые.
Да текут прегрешения откуда-то
с севера.

А китайцы кочуют за стеной китайской.
И летит им под ноги снег отчаянно
майский.

И летит им под ноги дождь бесконечно
слезливый.

А за линией Маннергейма все берёзы-ивы.

А в России холодно – не пугает.
Если снег идёт, значит зима живая.
Если русские плачут, значит победили.
А за линию Маннергейма мы уже ходили.

г. Астана

Екатерина Краснова

ПАРК ПОБЕДЫ

Подвиги великие Победы
Горожане в памяти хранят.
В этом парке пушки и ракеты
О былом задумчиво молчат.

Маршал Жуков – как отец солдатам,
Героизма доблестный пример,
В парке он командует парадом,
Гаубицей, танком, БТР.

Памятники труженикам тыла,
Пограничникам и КВВКУС –
Вера в них, надежда, мощь, и сила,
И побед неповторимый вкус.

Здесь художник свой пейзаж ваяет,
Глядя на крутые берега.
Речка Искитимка в Томь впадает,
Зыбко отражая облака.

Май, деревья бережно окутав
Первозданной зеленью листвы,
Отмечает россыпью салютов
День Победы – праздник той весны.

БОЙ

Война богата не крестинами,
И землю превратили в твердь,
Поля, засеянные минами,
Где урожаем только смерть.

Утих под утро треск эфира,
В рассвет, пронизанный стрельбой,
Убили первым командира,
– В атаку! – крикнул рядовой.

К полудню кончились патроны,
Начался рукопашный бой,
Взлетали каски и погоньи
Над обожжённую землёй.

Заката всполохи померкли,
Кто курит, кто навек почил...
И перебором в старой церкви
Охрипший колокол звонил.

г. Кемерово

Юлия Сычёва

Я тому дала бы орден, право,
Упрекай меня – не упрекай,
Кто собрать придумал ветеранов
В строгий строй «Бессмертного полка».

Нет сейчас их с нами, но почётно
Правнукам портреты их нести:
Старший пулемётного расчёта
Дед Иван, доживший до седин,

Баба Дуся, труженица тыла,
Баба Тося, медик фронтовой...
Наша память – это наша сила,
Как Иванов, знающих родство!

г. Кемерово

ПИСЬМО ПОТОМКУ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Здравствуй, хороший мой! Я – твой прапрадед Ожиганов Антон Аркадьевич. Ты прочтёшь моё послание, когда я уже окажусь для тебя в далёком-далёком прошлом. Мы с Оксаной, женой моей, хотим немного рассказать о себе, ведь нам выпало жить в сложное, можно сказать, огненное время. Я – офицер Управления Росгвардии. Сейчас январь 2025-го. Война идёт почти три года, и нет ей пока ни конца, ни края. Я недавно вернулся из тех мест, где люди хлебнули лишений и горя. И если в тылу многие легкомысленно относятся к тому, что происходит, не имея представления, что такое война, то там даже дети начинают понимать всё очень рано. Война – это когда ты сидишь дома, и вдруг начинают летать самолёты, и что-то взрывается. Когда гибнут люди. Когда нет уверенности в завтрашнем дне. Над тобой сейчас, я очень надеюсь, мирное небо! Знай, что в этом есть малая толика наших трудов и переживаний!

Ты спросишь, как я стал военным. Знаешь, наверное, у меня не было другого пути. Мой отец прошёл Чеченскую войну. И мама моя – женщина с твёрдым характером, отца во всём поддерживала. Дисциплину привили мне с детства. А рос я фантазёром отчаянным. Иногда фантазёрство было детской защитной реакцией. Где-нибудь набедокурю, а потом что-нибудь придумаю и выкручусь. Не хочется выслушивать упреки родителей. Мама, видя такие творческие наклонности, хотела определить меня в шоу-балет «Тодес». И я даже чуть-чуть жалею, что не попал туда. Отец настоял на спортивной секции. И я теперь благодарен ему. Я очень увлёкся спортом. Бокс, плавание, баскетбол. Высоких результатов, правда, не добивался. Но как родители, особенно папа, гордились, когда я попал в Школу олимпийского резерва и обгонял мастеров спорта по плаванию!

Отец часто приводил меня в воинскую часть, где служил командиром роты. Представляешь, я как будто стал сыном полка! Меня там знали, кормили, водили в баню. Я приходил туда, как к себе домой, и считал, что это лучшее место в мире! А с восьмого класса стал готовиться к поступлению в военный институт. За три дня до экзаменов родители спросили: «Может, ты хочешь в какой-то другой институт?», но обратной дороги для меня уже не было.

Знаешь, родной, бывают дни, когда мир переворачивается с ног на голову. Когда на страну обрушивается бедствие, нужно найти в себе силы понять, что происходит, и принять это. Таким судьбоносным и горьким стал для всех день 24 февраля 2022 года, когда началась специальная военная

операция на Украине. Кто как воспринял это известие. Моя Оксана испугалась: не дай Бог, война придёт в Россию. Страшно за дочку, за своих родных. Я воспринял спокойнее. К войне невозможно подготовиться. Она всегда наступает неожиданно, сколько к ней не готовься. Сказали: случилась беда. Ну, и всё. Нужно принять к сведению и продолжать работать.

И вот настал момент, когда и мне пришлось принять решение об отправке в зону спецоперации. Я вызвался поехать туда вместо другого военного, который по какой-то причине не смог. Это случилось в октябре 2023 года. Мне просто позвонили и сказали: надо. Нужно было побыстрее собраться, потому что на сборы отводилось несколько дней, а уезжать предстояло неизвестно куда и на сколько. Может, на три месяца, а может, и на полгода.

Хочешь узнать, как повёл себя мой отец? Он без колебаний поддержал меня и постарался обеспечить всем, чем только мог. Причём умудрился быстро приобрести в Новосибирске – а это другой город! – гуманитарную помощь на всё подразделение: плащ-палатки от дронов, аптечки и многое другое. Позже устраивал отправки для нас и в место несения службы. А когда ехали в поезде обратно и пришлось питаться едой типа «Доширака», неравнодушные люди однажды принесли на всё подразделение, а это 70 человек, шашлыки и люля-кебаб! И это тоже организовал мой папа.

Оксана моя при известии о предстоящей разлуке испытала ужас. Не хотела меня отпускать. Любимая, надо! Будем созваниваться почаще, говорить друг другу самые ласковые слова. Но привыкнуть к разлуке всё равно невозможно. Аришка, доченька, все эти месяцы разделяла с ней тревоги. Даже Кузька, наш любимец, домашний кот, нервничал, не мог понять, что происходит. Сколько раз было: услышит мой голос из телефона – начинает прыгать, кусаться, словно требует ответа: где хозяин?

Ты спросишь, было ли страшно?.. Человек привыкает ко всему. Поначалу – да. Едешь в неизвестное место, несёшь там службу. Дело даже не столько в страхе, сколько в том, что тебе доверяют личный состав, других людей. Ты ими командуешь. Это ответственность. Больше не страха, а ответственности ложится на твои плечи. Это была моя первая командировка, а люди уже в неё съездили не один и не два раза. Я у них учился. Они мне рассказывали, показывали. И я приобрёл там новые важные навыки. У меня появились новые друзья-товарищи.

Нам очень помогли посылки из тыла, ведь в военных условиях ничто лишним не бывает. Неизвестно, где сегодня окажутся бойцы и куда завтра поедут. И всё, что было нами построено, сделано, с собой не увезёшь. Гуманитарная помощь там очень много значит. Те же подушки, одеяла, да мало ли

что. Чай, кофе, печенюшки, шоколадки. Казалось бы, всё это мы могли купить в местном магазине. Но лишний раз туда не сходишь. Раскроем ящики с гуманитаркой, на всех разделим, хоть по чуть-чуть, но каждому достанется. И это греет душу. С собой в мешочек положишь шоколадку и идёшь на задание. Или консервы. Покушать там всегда хочется, одной перловкой и сухпайком не наешься. Сухпайк приедается. То, что повара готовили, – вкусно, но казённо. А хотелось и мяса, и рыбы поест. В гуманитарных посылках мы часто находили письма и детские рисунки. Обклеивали этими рисунками всю стену. И это было очень нужно. Ведь не всегда можно услышать по телефону родной голос, а тёплые слова прочитаешь – и уже как-то легче.

В тяжёлые минуты спасала вера в себя и своих товарищей, вера в то, что кто-то тебя дома ждёт, любит, надеется. А ещё на СВО я несколько раз ездил в церковь. Успокоить душу. Осознать, что делать дальше. Вроде навыки есть, голова на плечах, поддержка из дома, но чего-то сильно не хватало... Не своя территория, всё по-другому. Везде можно было ожидать какого-нибудь подвоха. Если в родном городе идёшь по улице и знаешь, что можешь встретить всего лишь пьянького, то там – кого угодно. Поэтому рано утром те, кто хотели, выезжали в церковь на службу. Я чувствовал, что здесь, в церкви, меня никто не достанет, я «в домике», можно чуть-чуть выдохнуть. Некоторые из наших причащались. У каждого крестик. Иконы у всех. У кого в кармашке, у кого в бронжилете. Я иконку из кармана не доставал – боялся потерять. Просто знал, что она есть. И это давало уверенность. Потрогал в кармане – лежит. Значит, всё хорошо.

Задачи нам там приходилось решать самые разные. Охрана общественного порядка – даже не основная. Есть поважнее. Всего не расскажешь. Часто невольно возникали аналогии с Великой Отечественной. Знаешь ли ты про подвиг нашего земляка Николая Масалова, который вынес из-под огня немецкую девочку? Нам тоже приходилось спасать, вывозить из опасной зоны детей, бабушек, дедушек, которые не могли передвигаться. Приходилось иметь дело и с вражеской агентурой. Порой местное население, которое воспринимало нас как освободителей, само рассказывало о появлении таких людей. Однажды местные мужики привели свя-

занного вражеского пропагандиста. Было трудно, опасно, но мысль, что кто-то должен охранять и защищать новые территории, мысль о будущей нашей Победе придавала силы. И после всего этого начинаешь совсем по-другому ценить жизнь.

Расставание было долгим, трудным, но случилось, наконец, и наша с Оксаной счастливая встреча. Мы считали дни и часы! Ведь вот как причудливо течёт время. Самыми долгими показались даже не месяцы разлуки, а минуты, когда опасность для меня уже миновала и я возвращался в свой город. Жена отпросилась с работы, звонила непрерывно: «Ну, где ты?» А я даже в управление не поехал: руководитель прислал машину, чтобы я сдал вещи. И сразу же повис горький вопрос: «Когда следующий раз?»

Хороший мой, что для тебя Родина? Думал ли ты об этом? Я бы в детстве сказал, что Родина – это мама, папа, дом. Но и сейчас для меня, взрослого человека, побывавшего на войне, Родина, в первую очередь, – это близкие, те, кто любит и ждёт. А уже после этого государство, политика, задачи, которые стоят. На СВО для меня Родина начиналась с тех людей, которые оказались рядом, с Алтайского края ли, из Бурятии ли – неважно. Поначалу я их никого не знал. Вот они для меня там и представляли собой Родину.

Размышлял ли ты когда-нибудь, что такое любовь? Как мне кажется, любовь – это прежде всего забота о том, кого любишь. А любовь к Родине – это забота о том месте и том народе, в котором ты родился и вырос. И эта любовь подразумевает под собой всё: защиту, охрану, служение. Когда ты отдаёшь, не требуя ничего взамен.

Учись анализировать и понимать жизнь, ведь не всё то правда, что говорят. Говорят-то многое, но надо уметь извлекать истину. Верь в себя. Люби близких. Защищай Родину. А в семье главное – любовь и поддержка. Она исцелит любое горе и даст веру в будущее. Пронеси эти наши с Оксаной слова через всю жизнь, и пусть они станут твоей силой!

Историю семьи Антона и Оксаны Ожигановых подготовили к публикации Юлия Модебадзе и Наталья Мурзина.
г. Кемерово



**Дмитрий
АРТИС**

НА ВОЙНЕ СЛУЧИЛСЯ МИР



*Вот он кот, вернее, Котик –
боевое существо.
Он уже не первый годик –
верный символ СВО.*

*Днём и ночью не смыкает
на посту зелёных глаз,
потому что охраняет
продовольственный запас.*

*На костёр поставлен чайник.
На войне случился мир.
Кто над чайником начальник,
тот и будет командир.*

*Тили-тили, трали-вали.
Знают все наверняка,
что солдату на привале
тяжело без кипятка.*

*Боевой товарищ Дима.
Позывной у Димы – Дым.*

*С детства Господом хранимый,
потому непобедим.*

*Пролетят осколки мимо,
мины Диму обойдут.
Иногда с улыбкой Диму
Дым Отечества зовут.*

*Из-за тучки выйдет солнце.
Танчик вражеский сгорит.
Русский воин улыбнётся,
благороден и небрит.*

*Он тебе не ради штампа,
как известное – привет, –
кинет дружеское: «Джамбо!»
«Джамбо!» – кинь ему в ответ.*

*Кто нахмурился спросонок,
смотрит строго сверху вниз?
Это маленький лисёнок.
Позывной лисёнка – Лис.*

176

Дмитрий АРТИС родился в 1973 году в Калининграде (ныне Королев) Московской области. Окончил Российскую академию театрального искусства и Литературный институт имени А.М. Горького. Поэт, драматург, театральный деятель. Печатался в периодических изданиях: «Другие берега», «Современная поэзия», «Российский колокол», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Нева», «Огни Кузбасса». Автор восьми книг. Принимал участие в защите Донбасса. Первый контракт: 78-й моторизованный полк СпН «Север-Ахмат» имени Героя России Ахмата Кадырова. Второй контракт: спецназ «Ахмат» (добровольческий отряд «Ахмат») под командованием Апты Алаудинова. Член Южнорусского союза писателей и Союза писателей Санкт-Петербурга. Живет в Домодедове.

Бой гремел вторые сутки...
Но лисёнок без забот
сладко спал в солдатской сумке,
а теперь проснулся. Вот!

Засветло в минувший вторник –
после боя у реки –
взяли вражеский опорник
русские штурмовики.

Хорошо работать в паре –
Можно сделать больше дел.
Это знают наши парни
с позывными Чип и Дейл.

Лети-лети лепесток
через запад на восток...

«Цветик-семицветик», сказка
Валентин Катаев

Девочка,
исполненная зла,
цветик-семицветик
сорвала,

и бросая
к небу лепесточки,
говорила: «Это лишь
цветочки...»

Сказка – ложь,
известно наперёд,
в жизни всё идёт
наоборот.

Целый день
в испуганном Донецке
всхлипывает улица
по-детски.

Крыльями
отбросив костыли,
мальчик оторвался
от земли.

Под собой
не чувствуя дорогу,
стал теперь намного
ближе к Богу,

потому что
снова на восток
прилетел сегодня
«лепесток».

Дома спит спокойно кошка,
пёс гоняет комара,
только маленький Алёшка
на посту стоит с утра.

Он одет не по гражданке!
Встретив Русскую весну,
провожает наши танки
на Священную войну.



ЖУРНАЛ ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Названия литературных журналов «Новый мир», «Дружба народов», «Отчий край» находятся в одном семантическом ряду. То есть имеют смысловое родство. И мир новый, и народы дружат, и край этот дорог, потому что он отчий, он отца.

Но главное всё же вот что...

Литературные журналы – «толстяки», как их называют – это, прежде всего, культурные институты. Они неотделимы от времени, в котором существуют. Литературные журналы должны пройти проверку этим самым временем; печататься в них престижно, появление публикации в «толстяках» означает, что к автору пришло признание. Бесспорно, литературные журналы должны соответствовать высоким требованиям. В полной мере всё это относится и к «Отчему краю», основанному в 1994 году.

Первый номер вышел трехтысячным тиражом. Читателя предуведомляло следующее вступление:

«Дорогой читатель!

В твоих руках – первый номер литературно-художественного иллюстрированного журнала «Отчий край», учредителями которого являются Волгоградские отделения творческих Союзов Российской Федерации. А издателями – Комитет по печати и информации областной администрации и акционерное общество «Ведо».

Программа журнала органично связана с его названием и целиком подчинена ему. Главная цель издания – возрождение духовности и культуры отчего края во всех ее разновидностях, включая как профессиональное, так и народное творчество.

Наш журнал ориентирован на читателя, любящего свой край и интересующегося его культурой, историей, бытом, традициями, природой, жизнью городов, станиц, хуторов и народов, населяющих его, прошлым и настоящим Волгоградской области.

Журнал должен стать своеобразной культурно-краеведческой энциклопедией края.

Мы надеемся, дорогой читатель, на твою активную поддержку нашего начинания. И ждем от тебя материалов, которые или были, или могли бы стать документами эпохи».

В редакционный совет первый главный редактор Виталий Смирнов пригласил Льва Букова, Аркадия Высоцкого, Александра Вязьмина, Бориса Екимова, Александра Захарченко, Владислава Ледяшова, Ларису Молоданову и Владимира Овчинцева.

Трудно переоценить роль Бориса Петровича Екимова: самый именитый писатель земли Волго-

градской, современный классик, чьи произведения изучаются в школах и включены в Президентскую библиотеку, предложил привлечь в журнал не только волгоградских писателей, но и известных литераторов со всей России. Так отражались бы все тенденции в литературном процессе, а местные писатели не замыкались бы исключительно в своей, пусть и творческой, среде. Концептуально и организационно это в полной мере удалось реализовать в «Отчем крае» лишь после 2020 года.

Но вернемся в 1994-й.

Время было выморочное. Журнал появился вопреки всему. Никак не сочетался с той информационной чумой, что заполонила страницы массовых изданий. Поистине, «Отчий край» – это журнал во время чумы! Как тут не вспомнить слова Председателя из «Пира во время чумы» А. С. Пушкина?

*Всё, всё, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья –
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать мог.*

В 2016 году выпуск «Отчего края» в печатном виде был прерван. Журнал стал выходить в сетевом формате. Номер «Отчего края», приходящий к читателю ежеквартально, – это книга объемом в 256 страниц с иллюстрациями одного из лучших российских художников-графиков Вадима Жукова и фотоработами Евгения Гудименко.

Среди авторов – современный классик Борис Екимов, известные российские писатели: Анатолий Ким, Станислав Куняев, Владимир Крупин, Александр Проханов, Михаил Тарковский, Евгений Лукин, Роман Сенчин, Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, Андрей Антипин, поэты: Игорь Волгин, Юрий Кублановский, Евгений Рейн, Николай Зиновьев, литературные критики Павел Басинский, Александр Балтин, Олег Куимов, Андрей Рудалёв, Иван Родионов, а также ученые волгоградских вузов, искусствоведы, знатоки музыки, театра и живописи, краеведы и документалисты.

Дело первого главного редактора Виталия Борисовича Смирнова живет и крепнет. Его именем названа главная журнальная премия.

Журнал – лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград», Государственной премии Волгоградской области, премии имени Виктора Канунникова.

Редакционный совет журнала «Отчий край»

**ВЕРБА
(Юлия АРТЮХОВИЧ)**

**В СТАЛИНГРАДЕ,
КАК ПРЕЖДЕ,
СОХРАНИЛИ ЦВЕТЫ**



НЕ ПИШИТЕ О ВОЙНЕ ТОРОПЛИВО!

Не пишите о войне торопливо,
Если память не висит тяжким грузом:
Вы не видели, как в грохоте взрыва
Небо лопается алым арбузом.
Не пишите о войне – вы не дети,
Чтобы строчками палить вхолостую.
Вам не больно. И никто не ответит
За придуманную байку пустую.
Не пишите, молодые, вам рано
Знать обугленную правду седую.
Пусть напишут те, кто старые раны
Опалёнными стихами бинтует.
Неподвластна вам военная лира –
Не по чину, не к лицу, не по росту.
Напишите о любви и о мире.
Это будет справедливо и просто.

СИРЕНЬ ПОБЕДЫ

Тёплый ветер весенний расшалится
в ночи,
Мокрой веткой сирени к нам в окно
постучит.
В Сталинграде, как прежде, сохранили
цветы

Сладкий запах надежды, горький привкус
беды.
В светлый праздник Победы у притихшей
реки
Залп салюта по ветру разметёт
лепестки.
Вновь сирень Сталинграда влажной
гроздью дрожит.
Продолжается праздник – продолжается
жизнь!

179

В РИТМЕ ТАНГО

Взрыв фугаса хриплым басом
Грянул громом в окна дома
И затих с протяжным стоном.
В странном танце в ритме танго
Дом качался и ломался,
Как коробка из картона.

Неумело сбросив тело,
Из развалин выплывали
Наши души на рассвете.
Над телами-кандалами
В странном танце в ритме танго
Их кружил горячий ветер.

ВЕРБА (Артюхович Юлия Васильевна) родилась в г. Грозном в 1955 г. Окончила филологический факультет Чечено-Ингушского государственного университета. Прошла чеченскую войну. Работала редактором, преподавателем колледжа, вуза. Доктор философских наук, профессор. Автор около трехсот научных и художественных публикаций, в том числе – одиннадцати книг стихов и прозы. Публиковалась в литературных журналах: «Наш современник», «Российский колокол», «Отчий край», «Перископ», в «Литературной газете», «Новых известиях» и др. Лауреат литературной премии имени В. Б. Смирнова «Отчий край», награждена золотой медалью В. Шукшина. Член Союза писателей России. Живет в Волгограде.

Как красиво в вихре взрыва,
В ритме танго странный танец
Наши души танцевали!
Им вдогонку из воронки
Мы смотрели, и горели,
И за них переживали.

Как их встретят на том свете
Утром ранним? Вдруг им станет
Страшно, холодно и стыдно?
В странном танце в ритме танго
Души тают, улетают –
Их почти уже не видно.

Я долго не писала о войне:
Слова рвались и в горле застревали.
Хранить молчанье приходилось мне
И прятаться у памяти в подвале,
Где я когда-то, много лет назад,
В толпе больной, от ужаса кричащей,
По капле собирала горький яд
В страданием наполненную чашу.
И этот страшный боевой трофей
Из памяти – обугленной воронки –
Скрывала я от Бога и людей
Под сердцем. Словно мёртвого ребенка.

ЧЕРЕЗ «ЛЕНТОЧКУ»

Через «ленточку», через границу
Мчатся вдаль перелётные птицы:
Через злую кровавую небыль –
В безграничное общее небо.
Через «ленточку» тайной тропой
Ходит кошка с нелёгкой судьбою:
Дом остался в глубокой воронке,
И хозяин давно похоронен.
Пробирается через границу –
Как войны перелётная птица.

Не боится, что люди увидят.
Знает кошка: её не обидят.
Тут Дмитро ей из личных запасов
Наберёт молока и колбаски.
Если кошка добавки захочет,
Даст Мыкола ей сала «шматочек».
А за «ленточкой» Саша и Петя
Кошку кашей с консервами встретят,
И накормят её, и поглядят,
Спать уложат на мягком бушлате.
Растянувшись в тепле у окошка,
Удивляется общая кошка,
Что хорошие, добрые люди
Почему-то друг друга не любят...

СТИХИ

Стайка рифм вспорхнёт и умчится прочь...
На измятый лист, где столпились

строчки,

Из небесной чаши прольётся ночь
И расставит звёзд золотые точки.
Россыпь слов случайных прочтёт луна,
Озарит сиянием-перламутром.
А стихи заблудятся в долгих снах
И уже не вспомнятся мне под утро.

МАЭСТРО

Пролетая на крыльях джаза
Над землёй, усталой и пыльной,
Душу рвёшь и тревожишь разум
Звуком чистым, густым и сильным.
Ты – волшебник: святой и грешный,
Ты вне времени и закона.
Можешь вызвать плач безутешный
Или томный стон саксофона.
Будут звуки жарко и тесно
Биться в памяти днём и ночью...
Так играй же, играй, маэстро!
Чтобы сердце и душу – в ключья!

150



**Александр
ЛЕПЕЩЕНКО**
РАССКАЗЫ



ЕДИНСТВЕННЫЙ ЗАКОН МУЖЧИНЫ

Мысли разбегаются, словно мыши: «Бабушка захворала, говорят, очень плохо...» Странно, но я не могу представить ее, Раису Алексеевну Безрукову, хворой – такой человечнице не может слечь! Нет, я не вижу в ней героя, я в ней люблю человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милую, ласковую хозяйку.

Как это у классика? «Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? Или воспоминание – самая сильная способность души нашей, и им очаровано всё, что подвластно ему?» Думаю, всё дело опять же в бабушке. Ради нее отложил я работу над большим романом, не попрощался со столицей и маханул за тысячу верст.

Судьба ее скромная, но не бедненькая и верхоглядная, потому как просмолена жизнью. Когда бабушка попросила меня порыться в архивах и написать рассказ о ее отце, моем прадеде Алексее Николаевиче Калининe, я не мог отказать. Взялся за работу истово, и, пока писал, помнил ее слова: «Алеша, прадед твой знал один-единственный закон мужчины – честь. По-расскажи о нем, пока я жива...»

151

Я дал ей слово, и рассказ этот вскоре был написан. И теперь я спешил с ним к бабушке. Вот только прочла она его уже в больнице...

Юрка с силой пригладил непокорный светлый вихор и стал похож на ангелочка с немецкой почтовой открытки: таких много появится после войны, солдаты будут привозить их домой как трофеи. Но этого одиннадцатилетний ребенок не знал, и никто еще не знал. Шел только 1942 год...

– Юр, ты бы покушал, – позвала мать.

Мальчик отложил карандаши, оценивающе оглядел рисунок и, довольный тем, что успел его закончить, пошел завтракать.

От скудной еды в животe болезненно крутило. Не хотелось вставать из-за стола, но лепешки из горчичного жмыха кончились. Юрка никак не мог понять, отчего они такие горькие, ведь еще год назад мама пекла совсем другие. Сестра Рая объяснила ему, что они будут прежними, сладкими, когда домой вернется отец. Юрка немного успокоился и стал ждать.

Отец был командиром. Мальчик знал это по рассказам старшей сестры и редким письмам, приходившим с войны. Последнее письмо Кали-

ЛЕПЕЩЕНКО Александр Анатольевич родился в 1977 году. Член Союза писателей России и Союза журналистов России, директор Волгоградской областной научной библиотеки имени М. Горького, председатель редакционного совета журнала «Отчий край». Финалист премии имени В. Г. Распутина, лауреат Государственной премии Волгоградской области, журнала «Российский колокол» и др. Автор повестей «Монополия», «Магнум, прощай!», романов «Смерть никто не считает», «Владимир Необходимович» и других прозаических книг. Публикуется в российских и зарубежных журналах. Живёт в Волгограде.

нины получили два дня назад. Мама и Рая читали его несколько раз вслух и плакали. Юрка хорошо запомнил, что папа пять дней болел гриппом, что переехал со своими солдатами в степь, живет в палатке, что в Сталинграде продают огурцы, вишню и хлеб. А еще отец просил Юрку написать ему хотя бы короткий ответ. Мальчик рассудил, что рисунок отцу понравится больше...

Бывший директор Степновской МТС, а ныне политрук 536-й отдельной автороты подвоза Алексей Николаевич Калинин пытался попасть на фронт с первого дня войны, однако партийное руководство отказало: «Вы коммунист и нужны здесь, в тылу...» Но вот пал Севастополь, обескровивший лучшие немецкие дивизии, пала Керчь, провалилась Харьковская операция, не отстояли Ростов, и стало ясно, что не минует война и Сталинград. Калинин принялся осаждать райком еще настойчивее и наконец-то получил добро.

Только ли роковое приближение врага заставляло его встать в строй? Другим Калинин говорил, что должен так поступить, себя же укорял: «Пятаки медные гну, никто их распрямить не может. Мне на фронт бы, а я тут с бабами в колхозе, трактора чиню!»

Летом 1942-го город на Волге напомнил Алексею Николаевичу Самарканд, где он служил когда-то срочную: людские потоки, до краев наполнявшие улицы, бурлящие, шумные рынки. И хотя эвакуация еще не началась, чувствовалось, что город этот прифронтовой. Кое-где на окнах домов и в витринах магазинов белела светомаскировка, временами выла сирена, предупреждая о воздушных налетах. Немцы настойчиво бомбили тракторный завод и его поселок.

К пронзительной сирене Калинин вскоре привык и перестал ее замечать. Рота получила машины, обмундирование, пополнилась людьми. Из всего личного состава роты повоевать успел только ее командир – старший лейтенант Добровольский. Он недавно выписался из госпиталя и слегка прихрамывал.

Командир и политрук были одногодками, оба родились в 1902-м, окончили ремесленные училища, до войны работали на земле. Война... Им казалось, что прошла целая вечность, как она началась, а они ничего еще не сделали.

– Иван Дмитрич, я завтра думаю собрание комсомольское провести. Разреши бойцов с работы на час снять.

– Конечно, политрук, действуй.

– И вот еще что... Надо бы до отправки на фронт принять кандидатов в партию. Как считаешь, командир?

– День нужно выбрать... Ты, Алексей Николаевич, пока документы подготовь.

Торжественное вручение партбилетов пришлось отложить. Был получен приказ срочно выдвинуться в составе дивизии в район Суровикино и закрепиться.

Авиация не прикрывала автоколонну, а отсутствие лесов затрудняло маскировку. В назначенный район рота прибыла уже с потерями: от прямого попадания бомбы на куски разнесло машину с боеприпасами, еще одну «эмку» изрешетил на переправе через Дон немецкий истребитель. Он пролетел так низко, что Калинин разглядел на его фюзеляже оскалившуюся волчью пасть...

День выдался тяжелый. Погибло семь человек из первого взвода. Вечером Алексей Николаевич подготовил политдонесение. Всего десять строчек. Больше не смог. В донесении не было холодных казенных фраз: «морально-политическое состояние», «потери подразделения». Политрук написал эмоционально – как человек, переживший личную трагедию. Все погибшие утром красноармейцы за полтора месяца службы стали ему родными.

События последующих дней приглушили боль утраты. Передовые отряды 181-й стрелковой дивизии вели разведку, саперы готовили огневые позиции. Бойцы автороты тоже выполняли свою задачу: доставляли вооружение и провиант на передовую, перевозили раненых в тыл.

Алексей Николаевич похудел и казался выше ростом. Гимнастерка на нем истерлась и выцвела. От нещадно палящего солнца лицо стало темным, землистым. Возле губ пролегли глубокие морщины. Увидев этого осунувшегося человека, ни Катя, ни дети, наверное, не узнали бы в нем отца и мужа. Не изменились только глаза. Умные, ясные, они лучились теплым спокойным светом.

В отличие от некоторых других командиров, спокойствие Калинина было не только внешнее, но и внутреннее, совершенно безыскусственное. Красноармейцы говорили, что их политрук отчаянный человек. Нет, он не стоял на окопе, когда поблизости рвались снаряды, не лез, как сорвиголова, и под пули, но если требовалось проскочить смертельно опасный участок дороги, поли-

трук сам сажился за руль. Он просто старался выжить и учил этому солдат: «Если вы бесцельно погибнете, какой в этом толк?»

22 июля вечером во время артобстрела на КП тяжело ранило Добровольского.

– Ты не умрешь, Ваня! – впервые Калинин назвал командира по имени.

– Политрук, продержись! Слышишь? – кричал Добровольский.

– Все будет хорошо, ты поправишься...

Алексей Николаевич говорил это, потому что в подобных случаях так говорили всегда. Но все же была надежда: «А может, действительно все обойдется, все будет хорошо?» Старший лейтенант Добровольский до утра не дождался...

Бойцы вырыли могилу на правом берегу бойстрой Лиски.

– У кого винтовки, залп в воздух! – приказал Калинин.

Он перезарядил карабин и выстрелил вместе со всеми. Короткий залп прозвучал сухо.

– Теперь засыпайте.

Политрук отвернулся от могилы, не желая видеть, как комья глины будут ударяться о тело человека, который еще вчера был полон сил, был его командиром и другом...

Стояли первые дни августа. Раскаленное белое солнце по-прежнему жарило людей. Степь казалась совершенно выбитой, коричневой с серым.

Наши самолеты появлялись редко. Сегодняшнее их появление приковало внимание каждого. Бойцы автороты злорадно наблюдали за воздушной схваткой: два краснозвездных «ЯКа» прижали к земле «Юнкерс-52» и зажгли его пулеметными очередями. Немецкий транспортник, окутанный клубами черного дыма, рухнул, не дотянувшись до своего переднего края. Пока самолет не взорвался, солдаты успели вытащить из него несколько почтовых мешков и планшет с документами, который был у погибшего офицера связи.

Политрук неплохо знал немецкий (языковые курсы за-ради довоенной мечты об учительстве сподобили), поэтому, прежде чем передать документы в полковую разведку, внимательно изучил их. Просмотрел он и содержимое почтовых мешков. Грязно-зеленые, брезентовые, они были туго набиты письмами и открытками. На одной из открыток вместе с белокурой дамой красовался эсэсовец с аттическими усиками. Пара сидела в плетеных креслах на берегу моря, улы-

балась и пила из высоких бокалов вино. Тисненая золотом надпись гласила: «Крым – курортный рай Германии».

Калинин выругался: «Будет вам, сволочи, рай!» Алексей Николаевич читал письма и убеждался, что солдатам фюрера страшно, что им не хочется умирать в далеком неведомом Сталинграде. Многие из них просили своих жен и детей писать почаще. Калинин припомнил, как и он месяц назад просил Юрку написать ему. Сын тогда прислал рисунок... «Юра, Раечка, Катя... Как они там проживают? – спросил сам себя Калинин. И сам себе ответил: – Ничего, всё нормально, они в безопасности».

Алексей Николаевич закрыл глаза и попытался представить, как было все до войны: вот он познакомился со своей будущей женой, вот он радуется рождению Раи... Образ сына вызвал у него невольную улыбку. Он вспомнил, как однажды Юрка привел домой соседского мальчишку Фимку и стал показывать сома, купленного у рыбаков. Совершенно не смущаясь, сын поведал приятелю, что диковинная рыбина служила в извозчиках у водяного черта, якобы живущего в Резницкой Воложке. Перепуганный Фимка расхныкался и убежал, а Юрка улюлюкал вслед...

Голос дневального вернул Калинина к действительности:

– Товарищ политрук, вас офицер из штаба полка спрашивает.

– Пропусти его, Петренко.

Через минуту в блиндаж боком втиснулся огромный, наголо остриженный мужчина.

– Капитан Туча, полковая разведка, – представился офицер.

– Садитесь к столу, – пригласил Калинин.

Туча посмотрел на скамейку, как бы примеряя ее под себя, и осторожно сел.

– Мы получили документы из сбитого самолета, спасибо... Скажите, политрук, вы их читали?

– Да, читал.

– Как полагаете, это не деза?

– Думаю, нет... Немцы могут окружить дивизию.

Штабист задал еще несколько вопросов и ушел.

Мощная артиллерийская канонада доносились с севера и юга: 6-я немецкая армия под командованием Паулюса наносила удары по флангам советских войск, оборонявших Сталинград с запада. Рота Калинина попала в окруже-

153

ние. Впрочем, в столь же тяжелой обстановке оказалась и вся дивизия.

Серия разрывов обрушилась неподалеку. Политрука засыпало землей, и он мгновенно оглох. В голове застучали сотни маленьких молоточков. Когда бомбежка закончилась, и люди стали приходить в себя, они увидели множество вздыбленных догорающих остовов. Это всё, что осталось от ротных грузовиков...

Калинин решил выходить из окружения. Днем это было невозможно из-за непрекращающихся налетов немецких истребителей и штурмовиков, поэтому политрук повел бойцов ночью. Они двинулись на Калач. Усталость навалилась на людей, словно тяжелая невидимая шинель. В их глазах читался вопрос: «Когда всё это кончится, когда перестанем отступать?» Политрук чувствовал вину перед солдатами: он считал, что если бы ими командовал не он, а кто-нибудь другой, всё могло сложиться иначе...

Дон, изрытый свинцовыми волнами, встретил людей неприветливо. Старик, живущий рядом на разрушенной ферме, удивлялся, что в это время года река так неспокойна. Из бревен, принесенных с фермы, бойцы связали несколько плотов. Несмотря на непогоду, ночная переправа прошла без осложнений.

Рота немного передохнула на левом берегу и двинулась дальше. На рассвете ее дозорные наткнулись на румын.

Калинин приказал младшему лейтенанту Ефремову ухаживать ранеными, а сам вместе с тремя добровольцами остался, чтобы принять бой.

– Петренко, сколько у тебя патронов?

– Три диска, товарищ политрук.

– Постарайся их экономить, Вася, и обязательно выживи.

Пока бойцы окапывались, Алексей Николаевич выбрал позицию для второго пулемета и залег с ним у дороги. Гранаты-«лимонки» он разделит между всеми поровну.

Два часа продолжался бой четырех красноармейцев и передового отряда румын. Вся дорога и склоны кургана, где зарылись советские солдаты, были усеяны телами врагов. Обезумевшие от ярости румыны перли вперед, уже не прячась. Калинин с остервенением строчил по ним из пулемета. И продержался политрук из наших бойцов дольше всех, погиб последним. Расстрелял все патроны, поднялся. А когда к нему приблизились торжествующие захватчики, взорвал гранату...

Глаза Калинина были открыты, они не лучились теплым спокойным светом. Налетевший с Дона ветер пытался прикрыть их, но у него ничего не выходило: политрук, словно живой, оглядывал так и не взятый врагом курган.

– Человек, Алеша, способен выпрямиться во весь рост, – растроганно сказала бабушка. – Спасибо тебе за рассказ.

Я стал говорить, что боялся наклеветать на жизнь, но бабушка прервала меня:

– Милый, у тебя всюду русские эти лица, степь, небо... Даром, в избытке распростертое над ними... Ты понимаешь, о чем я?

И я понимал, чувствовал: она уходит далеко-далеко... Я позвал врача, но помочь бабушке он уже не мог. Откинувшись на спинку больничной койки, разбросав руки, она уставилась в синь за окном.

МЕЧТА МОЛОДОГО БЕЛЬСКОГО

После гибели Степана Елагина дед Василий стал опекать Настасью – люди говорили, он вину чувствовал перед ней. Многие помнили, как в тот злополучный год, на Пасху, дед ушел из церкви.

Слух выскочил, будто бы старинная примета совпала: колдун к алтарю спиной поворотился, потому что не выдержал «Воскресни!» Мать Настасьи, Тамара Дмитриевна, всему селу тогда дула, что «отступник вин... кровь козлию и тельчию в жертву приносэ Велиару». Дочь не верила, что дед ее мужа уморил, знала: это браконьеры невзлюбили неговорчивого инспектора, подкараулили и убили...

Степан погиб осенью, а в зиму не стало матери, вот дед и взял, как говорили, «шефство» над Настасьей. Злые языки много чего еще говорили, но на то они и злые, чтоб не верить им. Настасья Млечко крепко задружилась с дедом, носила себя бодро и умом стала необъятна. Между ними велись душевостребованные разговоры.

«Побоговать бы еще, порадоваться внучке... Она в газете будэ писать», – делился с Настасьей дед.

Василий Степанович Крещевников вспоминал и фронтовую жизнь, свое ординарство у Тихона Бельского. Настасья его истории много раз слышала, дивясь умению деда передавать их в таких ярких красках. Одну из историй она осо-

бенно полюбила. Однажды старик решил порадовать гостью и вновь рассказал ее...

Ушел косматый туман. Обнажил фронт стылый октябрьский рассвет. Из-за Волги чавкнули пламенем «катюши» и перемололи смерчевым вихрем разрывов овраг Банный, перемололи вместе с немецкой ротой, изготовившейся к атаке. Всё, что уцелело живое, вжалось в горелую, дымящуюся землю. Серые нахмуренные танки, осиротев, поползли назад без автоматчиков.

Валентин Орлянкин снимал «лейкой»-кинокамерой, пока танки пятились, буровя овраг гусеницами.

– Покури, сынок, а то волчье племя отдыхается и снова поперет, – тронул кинооператора за рукав шинели пожилой, с перебитым багровым носом, солдат.

Он перекрестился, облизнул растрескавшиеся землисто-серые губы и сказал: «Мне пятьдесят два, сынок. Я прошел гражданскую и финскую, а не видал того, что за десять дней повидал в Сталинграде».

На другой день кинооператор Орлянкин снимал в штабе 13-й гвардейской дивизии и услышал от своего друга Тихона Бельского почти те же слова: «Знаешь, в свои двадцать восемь я жизни еще не видел, а смерти посмотрелся вперед на полвека».

Начальник штаба дивизии майор Бельский – признанный и дерзкий специалист по военным действиям в условиях города. Это его рисованные карты рассматривал теперь Валентин Орлянкин на засыпанном бумагами столе. Бельский наносил на карты и схемы задуманные им варианты ведения боя в квартирах и подъездах, в подвалах домов и цехах, в канализационных магистралях города и даже в баках нефтехранилищ. Безусый, с голубыми, согревающими собеседника глазами и маками на щеках, за что прозвали его здесь «красным молодцем», он не терпел хамства и пугающе бледнел, если офицеры бражничали или распускались.

– Валентин, – оторвался от карты Бельский, – вот ты, рискуя каждый день жизнью, делаешь съемку боев. Но зачем ты расходует пленку на ненужные кадры быта? Теперь и меня зачем-то снимаешь...

– Чертовская твоя небесная душа, в самое яблочко угодил... Вот заметь: ты будто не с картой работаешь, а с полотном. А солдаты? Сол-

даты приносят из руин разную утварь, мебель, посуду, детские игрушки. На кой вам все это надо? Молчишь? Не постигаешь? А я так мыслю: этими поступками вы все словно говорите, напоминаете самим себе о мирном и покинутом доме. И я стараюсь запечатлеть эти неповторимые мгновения.

Гм, однажды в землянке я заснял огромную обшарпанную кровать с никелированными шарами. Когда-то такие кровати были символом обжитых старых квартир. Так вот, поперек этого «символа» на голой металлической сетке крепко спали шестеро бойцов из разведки. Позже я заснял их вторично, когда, уходя на задание, долго оправляли они маскировочные комбинезоны перед резным, поставленным прямо на берегу зеркалом-трюмо. Как разведчики дотащили его сюда из города, одному Богу известно! А ты говоришь, зачем расходую пленку...

– Валя, а помнишь, еще в школе, до войны, мы с тобой мечтали?

– Да-а-а, мечты были... Суриковский холст, передвижники... Ты хотел великим художником стать.

– Может, еще стану, а?

– Может быть. Ты способный... Но скажи лучше, Тихон, чей это женский портрет ты повесил у себя в блиндаже?

В маленьком зеркале на стене Бельский встретился с собою, словно с посторонним, покраснел и взглянул на портрет. Небольшой, всего тридцать на сорок сантиметров, он притягивал взгляд.

Красоту девушки можно было бы назвать классической. Ее волосы, глаза, шея словно говорили, что природа не ошиблась ни на йоту. Орлянкин глядел на портрет и думал: «У настоящей красавицы должен быть именно такой прямой, с небольшой горбинкой нос, такие темные миндалины глаз, такие же длинные ресницы, такой же пылающий взгляд, черные волосы и брови».

– Мечта, да, пожалуй, это моя меч... – хотел получше объяснить Тихон, но осекся. Лицо его задрожало нервическим оживлением каждого мускула. – Только смертушка отступит, как бойцы уж двухрядку вынимают да веселые песни затягивают, но самим тоскливо и тошно: жены и подружки их далеко. А у молодых и вовсе их нет. Вот и я не успел ни полюбить по-настоящему, ни ожениться, как говорит наш комиссар...

Живое страдает болью, она и заставила Тихона улыбнуться.

– Клименко Варя это, – скривил он по-детски губы и начал повествовать.

В середине июля 13-ю гвардейскую орден Ленина стрелковую дивизию впервые за год непрерывных боев разместили за двести километров от фронта, по оврагам и балкам приволжской степи, частично расквартировали по селам.

По фронтовым меркам, в дивизии осталась лишь четверть активных штыков. Остальные бойцы или томились по госпиталям, или полегли на оборонительных рубежах от Харькова до излучины Дона. Даже из командиров полков ни одного не осталось в строю: трое были ранены, а один убит.

Перед тем как дивизии отправиться на пополнение, в штабе Сталинградского фронта представитель Ставки очертил красным карандашом на карте овал, охвативший Камышин и Николаевку, и сказал:

– Вот здесь, Родимцев, и отдыхай со своим войском.

Боевой генерал устало посмотрел на красный овал с голубой полоской Волги и спросил:

– А долго отдыхать-то?

– Когда надо будет, позовем.

Так Родимцев и «отдыхал» до 9 сентября – с уцелевшими офицерами принимал пополнение. Распределял так, чтобы каждому достались и бывалые воины, и необстрелянные еще юнцы со школьной скамьи, и пожилые, только что оставившие колхозное поле или заводской цех.

Днем выезжал на стрельбища, проводил занятия или совещания, а по вечерам возился с документацией, выступал на комсомольских и партийных собраниях.

В один из таких дней Александр Ильич и услышал звонкий голос нового начальника штаба:

– Товарищ генерал-майор, майор Бельский прибыл в ваше распоряжение!

Родимцев отложил донесение и посмотрел внимательно: перед ним стоял совсем юный офицер. У него было приятное открытое лицо, светившееся веселой улыбкой.

«Не слишком ли молод для должности начальника штаба дивизии? – усомнился комдив. – Справится ли?»

Сомнения рассеялись уже в ближайшие два-три дня.

Тихон Владимирович сразу вошел в жизнь дивизии, стал как начальник штаба решать многие важные вопросы...

Тихон шел устраиваться на квартиру. На его

запыленных яловых сапогах чернели влажные крапины. Морось усиливалась. Синевя над Николаевкой чужела, уходила вдаль, а вместо нее мчалась косматая облачность. Медно-желтые зарницы вспыхивали на отекающем дождем небе. Гимнастерка Тихона приклеилась к плечам и спине. Пока Бельский дошел до конца улицы, ливень оборвался. Курчавым пушком забелели на очистившемся небе облака. Поплыли они в синей омутной глубине то ли парусниками, то ли журавлями. А чуть ниже пурпурная, с зелено-оранжевым отливом радуга огромной подковой уже навесилась над слободой.

С бахчей потянулись бабы в пестрых платках. Босой, коричневый от слободского солнца мальчишка загонял с улицы корову. Тихон встретился с ним у калитки:

– Привет! Квартира Клименко здесь будет?

– А ково, дядь, надо-то?

– Галину Ивановну, хозяйку.

– Нема-то маманьки, за кавунами пошла.

– Тогда подожду ее.

– Может, сеструшку Варьку зазвать? – сверкнул глазами мальчик.

Варя услышала разговор Павки с незнакомым человеком и вышла из дома.

– Здравствуйте, – поздоровалась она за себя и брата. – Вам зачем мама?

«Коса ее – словно добрая плетка», – залюбовался Бельский. Он молчал, пораженный красотой девушки. Потом зачем-то спросил: «Так вы – Клименко Варя?»

Вечерять сели, когда с бахчей вернулась мать. Время от времени Галина Ивановна трогала маленькую седую голову черными, разбитыми от работы руками. Натруженная, издерганная, она плохо помнила себя. Варя наливала чай.

– О вас, Тихон Владимирович, мне комендант нынче сказывал, так что проживайте у нас в дому сколько потребуется. Мы потеснимся трошки.

– Благодарю, Галина Ивановна!

Сутолочь будней захватила Бельского. Он тщательно отладил механизм работы штаба, лично познакомился со всеми офицерами дивизии, лучше узнал Родимцева.

С веселой хитринкой в глазах, молчаливый, но при хорошей шутке взрывающийся бурным смехом, Александр Ильич и сам мог пустить колкую остроту. Бельский и Родимцев с первых же дней прониклись друг к другу взаимной симпатией и доверием.

– Как, Тихон Владимирович, полагаешь: побьем мы фашистов, не сдадим Сталинград?

– Побьем, товарищ генерал. Как и все наши офицеры, я уверен в этом. Скорей бы только в город попасть...

– Попадем, недолго осталось ждать. Позавчера я выезжал в Энгельс и разговаривал по прямой связи с Верховным... Товарищ Сталин сказал, что на днях из Ставки приедет генерал Иванов проверять готовность дивизии. А это, Тихон, означает, что нас вот-вот отправят ратоборствовать. Армии в Сталинграде сейчас тяжело. Кроушку она там большую льет...

Варя стала замечать, что каждый вечер с волнением ждет возвращения постояльца, что в сердце ее поселилась необъяснимая щемящая тревога.

Подметила перемену в дочери и Галина Ивановна:

– Чтой-то ты, Варюша, последнее время сама не своя? Али в госпитале не управляешься с ранеными?

– Да нет, мам, я прежняя, и госпиталь тут ни при чем, – пыталась Варя разубедить себя и мать и оттого еще больше путалась в мыслях, не понимая зародившегося в ней чувства.

Девичья любовь – как лазоревый цветок, завораживает она одинокого путника чудно-светлыми лепестками. И не только замороженным, но бесконечно счастливым мог бы почувствовать себя Тихон, если бы понял, что Варя расцвела для него. Она напоила бы его своей любовью, как родниковой водой, содержащей целебные соли. Она жила весь этот последний месяц только им...

Не чувствовала, не жалела и не любила лишь война. Властно вторглась она в их жизнь, не спросив разрешения, как вторглась и в жизнь миллионов других людей.

– Приказ получен ехать, – как-то вечером сказал Тихон.

– Значит, едете... Когда же? – голос девушки задрожал.

– Сутки дивизии на сборы дали.

Он уехал со штабом на следующий день...

– Теперь ты знаешь, Валентин, чей это портрет, – глаза Бельского потухли.

Он закурил, откашлялся от терпкого дыма «Герцеговины» и сказал:

– Немцы, кажется, садить из тяжелых стволов перестали... Давай-ка на воздух выберемся, подышим...

Они вышли из блиндажа. Закурил и Орлянкин:

– Тихон, а где эта девушка теперь?

– Варя? Она на заводе оборонном работает. На Урал к родственникам вместе с матерью и братом уехала... Они ведь похоронку на отца получили...

На взорванном баке нефтехранилища кто-то нарисовал стрелку на запад и написал: «До Берлина – 3426 километров». Тихон смотрел на нее и сам себе обещал: «Я выживу, я отмахну эти километры, я буду любить...»

Густели сумерки. В Сталинграде было непривычно тихо, и только где-то далеко-далеко настойчиво, злобно и глухо стучали пулеметы, посылавшие в надвигающуюся темень смертоносные белые трассеры...

– Степаныч, а ведь и ты был влюблен в эту Варю...

– Ничего-то и не укрыть от тебя, болярыня моя! Очень был влюблен, но командира своего, Тихона Владимыряча, я почитал. Светлая голова...

– Таких сейчас нету, – вздохнула Настасья.

– Есть... Я хотел сказать, твой покойный Елагин был таким.

Правой рукой старик потрогал обезображенную войной левую руку. На ней не хватало двух пальцев – мизинца и безымянного. Слезы тяжело лили Настасье сердце, когда она видела эти белые, усеянные старческой гречкой руки. Но голос Крещевникова все крепчал, лицо молодело от торжественной бледности. Нет, это был уже не старик, а ординарец Тихона Бельского.



**Василий
СТРУЖ**

ПРО ПАСТЬ



ИГО-ГО

я сидел и думал что мне делать
все дела такая чушь
в потолок глядел я он был белый
и дремал и только разве чуть

напрягало собственно безделие
телевизорная ложь
я ютился духом в Стружа теле
и блестел на ёлке праздный дождь

будущее напрягало
напрягала будущая смерть
потому что всё никак не прибегала
обнаглела радуя без мер

будущее напрягало
прошрое толкалося в него
чернью из глазных провалов
и Пегас трезвонил Иго-го

ПРО ПАСТЬ

что происходит на работе
от выходных до выходных
рабочим временем замотан
рифмую вот пересуды

158

заснули на всю зиму мухи
за жалюзьями ни ворон
и кажется земля мне пухом
качаюся среди Райских крон

заснули на всю зиму мухи
ни тараканов ни мышей
не видимо герои Мунка
сидим и гоним час взашей

заснули на всю зиму мухи
медведь зеваю лапу в пасть
и долго до весны мокрухи
и суждено в неё пропасть

ЛИШЕНЕЦ

топал ангел вверх ногами
человек нормально шёл
ангела задел рогами
и теперь небес лишён

БЕС ДОРОГИ

впереди дороги нет
где ни красный ни зелёный
не горит опорно свет
будущее замурдрённое

СТРУЖ Василий Сидорович – поэт, член Союза писателей России. Родился в 1961 году. Живёт в Волгограде. Шеф-редактор журнала «Отчий край». Окончил Литературный институт имени А.М.Горького, курс С. Ю. Куняева и др. Автор 12 книг. Лауреат премии П. П. Бажова, «Золотой Дельвиг», журналов «Наш современник», «Российский колокол», «Отчий край», Государственной премии Волгоградской обл. Награждён медалью имени В. М.Шукшина. Публиковался в «Литературной газете», журналах: «Наш современник», «Отчий край», «Российский колокол», «Арион», «Балтика» и др.

не придумаю пути
нету в том самообмана
мне способному идти
некуда деваться мама

временно ли навсегда
остановлен на ходу я
не беда или беда
остановка счастья ль дуля

временно ли навсегда
заработала воронка
жизни тока в ней когда
и ворочаюсь наБоков

НА БАЙДАРКЕ

гора душевные подъёмы
падения и неуёмные
необходимы верняка
пожизненная в них река

и мается как заключённая
высвобождаясь никак
препятствиями увлечённая
скорее горная река

и я стружово на байдарке
пускается лететь по ней
чьи камни мёртвому припарки
Струж Одиссей Кусто Эней

и я стружово на байдарке
баранов коз кордебалет
по берегам рогатым в парке
моих стихов Вселенной след

ЗАТЫЛОК ЗОЛОТОЙ

солнце лижет спину лунную
в небе чёрная луна
словно негритянка глумная
нимбом лунная канва

злат затылок лико угольное
в полнолуние наоборот
дьявол огненною дулею
в нос Земле Луну суёт

злат затылок лика угольного
гуманоида маниИт
отражённым солнцем нуликом
отражённым в космос тьмы

злат затылок лика угольного
и земного старика
глядя на восток смерть гуглю
Волга русская река

ПРОХОДЯЩАЯ

жизнь проходит словно конь
по арене цирка
как по жилам алкоголь
не успеешь цыкнуть

проползает что змея
скачет мать ворона
прохожу по жизни я
жизни макароны

жизнь проходит словно слон
колокол гитара
жесть проходит под уклон
тащится вверх странная

жизнь проходит карусель
в зель идя шурупом
магмаоблачная сель
губызубы рупором



**Никита
САМОХИН**

ЗВЁЗДЫ В ЛУЖЕ



*Я не видел чёрного снега,
Чёрный снег отродясь – меня.
Он привычен немому берегу,
С коим вместе молчит Иня.*

*Разделю безмолвие с ними,
По душе тишина и мне,
Ведь на Волге похожи зимы,
Только бел, как и прежде, снег.*

ИЗ ДВУХ ЗОЛ

*Когда два зла перед тобою,
Взращённых кротостью слепую,
Ты не смотри по сторонам,
Ведь явь опасностей полна
И преисполнена сомнений.
Того гляди и до мигрени
Дойдёт, сам не заметишь как.
А в колее исподтишка
Никто тебя, поверь, не тронет –
В ней – два пути, и взгляд сторонний
Не враг идущему уже.
Отринь сомнения в душе
И выбирай, где зла поменьше,
А то, что станется в дальнейшем,
Не важно, главное – забудь,
Что может быть и третий путь.*

*Один, глядя в лужу, видит в ней грязь,
а другой – отражающиеся в ней звёзды.*

Иммануил Кант

*Так человек разумный создан
Кудесницей-природой,
Что кто-то видит в луже звёзды,
А кто-то – воду.*

*Но есть ещё на свете люди,
Чьи пробудились души.
Никто из них смотреть не будет
На звёзды в луже.*

ВЫБОР

*Реки слёз никому не нужны,
Голос твой не услышит никто.
Предпочти пробуждению сны,
Если воля твоя – решето,
И плыви по теченью уже,
Знаешь ты, что спасённому – рай.
Жаль вот только, пугливой душе
Будет тесной любая нора.*

ПЛАНЕТАРИЙ

Улица уходит в колонны,
Я за ней покорно иду,
Только тополя непреклонны –
Преданы снотворному льду.

Купол над колоннами чёрен –
Звёзды опасаются дня.
Лишь бы в этой россыпи зёрен
Что-нибудь нашлось для меня.

Может, отыщу в тусклом свете
Скоро нежилую звезду.
Пусть меня на ней и не встретят,
Я ведь и прощаний не жду.

Улица уходит в колонны,
Я иду за ней по пятам,
Днём в уединённость влюблённый,
Ночью – посвящённый мечтам.

ТИХОЕ БОЛОТО

Всегда спокойно тихое болото –
Опасно жить без отдыха и сна,
Лишь выпь порою стонет отчего-то,
Да вздрагивает робко глубина.

Но если по природе ты способен
Не только спать и вздрагивать во сне,
То всё равно не вырвешься из топи,
Где место у тебя на самом дне.

Зачем стремиться к звёздам, если можно
Увидеть их свечение во снах,
И радоваться жизни бестревожной
С другими обитателями дна?

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Молодым литераторам

Прими из рук моих, младое племя,
Почёт, гордыню, праздность и покой.
Не ждёт тебя в грядущем больше бремя
Борьбы и прочей мелочи людской.

Вода, сейчас в которую тыходишь, –
Заветной древней мудрости река,
Забудь о переменах и невзгодах,
Дрейфуешь по течению пока.

Не бойся ни безгрозицы, ни фальши –
Теперь тебе и с ними по пути,
И мысли вслух о том, что будет дальше,
Держи отныне лучше взаперти.

Не выйти из воды приятной этой –
В блаженстве тает воля для рывка.
Прими же то, что нам дарует Лета –
Заветной древней мудрости река.

ТИХОЕ СЛОВО

Тихое слово моё –
Глас неминуемых вёсен.
Он не высок и не грозен
И не воспринят всерьёз.

Ясно расслышит его
Тот, кто посмел пробудиться,
Тот, в чьих устах небылица
Больше не станет молвой.

Ну а пока в тишине
Тихим словам одиноко
Ждать окончания срока,
Срока, что назван и мне.



**Валерия
РЕДКОКАШИНА**

СЕНСАЦИЯ



РАССКАЗЫВАЕТ ПОЛИНА ТИХОНОВА

Всем привет, меня зовут Полина Тихонова. Я ученица шестого, вернее, уже седьмого класса «А». Лето в разгаре, и мы, школьники, находимся в лагере на морском побережье. Корпус, спальные места, еда, ну, и море. Только при этом скука смертная. В тонусе держат лишь фитнес по утрам да дискотека по вечерам.

Для меня физические упражнения чрезвычайно важны. Я – будущий светский журналист и, вполне возможно, модель. С внешним видом мне повезло, с интеллектом, разумеется, тоже. Писать на уровне я могла бы уже сейчас, но разве в нашей школе (да и во всем нашем городишке) кто-нибудь способен оценить это? В общем, мечтаю о покорении столичных горизонтов, а для местечковых тем вполне сгодятся и одноклассники Петров с Радугиным. В прошлом году они создали непотребную газетенку с соответствующим названием «Жуть моя». Сенька Петров – главный редактор, Макс Радугин – автор статей, а еще фотограф, художник и корректор. О чем это издание, мне пока сказать сложно, но, как говорят, обо всем мало-приятном: самостоятельных работах, школе в ночное время (там якобы есть домовые), ну, и всяком таком. Теперь будут писать о призра-

ках летнего лагеря. Да и на что у них еще хватит фантазии?

Главным привидением объявлен один из наших вожатых – студент педуниверситета Марк Мол, ходит туда-сюда с таинственным видом и вечно что-то фиксирует в своем блокнотике. А по мне, так нормальный парень. Темноволосый высокий атлет да к тому же неглуп.

Что до журналюг этих, то Петров, к примеру, нестройный, неуклюжий с редкими, вечно немывыми волосами. Радугин – белобрысый, тощий и ушастый. Конечно, Марк значительно старше, но кто сказал, что эти «жуткари» изменятся, когда вырастут.

Моя подруга Дашка Федорина считает, что я слишком придирчива к одаренным ребятам. Хотя сама-то заступница недалеко от этой серости ушла. Говорила-говорила я ей перейти на линзы, а она всё в очках, и волосы зачем-то вечно в косу прячет. Да еще и кучу заметок понаписала для их газетенки, но показать стесняется.

Я бы легко продемонстрировала свой талант, но это не мой уровень, не мой стиль.

Впрочем, сейчас речь о другом.

Вечер. Дискотека в разгаре, и тут случается в лагере ЧП. А всё из-за писак-любителей...

РЕДКОКАШИНА Валерия Валерьевна – прозаик, поэт, член Союза писателей России. Родилась в 1984 году в г. Мурманске. Окончила Московский государственный индустриальный университет и Волгоградский государственный университет. Автор четырёх книг для детей и двух сборников стихов для взрослых. Лауреат конкурсов им. М. Агашиной, М. Луконина и В. Богомолова. Печаталась в журналах: «Отчий край», «Слово – детям» и в литературном альманахе «Образ».

РАССКАЗЫВАЕТ МАКС РАДУГИН

Всех приветствую! Я Макс Радугин – технический редактор, фотограф, а также корреспондент газеты «Жуть моя». Основная тема номера – трудное детство: школьные будни, домашние задания, вечная нехватка времени на творчество, ну, и наш лагерь, в котором мы проводим один из лучших месяцев лета. И всё бы ничего, если не считать долговязого вожатого Марка, который нам с Сенькой Петровым шаг ступить не дает. А ведь Петров – главный редактор газеты! Собственно, мы и ехать сюда не хотели. Лично я и на даче у бабушки мог культурно провести время без отбоя в десять, нестабильного вай-фая и еды по расписанию. Сенька же и вовсе оказался здесь вместо отдыха за границей с родней. Но чего только не сделаешь ради свежего материала.

Работы мы не боимся. Уже и очерк о вожатом подготовили. Не успеешь что-нибудь сфотографировать, а Марк в своем стиле:

– Радугин, ну-ка, покажи мобильный!

Или, к примеру, начинает Сенька делать заметки в ноутбуке, вожатый тут как тут:

– Петров, опять бездельничаешь! Литературный час пропустил, теперь лекции по окружающему миру прогуливаешь, который как следует изучать надо! Быстро на занятия!

И вот акулы пера в неволе почти целый день. А вечером дискотека. Все пляшут, мы же с редактором у открытых ворот лагеря воздухом дышим. Сторож – наш человек, ведь вчера мы взяли у него интервью для газеты.

В общем, стоим мы, стоим, и тут Петров как закричит:

– Смотри! Кто это там?

И действительно, за забором какая-то огромная тень промелькнула. Я быстро достал из кармана шорт мобильный и попытался заснять подозрительный объект, но, увы, поздно.

– Эх! – вырвалось у меня. – Ушел!

– Догнать надо! – решительно заявил Сенька. – Идем.

– Куда? Вот так, в ночь?

– Ты журналист или нет?

И мы отправились на поиски тени, освещая путь телефоном.

– Слушай, у меня меньше десяти процентов заряда осталось. А твой мобильник где? – спросил я.

– В рюкзаке вроде, – задумчиво ответил Петров, глядя по сторонам.

– А рюкзак?

– На кровати лежал.

РАССКАЗЫВАЕТ ДАРЬЯ ФЕДОРИНА

Я ни на шаг не отходила от своей подруги Полины. С утра на фитнесе и вечером на дискотеке подражала ее движениям, советовалась насчет моды и внешнего вида.

Но если Тихонова не могла отвести взгляд от вожатого Марка, то я поглядывала на главного редактора Арсения Петрова. Поглядывала, поглядывала, и как-то перед вечерними танцами решила подойти:

– Можно я тоже напишу что-нибудь для газеты? Петров глубоко задумался.

– А что, например?

Почувствовав приближение слез, я сняла очки и принялась тереть глаза.

– Не знаю. Пойду с Полиной посоветуюсь.

– Ну, и зачем тебе всё это? – недоумевала Тихонова. – Конечно, твои сочинения не самые плохие. Ты вполне бы могла стать каким-нибудь, например, провинциальным блогером. А то, что делают Петров с Радугиным, – несерьезно. Вот у кого надо учиться всему, в том числе и как мысли формулировать! – Полина взглянула в сторону Марка, стоявшего неподалеку.

– Он же вроде информатик, – с удивлением заметила я, – не филолог.

– Ну и что. Идем, сама увидишь.

– Привет, Марк! – широко улыбаясь, Тихонова обратилась к вожатому.

– Марк Игоревич, – сухо поправил ее тот, не отрываясь от гаджета.

– А, ну да, – Полина мгновенно стала серьезней. – Нам с подругой совет нужен. Вы ведь такой продвинутый. Как лучше готовиться к будущей профессии?

– Соображать быстрее. Кстати, а куда делись Петров с Радугиным?

– Можем поискать, – вновь улыбнувшись, предложила Тихонова, и мы побрели по вечернему лагерю.

– Ну, и где они теперь? – недоумевала я.

– Да вот же, за ворота выходят! – обрадовалась Полина. – Сбежать, что ли, решили?

– Почему? Просто пройтись захотели перед сном. Скоро вернутся.

– Можно подумать, здесь погулять нельзя. Только и знают, что Марка злить. Давай быстрее, а то уйдут.

Однако за территорией лагеря ребят не оказалось.

– Опять пропали! – развела руками Тихонова.

– Пошли по дороге. Не по кустам же лазить.

РАССКАЗЫВАЕТ ПОЛИНА ТИХОНОВА

И почему Дашке так не везет? Даю ей советы по внешности, по учебе, по дальнейшей деятельности, и хоть бы что. Еще и глаза потом на мокром месте. А ведь обижаться – глупо.

Да, я действительно разбираюсь в моде, никогда не сутуюсь, и все предметы в школе мне даются легко. Моя мама, владелец бутика одежды, чуть ли не каждый день ставит меня перед зеркалом и учит, как женщина должна ходить, выглядеть и прочее.

А что Дашкина? Всю жизнь пашет за копейки в районной библиотеке и внушает дочке, чтобы та после окончания школы пошла по ее стопам. Я одно время пыталась доказать Федориной, что настоящая женщина сама себя формирует, но без толку. Хочешь, подруга, быть серой мышью – твое дело. Вот в газету «Жуть моя» решила податься. Я бы, конечно, одобрила, в жути и серости она хорошо разбирается, но это не мой случай. Поэтому и повела ее к Марку. Жаль, ему было не до нас, а всё из-за того, что Петров с Радугиным пропали.

Естественно, я стала помогать в поисках и взяла с собой Дашку, чтобы приобщить к полезной деятельности.

Обнаружив «жуткарей», мы помчались за ними во тьму, освещая дорогу мобильниками, но телефон мой быстро разрядился, а Федорина упала, разбив коленку и свой сотовый. Сидит на земле и рыдает. Я подобного позволить себе не могу. Мама говорит, что настоящая женщина должна быть сильнее любого мужчины. Но одно дело я, а другое – Дашка. Она наверняка еще долго бы ревела. А тут с дерева прямо мне под ноги спрыгнула кошка. Пушистая такая, глазички желтые. Только тогда Федорина немного успокоилась. И через некоторое время на нас сами вышли «жуткарей» – Петров с Радугиным.

РАССКАЗЫВАЕТ МАКС РАДУГИН

Это снова Макс Радугин. Путь к сенсации зачастую тернист. Хочется, конечно, чтобы именно тебе повезло, но, увы, так бывает нечасто. Мой сотовый разрядился, сколько я ни умолял его поработать еще. Вот и брели мы непонятно куда с Петровым, который, не теряя надежды, продолжал осматривать окрестности.

– Оно ушло куда-то к скалам, – рассуждал он. – Значит, и нам туда. Но сначала, Макс, нужно зарядить твою мобилу. Одних записей без снимков будет недостаточно.

– И где же это сделать? – устало осведомился я.

– Найти кого-нибудь из местных. Должен же здесь кто-то жить.

– Ага, так они нас и пустят.

– А что? Их упомянут в статье. Приятно будет. Мы же...

Но не успел Сенька договорить, как огромная и, наверняка, черная кошка стремительно перебежала нам дорогу. Однако он не сдавался:

– Так-так. Вот и первая живность показалась.

– У-у-у!

Неожиданно ужасающий вой заставил нас остановиться.

– Ого! – воскликнул я. – Вот это поворот! Выходит, что мы на правильном пути.

– Да, жаль только, компас остался в рюкзаке.

Впрочем, навоющее существо мы вышли без средств навигации. Каково же было мое удивление, когда им оказалась наша одноклассница Дашка Федорина. Ее подруга Полинка тоже находилась там. Увидев нас, Тихонова сразу начала выступать:

– Явились, «жуткарей»! Вот, полюбуйте. А всё благодаря вам. И Марка теперь подведете, и меня с Дашкой за нарушение режима выгонят из лагеря!

– Мы-то тут при чем? – возмутился я. – Наша задача – искать сенсации, и до твоего вожатого нам вообще дела нет!

– Да что вы здесь найти можете, нули без палочек?

– Ага, давай-давай, отчитывай. Может, он тебя шоколадной медалькой наградит. Будешь носить, пока не растает.

– Да хватит вам уже! – перебил нас Петров. – Помогите лучше Дашку поднять. Не будем же мы тут куковать всю ночь.

РАССКАЗЫВАЕТ ДАРЬЯ ФЕДОРИНА

Цикады стрекотали всё громче, а мы, как могли, пробирались сквозь кустарники. Высокая трава мешала. Впрочем, Петров с Радугиным, взяв меня под руки, помогли двигаться дальше. Полина шла впереди, время от времени оборачиваясь, но вдруг остановилась и радостно воскликнула:

– Ой, ребят! Гляньте: дом!

И действительно. Поровнявшись с Тихоновой, мы увидели деревянный домик, огороженный невысоким забором.

– Хозяева! Ау! – приблизившись к нему, прокричал Петров.

– Да тише ты! – отпустив меня, стал разминать плечи Радугин. – Может, тут собаки сторожевые.

– Вряд ли. Мы бы их уже услышали.

Наконец, за забором послышался шум.

– Кто там? – через пару секунд раздался молодой женский голос, и сгорбленная старушка в платочке принялась открывать калитку.

– Дети из лагеря, – виновато пояснил Максим. – Вечером вышли воздухом подышать и вот заблудились.

– Нам бы только телефоны зарядить, – устало добавила я. – Мы вам не помешаем.

Домик у бабушки оказался весьма уютным. На полу и на стенах – ковры, на креслах и диване – пледы, сервиз в застекленном шкафчике, на комодe – цветные и черно-белые фотографии. Одна из них – с седовласым дедом и огромной мохнатой собакой – сразу привлекла внимание Арсения.

– Это кавказская овчарка. Мощная псина, – со знанием дела определил он. – Мой дед, в смысле прадед, тоже мечтал о такой.

– Ну, и как вы? Заправляете звонюльки-то? – войдя в комнату, поинтересовалась хозяйка.

В тот момент заряжался телефон Максима, а аппарат Полины ждал своей очереди. Они не стали оставаться в доме и вышли на крыльцо посмотреть на звезды.

– Спасибо, заправляем – улыбнулась я. – Простите, а как вас зовут? Мы даже не спросили.

– Да бабой Клавой зовите, не стесняйтесь, – махнула рукой старушка. – Дед-то мой, Василий, как уходит рыбачить, так обязательно библикалку свою оставит. Но сегодня не забыл. Звонила ему сейчас, так он, видите ли, недоволен, что у меня

гости. Ну, ничего. Пусть своими делами занимается.

– Надежная у вас собака, – повернувшись к нам, присоединился к разговору Арсений.

– Еще бы! Кстати, и кошка тоже имеется, Томка. Всё время бродит где-то, потом возвращается. Ладно, девочка, пойдём-ка на кухню рану твою посмотрим и чайник заодно поставим.

Но едва мы начали накрывать на стол, как в комнате раздался оглушительный грохот.

РАССКАЗЫВАЕТ МАКС РАДУГИН

И снова с вами Макс Радугин, а рядом со мной этой ночью, как ни странно, Полинка Тихонова. Раньше я не обращал на нее ни малейшего внимания, теперь же мы вместе любимся звездами и рассуждаем о морских красотах. Однако наше единение с природой было недолгим. Жуткий шум в доме предательски нарушил его.

Оказалось, что творческая душа Сенька Петров опрокинул шкаф с книгами и посудой.

– Да что тебя туда понесло-то, изверг?! – негодовала хозяйка.

165 На лбу изверга, между тем, образовалась большая шишка. Он сидел на ковре, прислонив мокрое полотенце к больному месту.

– Пачку газет наверху увидел, – еле сдерживая слезы, ответил Петров.

– Газет? – удивилась бабуля и взглянула на разбросанные по всей комнате пожелтевшие от времени листы. – Да что с них взять-то? Они, поди, старше меня. Василий копил их, копил, а у меня всё руки не доходят выбросить.

– Извините, пожалуйста. Просто мой прадед тоже собирал газеты. Журналистом мечтал стать, как и я...

Внезапно дверь в комнату со скрипом приоткрылась, и на пороге появилась черная упитанная кошка.

– О! А вот и Томка! – объявила бабуля. – Соседи съехали пару лет назад, а ее оставили. Хоть и породистая, но оказалась без надобности. Так к нам и прибилась.

Баба Клава замолчала, но тишину вскоре прервали чьи-то громкие голоса за окном.

– Да что ж такое? – заволновалась хозяйка и поспешила к выходу. Ну, и мы вслед за ней.

ИЗ ЖИЗНИ ВОЖАТОГО

Не обнаружив беглецов на территории лагеря, Марк решил самостоятельно отправиться на поиски.

«Свалились на мою голову, – размышлял он. – Где теперь их искать? Случись что – я крайним буду. Ну, ничего, найду – никому мало не покажется».

– Так! Кто это тут? – из темноты послышался сердитый мужской голос, и навстречу вожатому вышла крупная мохнатая псина, а вслед за ней показался старик с рюкзаком.

– Кавказская овчарка. Рыбаком зовут, – произнес он уже более благосклонно. – Чего по ночам-то шляешься?

– Дело – дрянь, дедушка! Я работаю в лагере, ну, скажем так, для трудных подростков. Пару часов назад двое сбежали. А от них можно ожидать всего что угодно. Не поможете с поиском? Как раз бы и собака ваша пригодилась.

– Ого! – приподняв седые брови, встревожился старик.

Вдруг в кармане его спортивных штанов зазвонил телефон.

– Алё! – протерев мобильник о тельняшку, проговорил в него дед. – Да ты что, бабка! Нельзя этого делать! Я скоро буду.

Он нажал «отбой» и объяснил вожатому:

– Моя впустила каких-то мальцов из лагеря. Только, говорит, их больше двух.

– Надо проверить! – вскинулся Марк.

СЛОВО ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ

Всем привет! Я Арсений Петров – главный редактор газеты «Жуть моя». Большая часть этой истории уже рассказана, но впереди самое интересное.

В общем, вышли мы все вместе на улицу.

– Не пойму, – проронила бабуля, вглядываясь куда-то за забор. – Дед мой, что ли?

– Смотрите! – взволнованно воскликнул я, увидев там знакомую тень. Только сейчас она казалась еще больше.

– Нужно бежать! – шепотом произнесла Тихонова и испуганно глянула на Макса. А тот стоял, как вкопанный, таращась на калитку.

Однако вместо чудовища перед нами возникли седовласый старик с фотографии на комодке, кавказская овчарка и вожатый Марк.

– Ну, точно! – развела руками хозяйка – Явились.

– Так! Что тут у вас происходит?! Кто такие? – рявкнул командирским голосом дед, придерживая за ошейник собаку.

– Да всё в порядке. Чего разорался-то? Ребята просто заблудились, – спокойно ответила баба Клава. – Мы как раз чай пить собираемся.

– А что ж ты мне плел тогда про трудных подростков? – косо посмотрел старик на Марка.

– Какая разница! Все равно они из лагеря сбежали! И подружки их заодно с ними.

– Мы не сбежали, а за тенью погнались, – с обидой поправил я. – Думали, сенсацию добудем.

– Да вы сами, как ходячая сенсация! – махнув рукой, добродушно улыбнулся дед. – Ну, ладно. Пойдемте тогда уж в дом.

166

ИЗ ОЧЕРЕДНОГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ «ЖУТЬ МОЯ»

В небольшом приморском поселке, неподалеку от которого расположился летний лагерь, живут милейшие старички – дед Василий и баба Клава, а с ними кавказская овчарка Рыбак и кошка Томка. Гостям хозяева всегда рады. Вот и нашу журналистскую группу приняли сердечно.

Оказались мы в тех местах неслучайно. По обыкновению, гнались за сенсацией. Но, как выяснилось впоследствии, сами же ею и стали.

Продолжение в следующем номере!



Надежда КУРАКИНА

ХОМЯК ШРЁДИНГЕРА

«Замри!» Татьяны Ильдимировой – повесть в рассказах. Действие всех десяти историй о детях обычного городского двора происходит в 90-х, когда Расторгуев и Ельцин еще только начинали, а инопланетяне прилетали к россиянам почти каждую ночь. И, безусловно, детям были интереснее последние – потому что они страшнее.

Книга Татьяны Ильдимировой – это исследование тонкой пленки страха и попытка разглядеть, что скрывается за нею. Полупрозрачная преграда парализует волю, заставляет замереть – а именно так и реагирует на страх обычный ребенок, не смельчак и не герой. Это нормальная реакция и для большинства взрослых людей – защитный механизм для психики. Действуя как анальгетик, оцепенение позволяет еще и задержаться в сладкой точке страха, зависнуть, как в замедленной съемке, и разглядеть свой ужас в мельчайших подробностях. Ради этого и написана книга, предназначенная не для детей возраста героев, а для ребенка, живущего (или замершего) в каждом взрослом. Действительно радостно, что автор не ставил перед собою задачу написать «книгу для подростков»: кажется, даже тень такой задачи заставляет любой текст мутировать в изложенный неестественным языком, выстроенный по надоевшей формуле урок.

Герои рассказов – несколько девочек из одного двора. Они переживают свои маленькие, порой невидимые взрослым кризисы, но каждая обязательно приближается к своей границе страха. У читателя есть возможность прочувствовать и движение к неведомому, и саму вязкую сердцевину рассказа.

Чаще всего страх призывается нарочно – в детстве есть масса способов сделать это: сбежать из дома, проткнуть иголками куклу вуду, отправиться на виду у всей компании в подъезд с мальчиком. В «Пиковой даме» подружки, оставшиеся дома одни, делают всё, что им запрещено, и, конечно, вызывают духов. И еще неизвестно, что страшнее: встретиться лицом к лицу с существом из потустороннего мира или с сестрой, чью помаду ты только что изве-

ла, разрисовав зеркало. «В такие минуты остро чувствуешь, что у тебя есть позвоночник и солнечное сплетение». Но за границей страха ждет потусторонняя красота. Вот и здесь взбудораженная событиями девочка думает об ином мире, где пребывает всё доброе и светлое, что уже умерло.

Короткий промежуток между выдохом и вдохом, граница миров и состояний – предмет пристального внимания Татьяны Ильдимировой. Можно сказать, что страх в разной концентрации присутствует в каждом рассказе книги как своеобразный портал, в котором герои застревают. Одни вместо того, чтобы уехать с вокзала, несколько раз выходят на перрон, другие затевают уборку или громко поют, чтобы заглушить мысли, третьи просто задерживают дыхание, чтобы действие не двигалось дальше, а мир бы замер, замороженный, застывший. Медленно движется заиндевелый автобус, бесконечно тянется дорога домой по промзоне; в полной тишине, спотыкаясь, бежит невеста, и больше боли страшит неизвестность.

Оле из рассказа «Кис-брысь-мяу» нравится знать, что где-то рядом всегда есть зазор в другой мир – качели, с которых можно прыгнуть, или разбитое зеркало, в которое нельзя/можно заглянуть. Для Нади из «Конца света» существует «особенная ночная радость – бояться», когда сестра Рита рассказывает ей всякие страшилки. Страх в мире много – только начни искать. Да и взрослые делятся с детьми своими страхами. Ожидание «конца света» мучительнее всего для бабушки, которая привыкла всё контролировать и организовывать. Как раз детское бесстрашие, очарование жизнью и выручает бабушку, не дает ей сойти с ума.

В рассказе «Я здесь» Надя тоже сама идет на встречу своему страху: не спит, когда все в доме уснули, и отправляется под ночное небо, чтобы не пропустить прилета инопланетян. Это для ребенка новый уровень неизведанного, потому что старые детские страхи пережиты (волчок не придет и не укусит за бочок – от него избавилась бабушка). Граница сна, граница лета, щекотка в животе – у автора удивительно хорошо получается перемешать чувственное, детское и неосознанное, жуткое.

Еще ужаснее – встретиться с самим собою, доселе незнакомым, и узнать, что в тебе есть не только доброта, но и неконтролируемое зло. В рассказе «Ассоль» показано жестокое воспитание «во благо», когда мама бьет ремнем и угрожает дочке Лене детдомом за невыученный урок. Но Оля, наблюдающая все это по отношению к подруге, сама переступает черту и однажды предаёт Лену. А потом годами переживает это, скрывая от самой себя.

Сюжетные линии рассказов переплетаются, и зарождающийся в одной истории пузырь события всплывает и лопается чуть позже в другой: Лена,

избиваемая дома, становится объектом травли и в школе, а Рита, которая пыталась помочь ей, вдруг обнаруживает в себе жестокость – желание пнуть лежащего человека. И это открытие поражает и пугает ее больше самой драки и факта травли. В последнем рассказе «Воровка» местом обитания страха (а точнее – страшной любви) становится чужая квартира, в которой каждая вещь олицетворяет того, к кому так хочется прикоснуться. Поэтому девочка сама не замечает, как одна из этих вещичек оказывается в ее кармане. И потом жжет руку, сердце.

Некоторые страшные события приходят сами. Замирает в клетке хомяк, и неясно, жив он или мертв. Не страх смерти – страх неизвестности переворачивает привычный мир, делает движения

и голос неестественными, придавливает невидимой тяжестью. Неизведанное и страшное в рассказах Татьяны Ильдимировой – это вот такой «хомяк Шрёдингера». В ее рассказах нет ни снов, ни мистики, все события возможны и даже повседневны. Но дети сталкиваются с ними впервые и учатся жить, действовать, реагировать внутри захлопнутой коробки. Они наблюдают за миром и одновременно за собою, раздвигая границы возможного. Рассказы помогают заново пережить эти пограничные состояния детства, в какой-то мере инвентаризировать их и вспомнить, каким живым можно ощущать себя в моменты преодоления.

Надежда Куракина
г. Санкт-Петербург



29 января в честь памяти поэта Л. М. Гержидовича в библиотеке для детей и молодёжи состоялось чтение его стихов. О поэте рассказали вдова Н. Красова, писатели Л. Чидилян и В. Лаврина и поэты Н. и Д. Мурзины.

31 января состоялось представление шестого номера журнала «Огни Кузбасса» за 2024 год. Выступили поэты В. Гуляев, И. Надирова и Ю. Стешенко, писатель Ю. Сычёва, публицисты Е. Чириков, С. Черемнов и Е. Тюшина. Вёл встречу Д. Мурзин.

31 января в Новокузнецке сотрудники Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского при поддержке Кемеровского отделения Союза писателей России провели чтения «Дни Любви Никоновой», посвящённые памяти известного новокузнецкого поэта, прозаика, педагога и Году защитника Отечества. Тема Чтений 2025 года – «Война и мир в произведениях Л. А. Никоновой». Ведущая встречи – член Союза писателей России Е. Трухан. Произведения Л. Никоновой прочитали 33 участника, представлявшие Новокузнецк, Кемерово, пгт Итатский, село Новопестерево (Гурьевский район).

4 февраля на секретариате СПР была принята в Союз писателей России член Совета молодых литераторов Кузбасса Н. Шицкая (Новокузнецк).

8 февраля в зале воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери состоялась литературно-музыкальная встреча журнала «Огни Кузбасса» с ветеранами боевых действий и волонтерами помощи фронту организаций «За наших», «Добровольцы Казанского храма», «Кузбасс за вас», «Успенские». Встреча была подготовлена волонтерским центром храма в преддверии Дня защитника Отечества. Звучали пронзительные стихи авторов журнала: Д. Артиса, Д. Филиппова, А. Долгаревой в исполнении Т. Перевезенцева, О. Роковой; военные песни в исполнении членов творческого объединения «Серебряные струны» А. Голубевой, А. Кергиловой, Д. Латышевой, руководителя объединения Т. Чукреевой и композитора, автора музыки известной песни «Тыловая» М. Шампорова.

В проекте Кемеровского областного отделения Союза писателей России, Совета молодых литераторов Кузбасса и Ассоциации ветеранов СВО «СВОи ВОВеки» вышли выпуски с В. Дорофеевым, А. Коржовой, М. Демидовым, Н. Поле-

таевой, А. Тимофеевым, С. Колисниченко, А. Шороховым и Т. Маркиновой. Участники проекта прочли свои стихи и стихотворения М. Небогатова, Э. Асадова, Н. Ткачёва, Д. Филиппова, С. Михалкова.

11 февраля в г. Кемерово состоялось возложение цветов к памятнику А. С. Пушкина. Организатором акции в память о поэте стал Э. Вестерман. Слово о Пушкине сказал А. Патшин. Участие приняли член редколлегии журнала «Огни Кузбасса» А. Королёв и сотрудники Кузбасского центра искусств, в том числе Г. Фешкова, Н. Ибрагимова и А. Командин.

В проекте Кемеровского регионального отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Кузбасса «Литература. Разговор за кружкой чая» вышел выпуск с детским писателем Т. Маркиновой (Белово).

9 – 14 февраля творческий десант «Литературной газеты» и литературной премии «Гипертекст» им. А. Б. Чаковского, в составе поэтов: М. Замшева, А. Чистякова, Р. Сорокина, А. Антипова, А. Рагимова, Д. Каримовой, Я. Яжминой, Д. Мурзина, прозаика М. Попова, актёра А. Цуркана, журналистов А. Чаленко, О. Пухнавцева, члена Общественной палаты ДНР Н. Курянской и координатора Всероссийского проекта «Литературный марафон» Движения Первых Е. Чекаревой посетил Донецк и Мариуполь. Десант привёз гуманитарную помощь и выступил в воинских частях, в Центральной Республиканской библиотеке ДНР, перед участниками проекта «Литературный марафон», в Донецкой Республиканской клинической больнице им. М. Калинина.

В проекте Кемеровского регионального отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Кузбасса «Значение слова» вышли выпуски с Д. Домарёвым (Самара) и В. Татур (Москва).

14 февраля в Доме Творческих союзов состоялся творческий вечер члена Союза писателей России С. Стрельникова, на котором прозвучали как стихи и песни автора в собственном исполнении, так и других артистов.

14 – 16 февраля в Шолоховском зале Союза писателей России прошёл Большой поэтический фестиваль издательства «СТИХИ». А. Поспелова и А. Ли – семейный дуэт, который и является основой издательства, показал на фе-

стивале десятки новых книг и проектов. Поэт и руководитель литературного семинара издательства «СТИХИ» Д. Мурзин представил на форуме журнал «Огни Кузбасса».

В проекте Кемеровского регионального отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Кузбасса «Почитай старших» вышел выпуск с Д. Филиппенко со стихотворением С. Донбая «Утренний снегопад».

17 февраля кемеровчане отметили Всероссийский день студенческих строительных отрядов. В рамках акции в Кемеровском государственном медицинском университете в холле главного корпуса состоялась встреча ветеранов студенческих путинных отрядов с будущими путинниками, направляемыми на предприятия Камчатки, Сахалина и Курил. Воспоминаниями и песнями поделились писатели В. Арнаут, А. Коваленко и В. Кабин. В. Арнаут подарил новичкам рыбного промысла литературный сборник с путинно-путевым эссе «Шикотан» и исполнил цикл Курило-Шикотанских песен.

В проекте Кемеровского регионального отделения Союза писателей России и Совета молодых литераторов Кузбасса «За 60 секунд» вышли выпуски с А. Командиным (Кемерово), Н. Сенн (Юрга), Е. Максимовой (Зеленогорский), Д. Филиппенко (Ленинск-Кузнецкий).

17 февраля в Мысках в Центральной городской библиотеке в рамках мероприятий Национальной литературной Премии «Слово» состоялась творческая встреча с поэтом, переводчиком, членом Союза писателей России, финалистом Национальной литературной премии «Слово» в номинации «Перевод» И. Мамышевым (Абакан).

Председатель Кемеровского областного отделения Союза писателей России В. Дорофеев и руководитель Совета молодых литераторов Кузбасса Д. Филиппенко приняли участие в программе «Актуальное интервью» на «Вести-Кузбасс».

18 февраля в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского (Новокузнецк) состоялась творческая встреча с поэтом, переводчиком, членом Союза писателей России И. Мамышевым. Мероприятие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В творческой беседе участвовали представите-

ли Союза писателей России Г. Шемелин, А. Коржова, А. Савченко, член Союза российских писателей К. Егоров и литераторы объединения «Литературный Южно-Кузбасский Союз» Н. Палаткина, Н. Лучкина, А. Колтаков. Модератором встречи стала член Союза писателей России, заместитель директора музея Достоевского по научной работе Е. Трухан. Организатором выступил координатор проекта Национальной литературной премии «Слово» по Кемеровской области Д. Филиппенко.

18 февраля в г. Ленинск-Кузнецкий в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской состоялась презентация книги поэта В. Гуляева «Перевал».

21 февраля в театре современной поэзии «ЛитерА» (пр. Советский, 40) состоялась презентация сборника историй участников СВО, изданного Фондом «Защитники Отечества», под редакцией Захара Прилепина.

21 февраля состоялась премьера спектакля «Секунда сомнения» драматурга Я. Ореховой (Кемерово) в Тамбовском академическом драматическом театре.

21 февраля в г. Ленинск-Кузнецкий в Краеведческом музее по инициативе Совета молодых литераторов Кузбасса состоялась творческая встреча с поэтом, председателем Кемеровского областного отделения Союза писателей России, ветераном СВО, сопредседателем Кузбасского союза ветеранов СВО В. Дорофеевым.

25 февраля состоялось заседание Новокузнецкого городского краеведческого объединения «Серебряный ключ» им. профессора С. Д. Тивякова (под эгидой Русского географического общества) в Музее авторской песни имени Владимира Высоцкого. Со своим словом выступил коллекционер В. Евстропов, свои композиции исполнил С. Стрельников, свои стихи прочёл А. Борисов. В финале мероприятия председатель городского краеведческого объединения «Серебряный ключ», член Русского географического общества А. Волобуев вручил участникам памятные подарки.

27 февраля писатель Е. Тюшина и поэт И. Фролова приняли участие в музыкально-литературной гостиной «О вкладе кузбасских писателей в Победу» села Верхотомское. Они рассказали школьникам о кузбасских писате-

лях на фронтах Великой Отечественной войны, представили трёхтомник произведений кузбасских авторов «Классика земли Кузнецкой» и подарили книги Централизованной библиотечной системе Кемеровского муниципального округа.

27 февраля в Доме Пашкова состоялся XVII Внеочередной съезд Союза писателей России. Главным итогом Съезда стало избрание нового главы Союза писателей России. Им стал помощник Президента России Владимир Мединский. В качестве делегатов от Кузбасса в работе XVII Съезда приняли участие председатель Кемеровского областного отделения Союза писателей России В. Дорофеев и руководитель Совета молодых литераторов Кузбасса Д. Филиппенко.

28 февраля – 2 марта в Сергиевом Посаде прошло Большое Сопровождение молодых литераторов СПР Московской области и ЦФО – литературный фестиваль «Посадский экспресс». Кузбасс на фестивале в качестве мастера дистанционного семинара поэзии представлял поэт Д. Мурзин.

2 марта состоялось обсуждение журнала «Огни Кузбасса», в ходе которого выступили: Ю. Сычёва, Е. Чириков, И. Куралов, В. Горх, А. Патшин, Д. Мурзин, С. Донбай, А. Командин, Н. Дубровская и Ю. Малышев.

4 марта в библиотеке имени В. Д. Фёдорова состоялось представление книги В. Дорофеева «Родина-Дочь», в котором приняли участие И. Куралов и М. Абдулкаримова.

6 марта в честь открытия выставки «Эта женщина» в преддверии праздника весны в Кузбасском центре искусств состоялся поэтический вечер. Свои стихи прочли: В. Дорофеев, Б. Бурмистров, С. Донбай, А. Командин, А. Пятак и А. Назаров.

7 марта Н. Дубровская и Е. Краснова провели праздничный литературный вечер «С улыбкой» в санатории «Энергетик».

И. Тюнина вошла в финал историко-патриотической номинации конкурса «Мгинские мосты» и лонг-лист конкурса Вл. Короленко.

14 марта в областной библиотеке им. В. Д. Фёдорова прошёл День православной книги, в ходе мероприятия выступили: протоиерей В. Крицак, редактор епархиальной газеты «Золотые купола» М. Мальцев, ответственный секретарь журнала «Огни Кузбасса» А. Командин, поэты В. Дорофеев и В. Бурмистров.

14 марта библиотеке им. Г. Юрова исполнилось 80 лет. На этом празднике выступили руководители города и Рудничного района, библиотекари, читатели, дети из детского сада и учащиеся колледжа культуры. От Союза писателей выступил поэт, Заслуженный работник культуры, секретарь Союза писателей России С. Донбай.

21 марта в выставочном зале Кузбасского центра искусств в рамках Литературного кафе «Вдохновение от сердца» рассказала о кузбасской женской литературе и прочла свои стихи поэт Ирина Фролова.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

В сборник «Тоже хочу остаться» (Москва, 2024) вошёл рассказ **М. Сычевой** «Тигрицы».

Рассказ **М. Сычевой** «Недобрые духи хакасских степей» опубликован в сборнике «Пойди туда – не знаю куда» (Москва, 2024).

Журнал «Традиции и авангард» № 3 2024 опубликовал подборку стихотворений **Н. Мурзиной** «Ну давай о хорошем» и повесть **С. Подгорного** «Счастливые люди».

ИЗДАНЫ КНИГИ

Сидельникова Ирина. Предутренние сны: стихотворения. Саратов: Амирит, 2024. – 86 с.

Дорофеев Виталий. Родина-дочь: стихотворения. Брянск: Аверс, 2024. – 218 с.

Отражение времени. Музей истории Православия на земле Кузнецкой / Г. Т. Шалакин, О. И. Шалабанова, протоиер. Сергей Адодин. – Кемерово: Издат. отд. Кемеровской епархии, 2024. – 132 с.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также с журналами других регионов России:

«Наш современник» (Москва),
«Родная Ладога» (Санкт-Петербург),
«Сибирские огни» (Новосибирск),
«День и ночь» (Красноярск),
«Врата Сибири» (Тюмень),
«Алтай» (Барнаул),
«Бийский вестник» (Бийск),
«Дальний Восток» (Хабаровск),
«Сибирь» (Иркутск),
«Начало века» (Томск),
«Сихотэ-Алинь» (Владивосток),
«Литературный меридиан» (Приморский край, г. Арсеньев),
«Подъем» (Воронеж),
«Север» (Петрозаводск),
«Енисей» (Красноярск),
«Природа Алтая» (Барнаул),
«Гостиный двор» (Оренбург),
«Роман-журнал. XXI век» (Москва),
«Бельские просторы» (Уфа),
«Русское эхо» (Самара).



По отдельности тиражи наших журналов небольшие, но, если их сложить, сумма света, который они несут, будет значительной.

Наше издание распространяется в библиотеках и учебных заведениях Кузбасса, высылается авторам журнала, в редакции вышеперечисленных журналов и литературных газет, а также подписчикам.

Редакция журнала принимает рукописи, отпечатанные на компьютере через полтора интервала (12–14-й кегль), с обязательным приложением флешки с набором текста в любом формате. Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

Редакция знакомится с рукописями авторов, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Наш электронный адрес: sp_kuzbass@mail.ru.

Наш сайт: <https://ognikuzbassakci.ru>.

Журнал «Огни Кузбасса»
Главный редактор **Д. В. Мурзин**
№ 2. Дата выхода в свет: 06.05.2025
Индекс 12234
Тираж 1600 экз.

Формат 60×84%. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Arial».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0 + 0,5 л. цв. вкл. Уч.-изд. л. 20,0. Заказ № 320. Цена свободная

Адрес редакции: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, д. 40. Тел. 8 (3842) 36-85-14.

Адрес издателя ГАУК «Кузбасский центр искусств»: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 6. Тел. 8 (3842) 75-04-88.

Адрес типографии ООО «Принта»: 650055, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Пролетарская, д. 9.

Журнал «Огни Кузбасса» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ42-00877 от 10 марта 2017 г.

Учредитель (соучредители) (адрес): Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский центр искусств» (650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 6),

Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса» Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, пр. Советский, д. 40)

Корректор **Е. Л. Ясинская**
Верстка: **Ю. В. Гапонова**



Д. Мурзин в составе творческого десанта «Литературной газеты» и литературной премии «Гипертекст» им. А. Б. Чаковского в Донбассе.



Д. Филиппенко и Я. Орехова в составе делегации Союза писателей России в рамках проекта «Проводники культуры» на Саур-Могиле в Донбассе.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписку на журнал «Огни Кузбасса»
можно оформить
через ООО «Урал-Пресс Кузбасс»
по телефону 8 (3842) 58-70-37



Приобрести журнал можно в редакции
по адресу: пр-т Советский, 40